

А. БРИНСКИЙ



**ПАРТИЗАНСКИЙ
КУРЬЕР**



А. БРИНСКИЙ



ПАРТИЗАНСКИЙ КУРЬЕР

Записки разведчика

**Горький
Волго-Вятское книжное издательство
1978**

**Издание второе,
дополненное и переработанное**

Художник Б. Н. Разин

Бринский А. П.

**Б 87 Партизанский курьер. Записки разведчика. Горький,
Волго-Вятское кн. изд-во, 1978.—232 с., ил.**

Дополненное и переработанное переиздание книги известного партизанского командира Героя Советского Союза А. П. Бринского. Книга содержит богатый материал, повествующий о героической борьбе народных мстителей на оккупированной врагом территории Украины и Белоруссии. С особым воодушевлением читаются рассказы о юных партизанах, наравня со взрослыми являвшимися участие в освобождении Родины от захватчиков.

Б $\frac{70803-044}{M140(03)-78}$ 50—77

Р 2



КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Как же это случилось, что нас, четверых партизан, заманили в дом, который был заранее окружен более чем восьмьюдесятью полицией?

Но, чтобы не забегать вперед, начну по порядку.

Еще в июле 1941 года наш партизанский отряд базировался в районе Лукомльского озера, на границе Витебской и Мнцкой областей. Сначала мы располагались в населенных пунктах, а с осени перешли в лес, недалеко от озера, в урочище Береселище. Между елями и орешником стояли наши шалаши. Поблизости, на окраине леса, находился домик, в котором жил лесник со своей семьей.

В Симоновичах, ближайшей от нашего лагеря деревне, мы еще с лета завязали знакомства с надежными людьми. Появились у нас там и разведчики, и связные, и постоянные явочные квартиры, одной из таких квартир была хата Соколовских. Ею мы пользовались особенно охотно. Хозяйка, вдова лет шестидесяти, несмотря на годы, еще подвижная, энергичная, до войны была активисткой и во время оккупации старалась помогать нам. Была она по-женски говорлива и по-женски упряма, из тех, за которыми всегда остается последнее слово. Это не мешало ей успешно выполнять любые наши поручения, даже такие, с которыми другой и не справился бы. Берет, например, старуха корзину с рыбой или с яйцами и идет куда-нибудь по округе — в Черему, в Лукомлю, в Чашники, будто бы на базар или в гости. Везде у нее знакомые, со всеми надо поговорить. Со стороны невинными казались эти расспросы говорливой и любопытной женщины. А она умела навести собеседников на нужную для нее тему, из многочисленных ответов отсеять драгоценные для нас сведения, умела ловко передать кому надо маленькую помятую записку или незаметно для посторонних сказать несколько многозначительных фраз. А у себя дома она всегда готова была радушно принять наших товарищей, накормить и обогреть.

Дочь ее Нина, девушка восемнадцати лет, окончила среднюю школу и собиралась поступать в медицинский техникум — помешала война. Такая же бойкая, как и мать, она деятельно участвовала в комсомольской работе у себя в деревне, выполняла наши задания. Шумливая, веселая, задорная, и запоет, и спляшет, и других увлечет своим весельем — такой ее знали все. Многие парни на нее заглядывались, ухаживали за ней, но время ее, должно быть, еще не пришло: она думала об учебе. До войны ухаживал за ней и здешний молодой крестьянин Корзун, делал ей предложение, она отказала, и Корзун вынужден был жениться на другой.

Еще года не прошло с начала войны, а Корзун уже прославился на всю волость недоброй славой как дезертир и шкурник. Он поступил на службу к фашистам, стал одним из организаторов полиции в Кашине.

Были у вдовы Соколовской три сына: старший уже женился и обзавелся своим домиком, а младшие — мальчики 13 и 15 лет — жили с матерью. И еще жил в этой хате некий Сергей, окруженец, офицер-интендант. Он участвовал в работе партизанского отряда, некоторое время входил даже в состав руководящей группы, но не отличался храбростью и однажды просто-напросто сбежал с поля боя. С ним тогда поговорили по-серьезному, но особых мер принимать не стали. В бою всякое бывает.

Когда в сентябре, после немецкой облавы, отряд покинул деревни и расположился в лесу, Сергей остался в Симоновичах и поселился у Соколовских. Мы держали через него связь с нужными нам людьми, получали сведения о том, что где делается. Часть наших продуктов хранилась у него в каких-то тайниках, и он по мере надобности доставлял нам их, заботился о выпечке хлеба для партизан и делал еще много нужных для нас дел. Одним словом, живя в деревне, Сергей оставался активным нашим помощником.

В октябре мы вместе с отрядом Бати уходили в леса Белорусского государственного заповедника, а Сергей задержался в Симоновичах — обещал догнать отряд, да так и не догнал. Вернувшись в эти места, мы застали его все там же — у Соколовских, и он оправдывался, что не мог бросить больного друга — старшего лейтенанта Гришко, жившего по соседству, а потом и сам захворал. Когда выздоровел, стал ждать от нас связного.

Мы поверили, и только потом выяснилось, что не это помешало ему вернуться в отряд. Просто-напросто в уходе за Ниной Соколовской Сергей оказался более удачливым, чем Корзун, она согласилась выйти за него замуж.

В отряде ждали Сергея, а он в это время шумно гулял свадьбу. Затем у новобрачных начался медовый месяц.

Партизаны возмутились, некоторые стали требовать, чтобы Сергей был расстрелян как явный дезертир. Особенно горячился партизан Куликов:

— Война идет, люди кровь проливают, а такие вот подлецы своей радости ищут, молодых жен заводят, старых с детьми бросают. Я его давно знаю — он в нашей части служил. И семью его знаю, которую он бросил. Вредный он человечешко. Вот увидите. Помяните мое слово.

Я многое передумал тогда, казалось, все взвесил и, хотя в душе соглашался с Куликовым, расстреливать Сергея не решил. И так уж немцы уничтожают много наших людей, — а тут еще и сами мы будем стрелять своих же. Ни на минуту не забывая, что от трусости до предательства один шаг, я считал, что Сергей, постоянно связанный с нами, находящийся под нашим влиянием и наблюдением, этого шага не сделает. Во всяком случае, спешить с чрезвычайными мерами не следует, тем более что Сергей нам нужен как наш представитель в ближайших деревнях — для связи, разведки, снабжения. Партизаны с моими доводами согласились. Но Куликов остался при своем мнении. Зная упрямство и вспыльчивость молодого партизана, я предупредил его, чтобы он, чего доброго, сам не расправился с Сергеем под горячую руку.

В начале декабря, составляя листовки ко Дню Конституции, мы написали и обращение к бургомистрам, старостам и полицаям. «Опомнитесь, не забывайте, что вы советские граждане, не идите на службу к врагу, не помогайте ему уничтожать и поработать наш народ», — говорилось в обращении. В конце мы предостерегали их, что к предателям будут применяться самые строгие меры военного времени. Обращение составлялось в хате Соколовских при активном участии Сергея. Я хотел даже поручить ему переписать: у него был хороший почерк, но он отказался.

— Это может помешать нашей работе — узнают мой почерк, а ведь мне со многими приходится встречаться.

Ему действительно приходилось встречаться и с полициями, и с кашинским начальством. С Корзуном они даже выпивали — и мы знали об этом. Сергей уверял, что будто бы и Корзун, и его приятель Булько пошли в полицию только для того, чтобы получить у немцев оружие, что они, вместе со всеми подчиненными, собираются уйти к партизанам.

Помнится, Куликов, слышавший эти слова, бросил ему жесткую реплику:

— Трудно тебе верить, особенно — в таком деле.

Сергей обиделся и умолк, но я поручил ему организовать встречу с Корзуном для личных переговоров — заманчиво было перетянуть на свою сторону кого-нибудь из полиции. Встреча эта так и не состоялась. Через несколько дней Нина Соколовская, вся в слезах, прибежала к нам в лагерь и рассказала об аресте мужа.

— Спасите моего сокола, ой, спасите!

Мы сначала подумали, что фашисты нагрянули в Симонови-чи, но оказалось, что Сергей, а с ним и его друг Гришко поехали в Холопиничи, в районную комендатуру, чтобы стать на учет как бывшие военнослужащие. Там их и арестовали. Ну, еще бы, — ведь они из партизанской деревни!

Я не на шутку рассердился и накинулся на плачущую женщину, словно она во всем виновата:

— Почему он самовольно поехал и даже нас не поставил в известность? Что же он, хочет совсем порвать с партизанами, позабыл о своем долге?

— Это ему Корзун посоветовал — он бы сам и не пошел. Он не такой..., Ой, спасите моего соколика!

Мы обещали помочь, и в ту же ночь я с тремя нашими ребятами явился к кашинскому бургомистру Конопелько, работавшему в контакте с нами. Тот с сомнением покачал головой. Сложное дело: Сергей и Гришко сидят в гестапо, а не в полиции. Он,

конечно, постарается, но ручаться не может. Мы попытались воздействовать и на холопиничского районного бургомистра — написали ему письмо и, не уверенные в успехе, искали еще и другие возможности вызволить Сергея — с гестапо шутки плохи. И вдруг оба арестованных возвратились в Симоновичи. Выпустили «соколиков». Мы считали это победой нашей партизанской дипломатии и не подумали даже, что победа досталась нам что-то уж слишком легко. Подозрительно легко. А надо было задуматься!

Через день после освобождения я предложил Сергею явиться на связь, но ни он, ни Гришко не показывались. А еще через день немцы и полицаи окружили Столбецкий лес, в котором стоял наш отряд, начали обстреливать его из минометов, пытались наступать.

Правда, дальше опушки мы их не пустили, мины рвались в вершинах деревьев, не причиняя нам вреда, но все пути снабжения продовольствием были отрезаны. Форменная осада. В окрестных деревнях враги, и даже у лесника в сторожке поселились фашисты. Тоже нечто вроде гарнизона.

Сторожка эта стояла совсем недалеко от нашего лагеря, но лесник и вся его семья были людьми надежными. Немцы и прежде наведывались к нему, требуя, чтобы он указал дорогу к партизанам, а он пожимал плечами: «Лес большой, разве найдешь!» — и для отвода глаз шел с непрошеными гостями куда-нибудь в другую сторону. Один раз — будто бы случайно — вывел их к покинутым шалашам, в которых мы стояли летом. «Вот они где! Но... тут все пусто. Должно быть, партизаны ушли из леса». Может быть, это и не обмануло фашистов, но о связи лесника с нами и о нашем близком соседстве они, конечно, не подозревали. А мы знали, если пес лесника лает особенно яростно, а хозяин нарочито громко кричит на него: «Молчи, бешеный! На кого лаешь, холера бы вас всех передала! Геть в конуру!» — значит, враги тут.

Когда выпал снег, мы не стали протапывать тропу к домику лесника, а пользовались лесной дорогой и тропой, которую проложили к озеру рыбаки.

Таково было положение осажденного партизанского лагеря, и мы могли бы спокойно отсиживаться, могли бы и свои партизанские операции проводить, пробираясь через кольцо врагов тайными лесными дорожками, если бы у нас было продовольствие. Сейчас, как никогда, нам надо было связаться с Сергеем и каким-то образом получить продукты из его тайников, а он все не приходил. Бросить же лагерь, уйти из него без приказа Бати мы не имели права, и тут, кстати сказать, важно было не

только строгое выполнение приказа: мы цеплялись за Лукомльское озеро в надежде на то, что наши связные сумели пробраться через линию фронта, что к нам прилетит самолет с Большой земли — и озеро будет служить ему ориентиром.

Наше положение становилось все хуже и хуже. Два дня у нас не было ничего, кроме сушеной малины. Вот когда мы начали понимать, что запасы надо иметь не только в деревнях, но и непосредственно в лесу, да и то не в одном месте. Теперь мы заваривали малину вместо чая, но разве этим насытишься? Выпьешь кружку, немного согреешься, а в животе начинает бурчать, под ложечкой сосет, и голодная тягучая слюна собирается во рту. Бывало, жуешь какую-нибудь щепочку, чтобы хоть немного отвлечься, но и это мало помогало.

...А в лесу деревья трещат от мороза, снег скрипит под ногами, самый легкий ветерок обжигает лицо. Зима в 1941 году стояла суровая.

В длинных шалашах из жердей, накрытых соломой, с обоих концов топились самодельные железные печи. Мы их устроили из трофейных бочек из-под бензина, поставленных, как говорят, на попа, снизу прорезали отверстия для топки, сверху приладили дымоход. Дров было много. Сухой валежник, собранный на опушке, горел хорошо и весело потрескивал. Но слишком малы были печи, слишком холодны шалаши. Приходилось сидеть не раздеваясь и тесниться поближе к огню.

Во второй половине дня двадцать четвертого декабря, отбив очередное наступление немцев со стороны озера, мы сидели в шалашах, густой пар шел от ведра с кипятком, заменявшего нам обед. Обжигаясь, глотали мы бурую с железным привкусом жидкость, и разговор снова и снова возвращался к одному и тому же больному вопросу — к еде.

— Сейчас бы борща — вот такое бы ведро! — мечтательно заводит один из бойцов. — Сколько бы я съел!..

— Да, — вторит сосед, — и я бы съел...

— Почему Сергея нет? Сам не может прийти, так хоть сообщил бы. Почему ничего нет в «почтовом ящике»?

А место для партизанского «почтового ящика» было установлено на берегу в кустах, около проруби, из которой крестьяне брали воду. Незаметно пробраться туда ночью можно было и от деревни, и от нашего лагеря. Гавриков, побывавший там, все обшарил и ничего не нашел.

Разговор идет дальше.

— Нет, лучше всего пельмени, — возражает кому-то Сурав, — как моя мать их готовила! Сибирские, с перчиком, с уксусом... Полсотни съедал, честное слово!

— Тебе все пельмени. А у нас вот вареники!
— А если бы блинов!..
— Да вы что разъелись, ребята! Словно в ресторане заказываете. Вы мне лучше давайте мяса!.. Ну, хоть по сто граммов на человека. Ну еще картошки. Я вам такое сварю!..

— Это и каждый сварит! — смеется Гавриков. — А ты вари суп, как солдат варил, из топора, чтобы наваристо получилось и чтобы сытным был.

— Он к топору-то сала добавил.

— А не хотите ли драчеников? — вмешивается в разговор молчаливый обычно Куликов. Он явно иронизирует.

— Драчеников?

— Ну да — драчеников. Они липкие, а на зубах хрустят.

— Это только у тебя они липкие, потому что ты стряпать не умеешь. А помнишь тетку Матрену? Как она нас учила? Как у нее получалось? Пальчики оближешь!

— А помните, как нас в Гурце угощали?.. Картошка жареная, картошка пареная, картошка вареная, картошка толченая, картошка с молоком, картошка с огурцом... Как еще? Ну картофельные клецки. Ну драченики...

— Насчитал!.. Нет, а ты моих драчеников хочешь? Вот ты, голодный, хочешь?

— Твоих? Да все равно бы и твоих. На все согласен.

Да, все равно можно бы было поесть и куликовских драчеников. И я бы согласился. И даже с удовольствием... Продолжая слушать разговор, я отдаюсь своим мыслям... Драченики. Это оладьи из сырой натертой картошки. Чего проще? И у белорусских крестьян они получаются на славу. А у нас, у того же Куликова, клеклые, липкие. Сытому, кто не знал голодовки, наши самодельные драченики и в рот не полезут. Никто из наших ребят не позарился бы на них в мирное время, и я бы сам первый отвернул нос. Помню... Как неожиданно приходят такие вещи на память!.. Давно, когда мы с Нюсей были еще молодоженами (представьте комсомольскую семью и комсомольское домашнее хозяйство середины двадцатых годов), мне захотелось оладий. Нюса пекла их. Но ведь она, рано потерявшая родителей, воспитывалась в детдоме, и никаких хозяйственных навыков у нее не было. Оладьи, слишком густо замешанные, слишком толстые, не пеклись, а только румянились и подгорали снаружи. Раскусишь хрустящую корочку, а под ней жидкое тесто, липнущее к зубам, — ну точь-в-точь куликовские драченики!.. Я вернулся из райкома усталый и, должно быть, чем-то раздраженный, попробовал один, попробовал другой и в досаде швырнул на пол: «Все у тебя сырые!» Этакая мальчишеская запальчивость! Бросил,

обозлился, а потом, когда обернулся, мне в самую душу глянули широко открытые, полные слез Нюсины глаза. Спихватился. Как я мог! Давай извиняться. Скоро все позабылось. Но она уже произошла, первая семейная сцена! Глупая, ненужная, смешная. Какие мы тогда были!... Из-за оладий!.. А ведь они все-таки не хуже были теперешних драчеников... Вспоминает ли Нюся такие вещи? Где уж там! Если она и жива, не до воспоминаний ей с тремя детьми на руках. Нелегко, наверно, приходится... Да и живы ли они?..

...Разговор все еще продолжался, вдруг прибежал боец:

— Связной от Сергея!

— Наконец-то!.. Где он?

— Там у нас.

На опушке, в голых кустах орешника, густо осыпанных инеем, ждал меня младший сын Соколовской, добравшийся до нас под видом рыбака.

— Товарищ комиссар, Сергей просил вас прийти сегодня вечером. Есть важное сообщение. Он просил, чтобы с вами были Куликов и Немов.

— А немцев в деревне нет?

— Немцы ушли.

Подробно расспросив связного, я отпустил его и решил идти.

Холодный и яркий зимний закат давно уже горел на западе. Лес становился черным, снег синим.

Мы вышли из лесу целой группой. Я захватил с собой заместителей: Куликова, Сураева и Немова. Дело в том, что, кроме Сергея, мы должны были встретиться еще с Иваном Ляхом — нашим верным помощником, у которого были приготовлены для нас боеприпасы и сведения из Орши, куда мы его посылали. До самой околицы провожала нас группа Василия Кащинского, выходявшая в эту ночь на задание. Уверенный в безопасности, я даже свой автомат отдал Кащинскому, а сам остался с одним пистолетом.

Закат догорел, когда мы добрались до Симоновичей. Под ясной луной снег стал еще белее, а тени еще черней. На улице ни души. По полицейским правилам, предписанным немцами, жители деревень могли выходить из дому с восьми часов утра до шести вечера — ни раньше ни позже. Мы уже привыкли к этому, и тишина-показалась нам обычной, не вызывала каких-либо подозрений. Только ветер с озера свистел, переметая дорогу, да снег поскрипывал под сапогами.

Мы вовсе не были беспечны: прежде чем идти к Соколовским, заглянули в одну хату, к надежным людям, потом в другую и убедились, что немцы действительно ушли.

Сураев и Куликов свернули на противоположную сторону улицы, к Ивану Ляху, а мы с Немовым направились к Соколовским. В калитке встретил тот же мальчишка.

— Заходите.

— Сергей дома?

— Дома.

Вошли в хату, Сергей ждал нас и поднялся навстречу.

— Садитесь, товарищ комиссар.

• Он старательно улыбался, но улыбка получилась какая-то кривая, растерянная, ненастоящая. Я подумал: «Конечно, он чувствует себя виноватым. И вовсе ему не хочется улыбаться. Сейчас он начнет врать и оправдываться». А вслух сказал:

— Почему вы не явились, когда было указано?

Сергей молчал, должно быть, ему нечего было сказать. А в хату между тем протиснулись следом за нами Куликов и Сураев: у Ляхов уже спали, и им не хотелось беспокоить семью, в которой было много маленьких детей. Но здесь, у Соколовских, они не успели даже поздороваться. Неожиданно для всех нас, словно в ответ на мой вопрос, зазвенели и посыпались разбитые стекла, взвизгнули пули: по всем окнам сразу полоснули немецкие пулеметы и автоматы.

В таких случаях нельзя теряться, медлить. Трудно передать, что пронеслось в эти секунды у меня в голове, но скорее всего это была мысль: «Прочь из этой мышеловки!»

— За мной! — крикнул я и выскочил из дома.

Снова — ясный лунный свет и белые сугробы. Пули посвистывают и здесь. Выйти из ворот и думать нечего, да и во дворе оставаться нельзя.

— Давайте в сарай, — торопливо сказал Сергей, — а потом на огороды.

В сарае было темно. Только сквозь незаконопаченные щели просвечивал лунный свет да видны были вспышки выстрелов и огненный пунктир трассирующих пуль.

— Все тут? Целы? — спросил я, выглядывая во двор и сжимая в руке выхваченный на бегу пистолет.

— Целы, — ответил Куликов.

— Батюшки! — вдруг вспомнил Сергей. — А у меня автомат на чердаке и пистолет, и пара гранат. Придется возвращаться.

— Иди.

— А вы, товарищ комиссар, напишите записочку Бате. Я ее через Нину передам.

На первой попавшейся бумажке (кажется, это была наша партизанская листовка) при свете, падавшем в щель неплотно притворенной двери, я написал:

«Батя, мы окружены. Бьемся до последнего патрона. Живыми не сдадимся. Честно умрем за Родину. Отомстите за нас».

Куликов записал свой адрес и тоже передал Сергею: кто останется жив, должен сообщить его родным.

Сергей взял бумажку и выскочил из сарая, но на середине двора вдруг изменил направление и побежал к воротам крича: — Не стреляйте! Не стреляйте! Корзун, не стреляйте!

Огонь прекратился, и мы слышали, как, распахнув ворота, он говорил кому-то:

— Там их четверо. Комиссар с ними.

И стало понятно, почему на эту встречу он вызвал не только меня, но и моих заместителей. Сам ли это он выдумал или в гестапо ему приказали — план был ясен: сразу обезглавить отряд... И мы даже пулю ему вдогонку не успели послать!

— Вот когда он показал себя, — сказал Куликов, сжимая губы. — Уж я-то его знал.

А Сураев добавил:

— Э-эх, жалко, что вы не разрешили расстрелять его. А теперь вот самим приходится погибать через такую гадину.

Это был упрек — жесткий и справедливый упрек командиру. Да, я не разрешил. Не сумел догадаться. Сергей жил как свой человек в хорошей семье и аккуратно выполнял все наши указания... Но — аккуратно ли? Вот он сбежал из Холопиничей, не пошел с отрядом в Нешково, без спросу поехал регистрироваться, не явился по вызову на связь. Одно к одному. Сопоставить бы только эти факты. Не догадываться надо было, а проверять. Строже. Придирчивее. А вот теперь — окружены. Я даже зубами скрипнул от злости. Но мысли были ясные, отчетливые. Старался, насколько это возможно, представить себе расположение огневых точек противника. Должно быть, они заняли дом напротив, через улицу. Конечно, так: ведь в этом доме жила сестра Корзуна. Значительно левее — колхозные сараи, и оттуда была стрельба. С обеих сторон улицы били пулеметы. А сзади, со стороны озера, на огородах, тоже строчит пулемет. Пожалуй, из такого кольца и хорошо вооруженным трудно выбраться.

Вот теперь сиди и жди. Правильно говорят, что хуже всего на свете ждать и догонять. А когда приходится ждать смерти... совсем плохо!

— Стрелять до последнего, живыми не сдаваться! — сказал я своим товарищам. Потом подумал и добавил: — Оставить по одному патрону для себя.

— Есть, товарищ комиссар.

И снова все замолкли. Страшный наступил перерыв. Мы перевели дух, прикинули к холодной земле, но успокоиться не мог-

ли. Напряжение не ослабевало ни на минуту. Такое бездействие тяжелее боя... А мысли бегут... Вспоминается... Почему перед смертью вспоминается так много и многое — непонятное раишье — становится таким ясным?.. Я словно раздвоился. Гляжу из-за дубового косяка в неприкрытую дверь сарая, вижу белый снег, черный забор и над ним колеблющиеся отсветы выстрелов и яркие ниточки трассирующих пуль. Я не пропущу, я замечу любое движение противника.

Я не боюсь смерти. Сколько раз встречался с ней лицом к лицу. И в своих товарищах я уверен. Но мы знаем коварный замысел врагов. Они хотят взять нас живыми. Будут с тебя кожу сдирать или повесят, как говяжью тушу, подцепив железным крюком за челюсть (так повесили хорошего партизана полтавчанина Шевченко). Радоваться будут твоим мучениям: «Поймали комиссара!» Но это им не удастся!.. И внутренний голос говорит мне: «Сам виноват!» Суровый укоризненный голос. Да ведь это звучит в моей памяти голос старого учителя и друга комиссара Чепыженко из Чонгарской дивизии! Я совершенно ясно представляю себе его лицо, вижу, как он качает головой: «Ну, Антон, попал! А разве я не учил тебя еще в тридцать третьем году? Ты был и пионером, и комсомольцем, стал коммунистом. И везде тебя учили. От бойца ты вырос до комиссара. Сам учишь других. Разве можно простить тебе такую оплошность? Раззява!» Да, именно так он и говорил, бывало, наказывая и выручая меня. И сейчас бы ты выручил меня, дорогой учитель, и опять повторил бы это обидное слово «раззява». Вот и Батя тоже твердил мне, и совсем недавно, о бдительности: «Ваша доверчивость — большой недостаток. Погибнуть — дело не сложное. Смелость без ума — не велика сума». Ох, как бы мне сейчас попало от Бати!.. А в самом деле — что он скажет о нашей гибели? Ведь он даже не узнает, как это произошло, кто нас предал. Сергей использует мою записку как оправдательный документ. Он и Батю может заманить в такую же ловушку... Нет, этого не будет! Надо хоть какую-то весточку послать. Пусть и Батя, и все наши товарищи услышат правду. Пусть и наши далекие семьи, и наши дети узнают, что мы не попусту пропали, что мы погибли в бою, как подобает советским солдатам, не сложив оружия... Пошарив в кармане, я вытащил пачку денег, тридцаток, и вдруг мне пришло в голову, что именно на тридцатке и надо написать: другую бумажку затопчут, не посмотрят на нее, а тридцатку и затоптанную обязательно поднимут, а значит, и прочтут.

«Батя, нас предал Сергей. Держим бой. Будем биться до последнего патрона. Живыми не сдадимся. Прощайте!»

Написал и бросил тут же в сарае; потом—на другой тридцатке, потом—на третьей; какая-нибудь из них попадет в руки наших друзей.

Мы не переставали следить за врагами сквозь щели сарая. На белом фоне сугробов видно было, что полицаи прошли двором в хату. Должно быть, обыскивали ее и вернулись обратно во двор. Держась на приличном расстоянии от двери сарая, Сергей прокричал:

— Сдавайтесь, ребята! Вас четверо, а против вас—восемьдесят четыре человека. Что вы будете умирать за большевиков? Если вы сдадитесь, вас простят. Вам хорошую работу дадут.

Голос его срывался, должно быть от страха, а слова подсказывал Корзун, угрожая Сергею пистолетом. Мы молчали, и предатель, обращаясь уже не к нам, негромко произнес:

— Я вам говорил. Комиссар живым не сдастся. И остальные такие же заядлые.

Полицаи снова начали стрельбу. А мы лежали, притаившись, на земляном полу и не отвечали ни на слова, ни на выстрелы.

В сарае рядом со мной лежит Павел Куликов. Я верю этому скуластому, белокрысому старшине сверхсрочной службы, как самому себе. Мне с ним приходилось бывать в бою, под Белостоком, на Немане под Минском и на Березине, где он возглавлял группу красноармейцев и умело руководил ими в бою, показывая личный пример храбрости и бесстрашия.

Знаю, что рядом Павел Петрович из Кирсановского района Тамбовской области. Рано лишился родителей и воспитывался в детском доме... До войны служил в отдельном батальоне, который возводил укрепления на границе недалеко от места, где размещалась наша воинская часть.

У самых дверей залег Виктор Сураев, тоже старшина, он служил в одной части с Куликовым—боевой, горячий, исполнительный. Батя называет его своим земляком, они оба из Оренбургской области. Виктор самый молодой из нас. Но я уверен, что он будет биться с врагами до последнего вздоха.

Николай Немов—лейтенант. Москвич. Небольшого роста, широкогрудый, немногословен. На войне командовал минометным взводом. Оказавшись в окружении, он со взводом влился в Гурецкий партизанский отряд. Я верю, что он никогда не прекратит борьбы с немецкими оккупантами и их пособниками, и он уже достаточно хорошо проявил себя, чтобы в нем сомневаться.

Враги решили перехитрить нас. В нашем сарае, только с другой стороны, стояла корова вдовы Соколовской. Полицаи воспользовались этим, сунули в руки старухе фонарь, послали ее вперед, якобы за коровой, а сами за ней с гранатами.

Разгадать этот нехитрый маневр было легко. Я приказал своим:

— Приготовить гранаты. Будем прорываться.

Как только передний полицейский подошел шагов на пять, Куликов выстрелил в него из пистолета, а я, распахнув дверь сарая, выскочил наружу.

— За Родину! Смерть предателям! Ура!

Куликов и Сураев бросились следом за мной.

Полицейские сразу очистили двор, а мы, стреляя на ходу, бежали из ворот. Я бросил вслед убежавшим одну гранату, потом вторую и был уже посреди улицы. Но пулеметы противника ударили с обеих сторон. Сураев упал, и мне пришлось вернуться.

— Сураев, ты жив?

— Жив.

— Ну ползи назад.

А сам я задержался во дворе, чтобы захлопнуть ворота, благо у них была только одна створка. Опомнившиеся полиция снова усилили огонь, бросали через забор гранаты, но теперь им почти не было видно двора, только калитка продолжала оставаться незакрытой.

Возвратившись в сарай, я увидел, что товарищи мои приуныли, и было отчего. Прорваться не удалось, патронов оставалось по одной обойме, гранат не осталось вовсе. А как бы они были нужны нам! Что будем делать без них?.. С гранатой в руке партизан бросается на десяток противников, а враги бегут от его грозного оружия. Так случалось не раз, и ярким примером этого была последняя наша вылазка. Но без гранат... Сознание собственной беспомощности удесят�еряло ненависть к предателям...

Сураев жаловался:

— Товарищ комиссар, неужели умирать придется? Молодому? И пожил мало, и сделал мало.

Он, как и все мы, не остановится перед угрозой смерти, не отступит перед ней, не запросит пощады, но ждать ее в бездействии, остро ощущая свое бессилие, слишком тяжело.

— Рано умирать, — успокаивал я, хотя мне было не лучше других. — Драться надо. Мы еще покажем себя.

Я говорил уверенным тоном, но и сам, кажется, ни на что не надеялся в этот момент. Оставалось одно: как можно дороже отдать свою жизнь. Но разве есть такая цена? Я прожил много больше Сураева и все-таки мне казалось мало. Чего только не было в моей жизни: и больно бывало, а все-таки — как хорошо жить на свете!.. И сделано мало! В том-то и состоит особенность советских людей, что жизнь у них измеряется не годами, а трудами, тем вкладом, который они вносят в общее народное дело.

Поэтому и жизнь особенно дорога советским людям... Умереть не страшно, но обидно: от кого? От полицаев!..

— Верно? — спросил я, даже не объясняя, к чему относится мой вопрос. Но Сураев не отвечал, занятый своими мыслями.

..Машинально провел рукой по шее. Что это? Ну конечно, кровь. Сгоряча я и не заметил легкого ранения. Это не первое, по меньшей мере, три мелких осколка уже засели сегодня в моем теле. Но все это ерунда, а вот положение у нас... Нельзя хуже. Надо что-то придумать.

Сказал Куликову:

— Будьте здесь настороже, а я попробую пробраться в хату. Надо посмотреть, где у них посты.

Стекла в окнах были разбиты, в хате стоял холодище, и ветер слегка колыхал занавески. Осторожно, из-за оконного косяка, осматривал я улицу и вдруг сквозь нечастые выстрелы услышал разговор. Улицы в этих лесных деревнях узкие, а говорили громко. Кто-то приказывал, и по угодливому обращению к нему «господин Тесленок» я догадывался, что это начальник чашницкой полиции. Значит, он и командует всей бандой. Самое подходящее для него дело. Бурную молодость он начал пьянкой, хулиганством и воровством. Наш связной Бондарь рассказывал, как в пьяной драке Тесленку проломили голову. Никто из односельчан не пожалел об этом, а вот когда он выздоровел, многие пожалели — до того бандит насолил честным людям. Работая на строительстве шоссе на дороге, он организовал ограбление кассира, а на суде притворился сумасшедшим и избежал наказания. Через некоторое время его все-таки посадили на десять лет за кражу. Ему бы еще сидеть да сидеть, но фашисты освободили уголовника и даже взяли к себе на службу — они искали таких. Тесленок начал эту службу с того, что в один день расстрелял двенадцать семей в селе Сакарево Бешенковичского района и забрал себе их имущество. Вот он каков! Все это долго рассказывать, но в мыслях промелькнуло мгновенно, пока я слушал его распоряжения.

— Раненых и убитых забрать в хату! — резко выкрикивал он. — Отправишь их в Лукомлю. И сообщить в Лепель коменданту, что главари партизан окружены — пускай присылает подкрепление.

Мне было не до смеху, и все-таки я улыбнулся: оказывается, наша атака не прошла даром, полиция нескольких волостей во главе с таким отчаянным головорезом не в силах справиться с четырьмя партизанами и просит помощи у немцев.

Я начал шарить по хате. Несмотря на всю безнадежность нашего положения, голод давал себя чувствовать: ведь два дня

у нас, как говорится, маковой росинки во рту не было, и, выходя из лагеря, мы погрелись только малиновым горячим чаем, но ведь чай безо всего—это не пища. Печь оказалась пустой. В шкафу нашелся хлеб и порядочный шматок сала. Хорошо! Каким необыкновенно вкусным показался мне этот сухой и немножко кисловатый хлеб. А сало таяло во рту. Стало как будто теплее и даже веселее немного.

Теперь за дело! В углу около печки отыскал я большой ухват, приладил к нему подушку, надел полушубок, взятый тут же в хате, и подпоясал все это своим собственным ремнем. На рога ухвата напялил шапку-ушанку (наверное, Сергееву). Ну вот и готово. Неуклюже немного, но выбирать не из чего... А пока надо проводить ребят.

Куликов и Сураев продолжали напряженно следить за полицаями.

— А я вам, хлопцы, кушать принес.

Куликов удивился.

— Что вы за человек, товарищ комиссар! Смерть на носу, а вы — кушать.

— Ничего, ничего, Паша. И перед смертью не мешает поесть... А умирать еще рано. Я кое-что придумал. Будем прорываться. Из четырех хотя бы один выберется и сообщит товарищам правду.

Подавленные неудачей, Куликов и Сураев отломали себе по кусочку хлеба, но ели через силу, словно еда становилась им поперек горла, а Немов и совсем отказался от пищи. На своем посту в дальнем углу сарая он продолжал вести наблюдение.

Я опять собрался в хату.

— Товарищ комиссар, возьмите и меня с собой, — попросил Сураев.

— Идем.

И вдвоем мы начали мастерить второе чучело, собирая для этого всякое тряпье, которое попадалось под руки. Немного помешал нам поросенок, оставшийся в хате. Он вдруг завизжал в своем углу, и это вызвало со стороны полицаяв новые выстрелы.

Закончив работу, мы выставили оба чучела во двор, прислонив их к стене хаты. Одно из них опустилось на завалинку. В полумраке лунной ночи, да еще на большом расстоянии, полицаи примут чучела за людей.

С нами был запас рукописных листовок о разгроме немцев под Москвой и о взятии советскими войсками Ростова. Они предназначались для распространения в Чашниках, Черее, Лукомле. Теперь весь этот запас мы разбросали по хате, во дворе и по сараю. То же сделали и с тридцатками, на которых я написал

послание Бате. Может быть, хоть одна листовка и попадет в руки честных советских людей.

Уходя из хаты, я показал Сураеву батарею пустых бутылок. — Забирай. Это будет у нас вместо гранат.

Оставалось выполнить главную и самую трудную часть моего плана: пока полицаи со стороны улицы будут воевать с чучелами, нашими безответными помощниками, мы пробьемся к озеру через огороды, где стоит только один вражеский пулемет.

Время дорого. Пятый час. Мы уже девять часов в окружении. Скоро начнет светать, на помощь полицаям подойдут немцы, тогда нам не сдобровать. Надо прорываться. Но — луна, предательская луна. Как она надоела нам! Как мы ее проклинали в эту ночь! Висит вверху, и хоть бы облачко! Только изредка будто бы легкий туман застилает ее яркий серебряный диск.

Выбрав удобный момент и скрываясь в черной тени, которую бросает сарай, мы перелезаем через забор. Огонь не прекращается, и это к лучшему: занятые своим бестолковым делом, враги не замечают нас... Скорее!.. Пора!.. И мы рванулись в отчаянную атаку, расходуя последние патроны и бросая бутылки в пулеметный расчет.

Нападение было внезапное, да к тому же одна из бутылок ударилась о пулеметный ствол и разлетелась вдребезги перед самым лицом первого номера. Ошеломленные полицаи бросились наутек. А когда они опомнились и когда их сподвижники на улице догадались о нашем бегстве, мы уже миновали огороды, скатились с крутого берега и мчались что было сил по Лукомльскому озеру, по твердому снежному насту.

— Врассыпную! — кричал я на бегу. — Не сбивайтесь в кучу!

Пули свистели над нами, на белом фоне озера мы представляли хорошую мишень, и все же ни одного сколько-нибудь серьезного ранения никто из нас не получил.

А позади, от гурецкого кладбища к Симоновичам, спускались две машины. Мы видели свет их фар, наверно, это и были немцы, явившиеся на помощь Тесленку.

■ ■ ■

Мы вырвались из окружения, но наши мытарства продолжались. Куликов и Сураев бежали через озеро, приняв немного вправо, прямо в лес, и уж лесом добрались до партизанской базы. А мы с Немовым взяли левее и не могли соединиться с ними, так как навстречу нам с противоположного берега, из деревни Вал, занятой немцами, началась стрельба. Да и рассвет приближался.

Выйдя к деревне Перховщина, мы вынуждены были спрятаться в колхозном сарае. Здесь провели остаток ночи и весь следующий день без пищи, обманывая голод курением, благо в хате Соколовских я нашел немного табаку. Мороз не давал мне покоя. Выбегая из сарая во время боя, я бросил полушубок, остался в одном только ватнике и теперь усиленно хлопал себя руками, стараясь разогреться. А Немов, потрясенный пережитым, все еще не мог опомниться и повторял:

— Товарищ комиссар, неужели мы живы?

— Живы, живы. И еще долго будем жить, — смеялся я в ответ.

По всем окрестностям рыскали фашисты, но отыскать убежавших партизан не могли. А на другую ночь мы отогрелись у старого нашего друга колхозного бригадира Кузьмичева. Жил он небогато, но у соседа его, Ивана Соломина, накануне закололи кабанчика. Соломин радушно угощал нас, да еще на дорогу дал. А узнав, что я остался без полушубка, подарил хороший кожух.

— Носи, комиссар, на здоровье, не мерзни.

Вместе с гостеприимными хозяевами мы посмеялись над обманутыми полициями, а Кузьмичев рассказал, что двадцать четвертого числа лукомльская, чашницкая, краснолуцкая, холопиничская и кашинская полиция целый день торчала в Перховщине и в соседней деревне Обузерье. Полицейские выпивали и похвалялись:

— Ну, сегодня мы их ловим, а завтра будем с них спускать кожу.

Ясно, что это говорилось про нас. Как только стемнело, полицейские двинулись в Симоновичи.

Позднее партизанская разведка разузнала, что двадцать пятого под утро в Симоновичи прибыли две машины немцев. Тесленок доложил командиру, что будто бы уничтожено шестнадцать партизан, а остальные окружены. Штурмом немцы взяли пустой двор, но никого не нашли. Только истрепанные пулями чучела валялись около хаты да в сарае лежала мертвая корова — на ее долю тоже досталось несколько пуль.

Тесленок опешил. А где же убитые? Где те, что стреляли из этого сарая. Ведь не корова же! Полиции, которых мы распугали пустыми бутылками, не осмелились доложить о своем поражении — как бы не влетело. И вот начались поиски. Крестьяне, собранные из соседних хат, перетряхивали и выбрасывали из сарая сено и солому, а тесленковы вояки заняли круговую оборону, опасаясь, должно быть, что мы можем напасть на них. Вот уж поистине: у страха глаза велики.

Искали — и, конечно, ничего не нашли. Рассвирепевший немецкий офицер прямо при солдатах и полициях отхлестал Тесленка по щекам. Тот оправдывался, что, дескать, он не виноват, что он верой и правдой служит великой Германии, но его оправдания только подбавляли масла в огонь.

— Знаем мы вашу верность! — кричал немец. — Своим изменил — и нам изменишь в любое время. Свинья! Пьяница!

Однако расправы с Тесленком ему показалось мало. Ведь партизаны-то были. Мужики про них знают, значит, они заодно с партизанами. По доносу Корзуна он приказал расстрелять за связь с партизанами шестерых симоновичских и гурецких крестьян.

Среди расстрелянных была и Нина Соколовская. Когда-то Корзун ухаживал за ней, пытался сватать — и вот теперь выдал немцам. Ясно, что он сделал это не по каким-нибудь идейным соображениям, нет — с самого начала своей службы у гитлеровцев он знал, что Нина была активной комсомолкой, что она помогает партизанам, но будто бы только сейчас вспомнил об этом. И ревность тут тоже не играла никакой роли: после отказа Нины стать его женой он очень быстро утешился с другой женщиной. С Ниной и позднее с ее мужем Сергеем продолжал поддерживать отношения, я бы сказал, дружеские, если можно говорить о дружбе предателя. Ведь у предателя все строится на шкурных интересах: вчера клялся в любви, а сегодня обрекает на расстрел — лишь бы выслужиться перед начальством. Такова психология предателя, и Корзуи — типичный носитель этой психологии.

Таким же был и Сергей. Он предал свою первую семью, женившись на Нине Соколовской, а потом предал и наше дело, и нас, и Нину; после памятной симоновичской ночи ушел вместе с убийцами своей жены, опасаясь нашего возмездия. Он бы и своего собутыльника Корзуна предал, если бы Корзун не успел сделать это раньше его. Как мы узнали позднее, Сергей был расстрелян немцами по доносу Корзуна.

В конечном счете вся эта история не принесла немцам никакой пользы. Полицай лишний раз почувствовали свое бессилие. Жители «партизанской деревни» еще больше возненавидели фашистов. И широко — из волости в волость, из района в район — пошел слух о новой партизанской удаче. Белорусское крестьянство с радостью повторяло этот слух, разнося его все дальше и дальше, к Минску, к Витебску, к Орше...

Когда мы докладывали Бате о своем симоновичском окружении, Куликов назвал наше положение безвыходным. Григорий Матвеевич усмехнулся:

— Да, здорово вы попали в ловушку... Так, говоришь, безвыходное положение?

— Безвыходное.

— А как же вы из него вышли?

Мы засмеялись.

— Так то-то же. Безвыходных положений не бывает. Но и в ловушки попадать не надо. Помнить надо, какой у нас враг.

— Нет уж, теперь они до меня не доберутся. Никакой пощады полициям! — горячо воскликнул Куликов.

— Тоже неверно. И тут надо разбираться, с кем имеешь дело.

— А чего с ними разговаривать? — Куликов даже удивился. — Взял гранату и — «руки вверх!».

— Приходится разговаривать, за один стол садиться. Если это нужно для народа, пойдешь, сядешь и будешь говорить.

— Я не политик. У меня автомат, — и Куликов ласково похлопал ладонью свое оружие.

— Вот и видно, что ты еще не созрел. А еще комсомолец. Обязан быть политиком. Я это серьезно говорю... И ты смотри, комиссар, — тут он обернулся ко мне, — придется заняться с ним, недопонимает парень. Так он может важное дело провалить... Да, кстати, на днях мы поедем к Кулешову, к гилянскому бургомистру. Тоже будет дипломатическая встреча. И я обязательно вас возьму обоих.

— Нет уж. Вы меня лучше не берите, — сказал я, — а то я могу сорваться.

— И ты тоже! Тем более возьму!.. — Батя, кажется, рассердился немного. — А мне, думаешь, легко?.. Оба поедете, и никто не сорвется.

■ ■ ■

Встреча с Кулешовым была назначена под самый Новый год. Он обещал доставить нам оружие из Сенинского района. Морозной ночью мы, двадцать человек во главе с Батей, приехали в центр Гилянской волости. Кулешов заранее разослал полицейских по селам. Батя с Куликовым зашел в волостное управление, а я занялся организацией охранения на Чашникской и Лукомльской дорогах. Пришел я к Кулешову, когда переговоры закончились и шла беседа обо всем и ни о чем.

Комната, в которой происходила встреча, была разгорожена невысоким барьером; очевидно, в присутственные дни он отделял бургомистра от посетителей. Теперь по ту сторону барьера сидели трое. Среди них Батя — лицом к двери. Он первый увидел меня.

— Заходи, Антон Петрович.

И когда его собеседники обернулись, добавил:

— Мой заместитель, познакомьтесь.

Двое вскочили и подчеркнуто вежливо приветствовали меня. Каждый из них, словно после долгой разлуки с хорошим другом, брал мою руку обеими руками, потряхивал и пожимал ее, умильно заглядывая в глаза. Я не люблю этой манеры. Помнится, еще в детстве слышал от отца, что так здороваются только самые неверные люди.

Оба они были высоки ростом, Кулешов — тонок и строен, голубоглаз и темноволос. Что называется, красавец мужчина. На вид ему было лет тридцать. Другой — постарше, лет сорок, полный, большелобый, немного лысеющий блондин. На нем была накинута хорошая шуба на лисьем меху с черным каракулевым воротником. Большие руки его, покрытые рыжими волосами, были холодноваты и влажны. Невольно хотелось после его рукопожатия вытереть свою руку. Назвался он Лужиным. Я смотрел на него, и мне казалось, что где-то видал его.

Батя, насмешливо наблюдавший суетливую приветливость хозяев, кивнул на меня головой, сказал:

— Вот он действовал в Гурце.

Кулешов вскинул на меня свои быстрые глаза.

— Из тех, кто за мной гонялись? Убить меня хотели?

— Да, — усмехнулся Батя. — Счастье твое, что я за тебя заступаюсь.

— Я надеюсь. Я для вас...

— Да ведь ты еще ничего не сделал, — бесцеремонно оборвал Батя. — Выполняй обещание, если хочешь искупить вину.

Лужин, чтобы переменить тему и сказать нам приятное, заговорил о симоновичском окружении, словно сообщал еще не известную нам новость.

— Представляете: сделали чучела из каких-то тряпок, а сами бросились с бутылками на пулемет... И ушли... И все это выдумал комиссар... не знаю, что за комиссар, но я поражен...

Батя улыбнулся:

— А вот он этот комиссар и есть.

— Неужели!.. — Лужин изобразил на лице своем восторг и снова начал трясти мою руку. — Поздравляю!.. Поздравляю!.. Можете мне поверить...

— Да, кто вы такой?

— Лужин, бывший интендант.

— Почему бывший и почему здесь?

— В окружение попал, а теперь при бургомистре,

— Как при бургомистре? Что вы тут делаете?

— Так... живу... К сожалению, быть с вами не могу: больной я. У меня только одно легкое... — Он кашлянул... — Какой из меня партизан? Партизан должен быть крепким физически.

— И не только физически, — поправил я, — главное, быть крепким идейно, морально. Верить в правоту нашего дела.

— Вы хотите сказать, что я идейно не устойчив? Нет, нет. Напрасно. В этом меня не упрекайте.

Но я уже разглядел, когда во время разговора у Лужина сползла с плеча шуба, повязку старшего полицейского. Меня словно кипятком ошпарило. Вот один из тех предателей, кто хотел схватить меня с товарищами в Симоновичах и собирался с живого кожу сдирать! Захотелось схватить и тут же задушить этого ласкового на вид человека. Но Батя глядел на меня спокойными предостерегающими глазами. Дисциплина взяла свое, но слов я не мог удержать.

— Пока было спокойно, — сказал я, — вы и в армии могли служить с одним легким, а стало трудно, переметнулись к врагам, немцам. Продали им свое последнее легкое!

Я выложил ему все, что думал о нем.

— Знаете, что говорил Максим Горький о предателях? Он даже сравнения для них подыскать не мог. Если бы тифозную вошь сравнить с предателями, сказано у Горького, она и то обиделась бы.

Вероятно, и Лужин обиделся на такое сравнение, но виду не показал. Батя, видя, какой оборот принимает разговор, решил прекратить его:

— Довольно. Нам пора ехать.

На улице он сказал мне:

— Что вы с ним спорите, горячитесь? Придет время — каждый получит по заслугам. А пока пускай работают на нас. Сам-то мы везде не поспеем, мало еще нас... Куликов тоже сцепился с Кулешовым, пришлось отправить его за дверь.

Батя прав, но нервы подводят... Тяжело встречаться с предателями.

Всю дорогу ворошил память, что где-то, когда-то я встречал Лужина. Но как ни силился, а вспомнить не мог. И только в партизанском лагере вспомнил, что видал его в городе Гомеле в тридцатых годах. Он тогда служил в зенитной артиллерии.

■ ■ ■

Есть пословица — нельзя верить змее и предателю.

На следующий день, второго января, на партизанскую базу пришел Виктор Булай — командир народного ополчения деревни

Липовец. Он сообщил, что в деревню Гоголевку приехал комендант кашинской полиции Петро Булько и будет ночевать дома, надо встретиться с ним и договориться о переходе кашинской полиции на сторону партизан.

Виктор заверял, что Булько наш человек, не предатель. Он знает его хорошо, вместе работали колхозными бригадами, были друзьями, и он сумеет убедить Булько.

Вместе с Виктором Булаем на переговоры поехали мой заместитель лейтенант Перевышко и четыре партизана. Виктор Булай подошел один к двери хаты, постучался.

— Кто там?

— Открой! Это я, Виктор Булай.

— Подойди к окну.

Булай, ничего не подозревая, встал прямо напротив окна.

— Ну, теперь видишь?.. Открывай!

Вместо ответа прозвучал выстрел. Пуля попала в грудь Виктору в самое сердце. Он даже вскрикнуть не успел, падая навзничь в сугроб.

Партизаны бросились на помощь, но Булай уже не шевелился. Открыли огонь по окнам, подожгли хату, и дежурили, пока пылающая крыша не рухнула внутрь.

Уверенные, что предатель сгорел, партизаны покинули Гоголевку, привезли тело Виктора Булая в лагерь, и похоронили мы его на нашем партизанском кладбище, под высокой сосной. Проводили в землю партизанским салютом.

Это была большая потеря. Комсомолец Виктор Булай активно участвовал в нашей борьбе. Прекрасно зная свой район, людей, вел большую организационную работу среди молодежи, возглавлял народное ополчение в своей деревне.

Результаты наших переговоров с предателями были тяжелыми, с большими жертвами.

Да. Пока что переговоры наши с теми, кто пошел на службу к немецким оккупантам, не дают тех результатов, на которые мы рассчитывали, то есть при их помощи узнавать тайных врагов.

Но могли ли мы совсем отказаться от переговоров, риска? Конечно, нет, не могли. Мы обязаны искать нужных нам людей. Мы верили, что среди тех, кто работает у немцев, есть честные советские люди — патриоты, которые будут помогать нам. А возможно, при их помощи заставим работать на нас и явных врагов. Поэтому мы должны все использовать и рисковать. Вся жизнь разведчика — риск.



НАЧАЛЬНИК БДИТЕЛЬНОСТИ

Ранним морозным утром 12 января 1943 года приехал Гудованый, командовавший группой в отряде Анищенко, и с ходу, едва успев спешиться, доложил:

— Товарищ командир, у нас — чепе! Тимонин застрелил Силкина, а сам скрылся.

Отряд Анищенко входил в первую партизанскую бригаду и располагался в лесу недалеко от нашего штаба, называемого центральной базой.

Я отправился в отряд выяснять, в чем дело.

Подъезжая к лагерю, еще издали мы увидели партизан, столпившихся у сапожной мастерской, и среди них — богатырскую

фигуру Анищенко в новом ярко-желтом кожухе. Люди, очевидно, обсуждали событие и затихли, когда Анищенко бросился к нам навстречу.

— Разрешите доложить?..

Отрапортовал, как всегда, громогласно, стоя навытяжку, но и в голосе его чувствовалась неуверенность, и в лице было какое-то новое для меня выражение — не то недоумение, не то обида. Как бы оправдываясь, он добавил после рапорта:

— Неожиданность какая! Невиданный случай, чтобы друга убить. А ведь неразлучными были.

— Давайте разбираться, — ответил я, — что вы знаете про Тимонина и про Силкина?

Из рассказа Анищенко я узнал, что они были закадычными друзьями. Земляки — оба из Кировской области. С командиром одного из наших отрядов Бельтюковым, тоже кировчанином, вспоминали они родные места, но держались больше вдвоем. До войны служили в одной части и на фронт попали вместе. В бою Тимонин пытался спасти тяжело раненного Силкина и вместе с ним попал в плен. Сидели они в Брестском лагере, добром поминали врачей, которые лечили Силкина. Когда он выздоровел, оба бежали из лагеря. Скрывались на хуторе около Ковеля, встретили одну из наших боевых групп и стали партизанами. Обычная история — сколько к нам приходило бежавших из плена! И никто не замечал между ними разлада, не слышал споров. Ели они из одного котелка, спали рядом. И вот...

Высоченный Анищенко, скрипя своим новым кожухом, старался заглянуть мне в глаза, словно искал поддержки, сочувствия. Видно, не находя в себе оправдания случившемуся, хотел найти его в собеседнике.

Любое ЧП неприятно каждому командиру, а такому аккуратисту, как Анищенко, особенно. Неприятное происшествие усугублялось еще тем, что он назначил будущего убийцу командиром группы. И сделал это, несмотря на возражения заместителя командира отряда Василенко: «Я думаю, — сказал тот, по своей всегдашней привычке повторяя слова, — я думаю, что мы недостаточно знаем Тимонина. Надо заняться им, изучить». Анищенко увидел в этом чуть ли не бюрократизм: «Не думайте, а выполняйте. Не о чем тут думать. Парень грамотный, боевой. Нельзя так недоверчиво относиться к людям». Назначение состоялось. И вот теперь пришлось Анищенко признаться в своей ошибке.

— Виноват! Предупредили — не послушал.

— Вины с вас никто не снимает, — сказал я. — Но у Василенко, должно быть, были какие-то причины не доверять Тимо-

нину... Вы, значит, не поинтересовались? Наша беда, что некоторые начальники считают ниже своего достоинства прислушаться к мнению подчиненного. Пошлите за Василенко.

Пришел Василенко. Я спросил его:

— Какие у вас подозрения были относительно Тимонина?

— Какие могут быть подозрения?.. Я думаю...

— Нет... Позвольте, товарищ командир...— Анищенко беспокойно скрипел кожухом, оборачиваясь то ко мне, то к своему заместителю. — Позвольте... Он мне говорил... Ты возражал?.. А почему возражал? Тебе что — тимонинская физиономия не понравилась?

— Ну и физиономия тоже. Вообще он был какой-то не такой. Недовольный, что ли. Вы наших ребят знаете. А он — не то. Задумается иной раз — словно мировые вопросы решает. Окликнешь — испугается. Да ведь как: за пистолет хватался, и глаза страшные, того гляди застрелит. А потом сразу улыбается. Не верил я его улыбке. Вот такой же был и Рагимов. Помните? Вы его лучше меня знали.

— Знал. Рагимов не одного, Рагимов троих перестрелял... Тем более надо расследовать.

— Точно! — Анищенко заглядывал мне в глаза. — И поручить это Василенко. Он справится.

— Должен справиться, — согласился я. — Но, товарищ Василенко, учтите: он может уйти к немцам или полициям в Рафаловку, в Маневичи, Камень-Каширский, Любышев.

— Едва ли, — возразил Анищенко. — Мы уже послали людей — его перехватят.

— Успеют ли? Он дожидаться не станет... А что, если он проберется в Ковель? Кто знает, какие у него связи. Рагимов был связан с гестапо... Интересно, Тимонин про наших подпольщиков знает?

— Он Бориса знает. Присутствовал, когда мы встречались с Борисом.

Это было плохо. Борис руководил одной из самых активных подпольных групп на ковельском железнодорожном узле.

— Ну вот видите! Немедленно принимайтесь. Что вы думаете делать, товарищ Василенко?

— Я уже наметил — поскорее добраться до того хутора, где наши нашли Тимонина. Уж, наверно, он там невесту оставил — парень видный. А заодно о предательстве Тимонина Борису сообщим.

— Действуйте!

И в тот же день пятнадцать партизан на четырех санях выехали под Ковель.

■ ■ ■

Некоторое время мы ничего не слышали о Тимоине, и я уже думал, что ему удалось улизнуть. Сколько он может наделать нам пакостей! Правда, в Ковеле все было по-прежнему — никаких новых провокаций, никаких арестов, но это не успокаивало: не раз обманывала партизан кажущаяся тишина. И вот на шестые сутки Василенко вернулся.

— Привез, товарищ командир!

У меня вырвалось невольно:

— Наконец-то!

Василенко, вероятно, понял это восклицание как упрек и ответил тоже чем-то вроде замаскированного упрека:

— Так ведь, дядя Петя, наши партизанские книги учета виноваты. Как мы учитываем личный состав, что знаем?

А мы и в самом деле знали о своих людях очень немного. Не знали, например, где и у кого жили наши бойцы до вступления в отряд. Завели мы книгу учета кадров, в ней отмечалось, что такой-то в течение такого-то времени скрывался у крестьян, скажем, под Брестом или Ковелем. Ни точного обозначения места, ни фамилии хозяина, у кого жили наши люди перед приходом к партизанам, мы не записывали, во-первых, потому, что окруженцам и беглым военнопленным приходилось часто менять квартиры; во-вторых, из осторожности: слишком многим рисковали хозяева, укрывавшие советских военнослужащих. Может показаться, что это мелочи, ненужные подробности, но Василенко во время поисков Тимонина убедился в том, насколько бывают важны эти мелочи.

Ночью (большинство партизанских дел делается ночью) он разыскал тот хутор, ту самую хату, откуда Тимонин и Силкин ушли в партизаны. Расспросил хозяина, и хозяин припомнил обоих. Но жил у него один, судя по описанию, Силкин; другой — здоровый такой, его Васькой звали, — только навещал приятеля. Откуда он приходил, неизвестно. Впрочем, вместе с Силкиным хаживали они на соседний хутор, недалеко, верст десять отсюда. Может быть, там он и жил. И хозяин, догадываясь, что дело серьезное и не терпит отлагательства, вызвался сейчас же, ночью, показать партизанам дорогу.

На дворе бушевала сырая февральская вьюга, наметала сугробы, залепляла глаза — ни зги не видать. Поэтому и ехали не по партизанским правилам, не сворачивая с дороги: в такую погоду немцы и полиция отсиживаются в тепле.

На хуторе проводник постучал в знакомую хату. Открыли не сразу.

— Кого в такую погоду несет? Ты, Семен? Ну заходи. Что уж делать, ежели разбудили.

Сонный, взлохмаченный крестьянин глядел сердито, но, увидев при свете зажженной коптилки партизанского командира с автоматом и красной ленточкой на кубанке, ругаться не стал.

— Сидайте.

И когда ему объяснили, в чем дело, ответил пространно:

— Восточник? Были у нас восточники, а теперь нет. Давно уж нет. А вот в селе есть. И вчера пришел один. Летом он жил у М. (была названа фамилия, которую я теперь не помню, да, пожалуй, вспоминать ее не стоит). Жил вроде как Фроськин—дочери этого самого М.—муж. Ты его знаешь, Семен,—здоровый мужик. Васькой его звали. К концу лета он пропал, говорили, ушел на восток, но, должно быть, не добрался.

— Его нам и надо, — сказал Василенко. — Идем!

Крестьянин с опаской заметил:

— Там полиция. Тридцать семь человек с винтовками. Мы их наперечет знаем. И сын у М. полицай. Да еще этот Васька. И хата у них рядом со старой.

В партизанских условиях особенно важно быстрое, на ходу, решение. И Василенко нашел его.

— Мы полицаев тревожить не будет — мы старосту побеспокоим. Это как раз и хорошо, что он рядом. — И снова тоном, не допускавшим возражений, повторил: — Идем!

Он взял с собой только троих партизан, остальные должны были дожидаться на хуторе, готовые идти на выручку, если услышат стрельбу. Но выручать не пришлось—Василенко рассчитал правильно. Полицай в ту ночь не высовывали носа на улицу, а вартовые, стучавшие в свои колотушки где-то в белесых космах метели, не заметили партизан, подошедших задками да переулками к дому старосты. Ничего не подозревавший староста открыл на голос знакомого хуторянина дверь и, понятно, был ошеломлен, увидев целую толпу (так ему показалось в темноте) вооруженных людей. Наверно, хотел захлопнуть дверь, позвать на помощь. Но партизаны протиснулись в сенцы.

— Здорово, голова! Не шуми. Выполняй, что скажем, и останешься жив.

Пришлось выполнять. Прежде всего он подтвердил, что вчера действительно явился в село Тимонин (фамилию он знал). Вооруженный. Остановился в соседней хате.

— Веди! — сказал Василенко. — Тебе откроют. Да не вздумай дурить.

На стук старосты ответил стариковский голос:

— Кто там?

- Открой, Матвей, это я.
- Входи... Да кто с тобой?
- Зажги свет.

При свете старик увидел, что на него направлены дула автоматов. Испугался.

- Я что... Да я!..
- Молчи! Никакого тебе вреда не будет.

На кровати в первой комнате храпел чубатый парень — сын старика. У его изголовья стояла винтовка, пистолет с гранатой лежали на табурете.

Один из партизан положил пистолет и гранату в карман, а из винтовки вынул затвор.

- Не пошевелился. А где Васька?

— Выпили они вчера со встречей, — объяснил Матвей. — Васька в той комнате.

Тимонин тоже не слышал, как забрали его оружие.

— А дочь куда девалась? — снова выйдя в первую комнату, подозрительно спросил Василенко Матвея.

- В Ковеле дочь. Трое суток, как уехала.
- Ну ладно. Запрягай лошадей.
- Куда? — удивился Матвей.

— Отвези нас до хутора, успокоил его Василенко. — Чтобы шуму не было. А там мы вас отпустим. Но — без фокусов. Товарищ Гудованый, присмотри, как он запрягать будет.

Тимонина скрутили, а он и не проснулся, только мычал, когда ему заткнули рот на всякий случай. Еле уместились все в санях.

— Погоняй! — скомандовал Василенко полицаю. — Да помни: на каждого из вас по автомату. А староста у нас вместо пропуска.

Пропуск пригодился, потому что на околице окликнули:

- Стой, кто едет?
- Свои! Свои!

Пропустили.

Все обошлось благополучно. Добравшись до хутора, партизаны не стали задерживать старосту и Матвея с сыном, но посоветовали держать язык за зубами: им же самим лучше будет. Должно быть, они послушались — погони за группой Василенко не было.

■ ■ ■

Преступника поместили в лагере Анищенко, в сапожной мастерской. Это было самое подходящее место — землянка с единственным узким окошечком и крепкой дверью. Но сапожники

возмутились. На другой день, подходя к этой землянке, я был свидетелем горячего спора.

Сухонький старичок из хозвзвода петухом насканивал на Василенко.

— Значит, нам теперь без места оставаться? Ради какого-то, прости господи, стервеца! Товарищ старший лейтенант, ведь по такой погоде весь отряд сапоги чинит. Сами знаете, какая у нас обувь. Вы же взыщите, если у подрывников пальцы наружу вылезут.

— Взыщу. Чини, Игнат Васильевич, стучи у себя в хозвзводе.

— Да ведь в хозвзводе — какое там рабочее место? Там плотники стучат — нары доделывают.

— А ты в уголке.

— Нет в хозвзводе уголков, тесно. Хозвзвод на задания не ходит, все здесь.

Еще трое сапожников поддакивали старику. Когда я подошел, один из них обратился ко мне:

— Товарищ командир, распорядитесь. Что же это делается? Мастерскую заняли, а нам работать надо.

— В мастерской — арестованный, — объяснил я. — Следствие идет.

— Да ведь вторые сутки! — снова затараторил старичок. — Чего тянуть? Всем известно: подлец этот Тимонин, разбойник, такого парня убил. Пять минут, и один патрон.

Я заговорил строго:

— Вы что, порядка не знаете? Где прикажут, там и будете работать. Понятно? — Потом добавил помягче: — А может быть, он от немцев подослан, может быть, у него — помощники. Это все времени требует.

— А нам терпеть?

— Терпите для общего дела. День поработали в хозвзводе — еще день поработаете.

Сапожники смирились, но, уходя, выразили общее свое мнение:

— Все равно его, подлеца, в расход надо, без послабления. И поскорее.

А Тимонин в сапожной мастерской ждал своей судьбы. Наверно, места найти не мог. Когда мы вошли, он стоял около печки, ковыряя пальцем глину, и рука у него дрожала. Обернулся, побрав голову в плечи: по лицу пошли красные и белые пятна, глаза бегают. Кажется, я раньше не знал его; во всяком случае, впервые увидел эти тусклые, широко посаженные глаза. Пустые. Не знаю, что было в них раньше, но теперь не было ничего, кроме страха.

Первый вопрос:

— За что ты убил Силкина?

И первый негромкий ответ таким тоном, словно Тимонин заранее знал, что ему не поверят:

— Нечаянно. Я не хотел.

Василенко, тщательно подготовившийся к допросу, конечно, не мог поверить.

— Таких нечаянностей не бывает. Ты стрелял ему в спину за семьдесят метров. Вот твой патрон. Мы его подняли там, откуда ты стрелял. Понятно? Вы крупно поговорили, и ты не дал Силкину дойти до лагеря. О чем вы говорили?

— Мы говорили... Он хотел...

Тимонин был поражен: Василенко попал в точку. Еще несколько удачно поставленных вопросов — и преступник сознался в главном. А потом и остальное начало разматываться как клубок. Оказалось, что он не Тимонин и не кировчанин. Фамилия его — Синюк, родился на Кубани в зажиточной казачьей семье. Отец служил у белых — у генерала-вешателя Шкуро. После разгрома белых он так и не примирился с Советской властью: в 1933 году его выслали за участие в кулацком саботаже.

Сын пошел по стопам отца, но проявлял себя несколько иначе. Учился. Из института его исключили за моральное разложение, а потом осудили за хулиганство. Наказание отбывал в Кировской области и там же в 1941 году призван был в армию. Поэтому и назвался кировчанином. При первом удобном случае сдался в плен. В Брестском лагере (он действительно сидел там) выдал группу заключенных, готовившихся к побегу. Их расстреляли, а предатель заслужил расположение лагерного начальства.

Потом фашисты организовали курсы пропагандистов. Это была хитрая политика: таких отщепенцев, как Синюк, или людей морально неустойчивых обучали три месяца и посылали по разным лагерям вести прогитлеровскую агитацию, где доклады или лекции, а где и просто разговоры, целью которых было подорвать у пленных веру в победу, веру в Советскую власть, привлечь их в ряды националистских и власовских частей. На этих курсах Синюк стал Тимониным. Здесь он познакомился с Силкиным и даже подружился с ним: ну как же — земляки! Курсы окончил успешно, а после окончания старательно работал на немцев. Весной 1942 года его отправили в Ковель и снова готовили под руководством какого-то ответственного лица к более сложной и более опасной работе. Он переселился в деревню, чтобы под видом бежавшего военнопленного проникнуть к партизанам и доставлять шпионские сведения своему ковельскому начальству.

В это время он во второй раз встретил Силкина. Оба обрадовались: Силкин — искренне, Тимонин — притворно. Силкин сразу же высказал все, что было у него на душе: совесть замучила, нельзя помогать немцам, надо бороться с ними. Поэтому он бежал из лагеря и хочет уйти к партизанам. Вероятно, военные неудачи фашистов были первой причиной его раскаяния (так бывает со слабыми людьми), но говорил он горячо, искренне и в самом деле хотел искупить свою вину. Тимонин поддакивал приятелю, а в душе проклинал его. Это был лишний свидетель, от которого шпион не мог избавиться и которому не мог довериться. Приходилось хитрить с ним больше, чем со всеми другими, чтобы Силкин даже не заподозрил его подлой двойной игры.

Когда они попали в отряд, Силкин собирался чистосердечно рассказать обо всем, но Тимонин отговорил его: подожди, пока заслужим, а то, может, и не простят. Время шло. Оба они были на хорошем счету. Тимонина назначили даже командиром группы, а он все откладывал признание, все находил какие-то отговорки. Силкин не мог больше терпеть. Тогда и произошел тот крупный разговор, о котором догадался Василенко.

— Как хочешь, — сказал Силкин, — а я пойду. Не в силах я больше носить на душе этот груз.

— Иди, — ответил Тимонин и, выждав немного, выстрелил ему в спину.

Все это Тимонин рассказал не сразу — путался, увиливал, отмалчивался; а Василенко с терпением и настойчивостью настоящего следователя распутывал его хитрости, сопоставлял факты, уличал во лжи, добивался точных ответов. Преступнику волей-неволей приходилось сознаваться, и он начинал каяться: простите, я недопонимал, меня запугали, я исправлюсь, я хотел исправиться. Но факты говорили против него: с упорством и ловкостью, достойными лучшего применения, выполнял он свое подлое дело. Ради него он дружил с Силкиным, ради него участвовал в опасных партизанских операциях. Этим он обеспечивал себе возможность беспрепятственно собирать и отправлять в Ковель сведения о партизанах. И если бы не история с Силкиным, кто знает, каких бед мог бы он натворить?

— Куда посылались эти сведения? — добивался Василенко. — Кому? Через кого? Каким образом?

— Знаете Сазанку — хутор около Гривы? Вот туда и носил. Там был «почтовый ящик». Больше ничего не знаю. Кто брал эти сведения, как их переправляли — не мое дело. Не полагалось мне этого знать. Адресовал на имя Панасюка, но и о нем никакого представления не имею.

И тут не помогли Василенко ни его терпение, ни его настойчивость: очевидно, Тимонин в самом деле ничего не знал, ничего, что было дальше «почтового ящика». Можно было предполагать, что этот Панасюк — какой-нибудь главарь украинских националистов или бывший белогвардеец, вытáщенный на свет фашистами. Но только предполагать, потому что ни мы, ни наши ковельские подпольщики ничего не слыхали о Панасюке.

У «почтового ящика» в Сазанке установили тайное дежурство, чтобы подкараулить связного, который должен был прийти за очередным тимонинским донесением. Пришел лесник — молодой парень, которого, конечно, ни в какие тайны не посвящали. Взять пакет, отнести коменданту обзырской полиции — вот и все его дело; про Панасюка он ничего не знал. Ниточка оборвалась. Василенко записал о Панасюке: «Личность не установлена» — и, кажется, это был единственный пробел в следственном материале.

Необходимо отметить, что материал этот был оформлен образцово, с соблюдением всех правил, положенных в таком случае. Выписка из приказа, согласно которому Василенко «принял к производству настоящее дело», свидетельские показания, протоколы допросов — все это было аккуратно переписано ровным и четким почерком на листах, вырванных из старой конторской книги, подшито и пронумеровано. Можно было подумать, что Василенко всю жизнь занимался следственной работой. Я спросил его:

— Вы что, юристом работали?

— Нет, но в полку приходилось быть дознавателем.

И мне подумалось, что, кроме дознавательской практики и умения оформить дело, у Василенко есть еще какие-то особые способности. Он умело ставил вопросы, кропотливо распутывал сложные узелки, с железной логикой сопоставлял факты! И какое чутье проявил он в тимонинском деле с самого его начала! Эти способности надо было использовать.

Должен сознаться, что после первой встречи (это было летом 1942 года) у меня сложилось неважное мнение о Василенко. Еще бы! Подошел он ко мне вразвалку, в невообразимом сюртуке и помятой фетровой шляпе, руки в карманах и назвался старшим лейтенантом. Не доложил, не отрекомендовался, а именно назвался таким тоном, словно и не служил никогда в армии. Меня взяло зло. Мы по горькому опыту знали, что влечет за собой такая потеря воинского вида и воинских навыков. В тот раз я отказался включить Василенко в свой отряд.

— Опускается человек. Мне таких не надо.

И он остался с группой «отсеянных» на Червонном озере.

Во второй раз я встретил его уже на Воляни и порадовался перемене. Откуда-то добыл он чистенькое военное обмундирование, и вместе с обмундированием вернулись к нему военная выправка, четкие фразы, энергичные движения. И в боевых делах он проявил качества, необходимые партизанскому командиру. Словом, переродился. Хорошо. Но все еще оставался у меня неприятный осадок от первой встречи: можно ли быть вполне уверенным в человеке, который способен в трудную минуту развинтиться и опуститься?

Дело Тимонина показало нам Василенко с другой стороны. Анищенко, довольный тем, что непонятное «чепе» разъяснилось, сказал мне:

— Василенко такой: ему только окажи доверие, он сам во всем разберется. Инициатива. Творчество. Помните...

И начал перебирать эпизоды, героем которых был Василенко. Я все эти эпизоды знал, но после тимонинского дела действительно хотелось припомнить их снова и подвести какой-то итог.

Вскоре в беседе с самим Василенко я заговорил о его прошлом, о тех временах, когда он щеголял в сюртуке и шляпе.

— Маскарадный костюм. Куда вы его девали?

Василенко вспыхнул.

— Выбросил. Опомнился. Мне и самому стыдно вспомнить, на кого я был похож. Ведь я советский человек — родился в семнадцатом, отец у меня буденновцем был, а я ходил, как старорежимное чучело. Растерялся, словно сам себя потерял на какое-то время. Нет, я не оправдываюсь, просто объяснить хочу. Ведь как было? С начала войны я командовал взводом, потом ротой; и вот говорят: получай новое назначение. Явился в штаб. «Подожди, отдыхай до утра». Я зашел в пустую хату и — спать. А уж разбудили меня немцы. Прорыв там был или десант, не знаю. Может, наши по тревоге встали, а про меня никто и не вспомнил. Так вот не раненый, не контуженый и попал в плен. По-дурацки. Совестно, к самому себе уважения нет... Потом гоняли по Польше, по Восточной Пруссии — лагеря, арбайтскоманды. Это всякий пленный испытал... В начале сорок второго года работал на лесозаводе в Августовских лесах. А я донской казак, лошадей знаю, умею с ними обращаться. Управляющий заметил — взял меня к себе кучером. Разъезжал по делянкам, в Сувалки иной раз ездил, попутно надо мной издевался. Такая сволочь, что и не выдумаешь. Кривобокий, ходит, словно подпрыгивает, и бельмо на глазу. Фашист фашистом; а он, должно быть, еще и за свое уродство мстил людям. И конечно, боялся: пистолет поверх пиджака, чтобы видели, и граната в кармане. Ездили мы втроем: я, он и поляк-переводчик. Говорил он

по-русски лучше переводчика, но возил его, чтобы не оставаться один на один с кучером. Я сначала терпел, а потом не выдержал. Как-то остановились мы на лесной дороге, управляющий по своей надобности вылез. Идет обратно, я его должен в бричку подсаживать. А уж я несколько дней носил в кармане чугунную гирьку. Он на подножку вскарабкался — я его по голове. Повалился. Переводчик сначала глаза вытарашил, а потом помог мне труп припрятать. Поделили мы трофеи: переводчику пальто, мне сюртук и шляпу. Вот откуда этот маскарадный костюм. Полгода я шатался в нем, и мне было все равно, какой у меня вид, словно я — не я, а чужой бездомный бродяга. Ходил, пока не опомнился.

Василенко умолк, дальше незачем было рассказывать. Сюртук и шляпу, внешние признаки тогдашней его растерянности, он выбросил. Он снова нашел себя и на глазах у нас прошел путь от рядового бойца до заместителя командира отряда. Теперь Василенко знает, что он не бездомный бродяга, а хозяин своей земли наперекор захватчикам. Твердо знает, и на него можно положиться. Да еще те новые качества, которые он проявил в тимонинском деле. Все это учили и поручили Василенко так называемую «пятую базу».

Объясню, что это за база. Партизанские отряды пополняются стихийно. Невозможно предугадать, сколько новичков придет к нам сегодня или завтра и на что будут способны эти люди. Конечно, никаких штатных расписаний у партизан нет. Но с самого начала нашей борьбы мы чувствовали, что необходимо каким-то образом регулировать пополнение отрядов. Уже в 1941 году на Витебщине был у нас так называемый «военкомат», в 1942 году на Червонном озере — база «отсеянных», это до известной степени предохраняло нас от ненадежных и малодушных. Теперь вопрос о ненадежных вставал еще острее. На примерах Рагимова и Тимонина мы видели, что фашисты снова и снова пытаются засылать к нам своих агентов. Поэтому-то и решено было организовать особый лагерь для новичков.

Лагерь как лагерь. Были там землянки, кухня и баня; новички проходили там санобработку (это тоже немаловажное дело), а потом испытание и проверку. Некоторые из них, услышав название своего лагеря, обижались: «Почему пятая? Что вы нас за пятую колонну считаете?» Но в названии, конечно, не отразились никакие подозрения: просто-напросто, когда мы закладывали эту базу, в том же лесу уже находились четыре лагеря боевых отрядов Анищенко, Макса, Конищука и Картухина. На «пятой базе» мы знакомились с людьми, с их способностями и пригодностью к той или иной работе. Подрывнику, например, кроме

обязательной для всех партизан смелости, нужна педантичная аккуратность: малейшая неточность стоит подрывнику жизни. Разведчику необходимы хитрость, наблюдательность, умение запомнить любую мелочь. Он должен уметь разговаривать с любым встречным и управлять разговором незаметно для собеседника. Он должен все выведать, а сам ничего не рассказать. Политически развитых людей использовали мы как агитаторов. Тех, кто не обладал этими специальными качествами, направляли на заставы и комендатуры — нести караульную службу. И наконец, люди пожилые, слабые здоровьем, раненые посылались обычно на тыловую работу: в хозяйственные команды, в мастерские, в медицинские пункты.

Разумеется, изучать людей, разгадывать их способности, намечать их будущую партизанскую специальность — дело нелегкое. Но еще труднее распознать врага, скрывающегося под маской друга. Это и должен был делать Василенко. Командуя «пятой базой», приучая людей к партизанскому быту, он присматривался к ним. Кажется, тогда назвал его кто-то «начальником бдительности», и название это, точно определявшее его работу, прочно вошло в наш обиход. Он знал, что нельзя затягивать испытательный срок, но и торопиться с выводами нельзя и, конечно, нельзя оскорблять подозрениями человека, может быть, ни в чем не виновного. Тут, помимо наблюдательности и терпения, требовалась безукоризненная тактичность.

Однажды он доложил мне, что двое из его подопечных подозрительны. Как и в истории с Тимониным, никаких определенных фактов он не знал, но что-то почти неуловимое в их наружности, в их словах, в их поведении заставило его насторожиться.

— Я не могу передать их в боевые отряды, — мрачно сказал «начальник бдительности», — и у себя держать не могу — обижаются.

— Попробуем разобраться сообща, — ответил я. — Приведите одного из них завтра, поговорим. Чтобы не было сомнений, скажите, что мы хотим дать ему особое поручение.

Человек, приехавший на другой день с Василенко, был высок ростом и плечист. На нем был серый немецкий китель, гражданская кепка и польские с высокими задниками сапоги — обычная в партизанских условиях одежда. Входя, он расправил складки вдоль пояса; китель его был аккуратно застегнут на все крючки, а лицо чисто выбрито. Я сразу отметил это — люблю воинскую аккуратность. Держался он скромно, но уверенно, такого случайным вопросом не смущишь. Разговаривая с ним, я даже подумал, что Василенко на этот раз ошибся. Вот только глаза этого человека мне не понравились: выпуклые, серо-оловянные с маленьки-

ми острыми точками зрачков, какие я замечал у пьяных. Но он был трезв и спокоен.

Когда после разговора он вышел, я сказал «начальнику бдительности», что ничего подозрительно не вижу, но все же посоветовал задержать этого парня на пятой базе, продолжать за ним наблюдение. Я вернул начальнику пятой базы.

А когда ушел и Василенко, в землянку ворвался один из бойцов картухинского отряда.

— Дядя Петя, — заикаясь от волнения, выпалил он, — тот человек, который поехал с Василенко, у немцев переводчиком был. Я его видел в Барановичах.

— Вот это да! Вернуть его надо!

И опять Василенко распутывал клубок, и опять, несмотря ни на какие увертки, преступник вынужден был сознаться. Оказалось, что он немец, но родился в России, в семье немцев Поволжья. Фамилия его Гейнц. Он не только был у фашистов переводчиком, но окончил у них специальную школу и был подослан к нам с той же целью, что и Тимонин. Шпионские донесения он посылал на имя того же Панасюка.

— Так я и знал! Да кто же он такой, в самом деле, этот Панасюк? Где он?

Но и Гейнц знал о Панасюке не больше Тимонина.

— А кто еще с вами работал? Здесь, у нас?

— Я один. Никого больше не знаю.

— А Казик? — Василенко обернулся ко мне. — Дядя Петя, немедленно надо послать за другим. Прикажите, чтобы привезли с «пятой базы» Казика.

Посланные мной люди уже не застали Казика на «пятой базе»: он скрылся, сообразил, должно быть, что, если потянули его приятеля, то и ему не сдобровать. Но очной ставки и не потребовалось: Гейнц, видя, что упираться дальше бессмысленно, рассказал и про Казика. Да, Казик не тот, за кого себя выдавал. Попав к партизанам, назвался бежавшим из концентрационного лагеря поляком, и даже поляки ему верили, а на самом деле он украинский националист, агент гестапо, сотрудник Гейнца в его черном деле.

О пропавшем Казике мы предупредили ковельских подпольщиков, и вскоре группа железнодорожника Бориса ликвидировала предателя. А вот Панасюка, возглавлявшего, очевидно, шпионский центр, ни мы, ни подпольщики не могли обнаружить. Правда, группа Бориса отыскала в Ковеле человека, носившего эту фамилию, — бывшего петлюровского офицера, но тщательная проверка и наблюдение за ним показали, что ни с немцами, ни с националистами он не связан.

— Белое пятно, — вздыхал «начальник бдительности», — недоработка. Каждую минуту можно ждать от этого Панасюка новых пакостей.

Мысль о Панасюке не давала покоя Василенко даже в минуты отдыха.

Я уже упоминал, что партизаны любили в свободное время и спеть, и сплясать, и послушать музыку. Возникали у нас импровизированные концерты, вечера самодеятельности. Однажды июньским вечером 1943 года приехал я в лагерь Анищенко и застал там Василенко. «Начальник бдительности» сидел на бревнышке перед командирской землянкой и, подыгрывая себе на гармошке, выводил бархатным басом:

О чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь,
О чем, дева, плачешь — слезы горькие льешь?

Народу вокруг собралось порядочно — все свободные люди отряда, и сам Анищенко подпевал, грустно склонив голову. Дело у меня было неспешное, и я присоединился к слушателям.

— А вы бы повеселее, — попросил кто-то.

Василенко тряхнул светлым чубом и передал гармонь Анищенко.

— Это у него лучше выходит. Давай-ка, Саша, саратовские. Анищенко не стал отказываться: он тоже был умелым баянистом.

Теперь я не помню слов, но это были партизанские частушки на самые злободневные темы — и бытовые, и политические; запевали их несколько человек — так повелось в отряде.

Настроение сразу изменилось.

— Теперь в самую пору сплясать. Сыграйте гопака, товарищ командир.

— Верно! Дайте круг! Василенко попросим!

И Василенко пошел по кругу сначала мелким плавным шагом, потом быстрее, потом вприсядку, а там уж и разобрать нельзя было, что у него пляшет: плясали ноги, плясали руки, плясали плечи; казалось, даже глаза и брови, даже губы и щеки принимают участие в пляске.

— Вот это настоящий гопак, — одобрил стоявший рядом со мной старичок, партизанский сапожник, запомнившийся мне еще по тимонинскому делу. — Не видал я такого с тех пор, как молодым был.

Кругом прихлопывали в ладоши. Думалось, что о войне позабыто, что ничто уже не мешает веселью этих людей.

Когда Василенко, уступив место другому плясуну, подошел ко мне, я похвалил его:

— Молодцом! У вас просто талант к этому.

— Эх, дядя Петя! — ответил он. — Вот пляшем, а на душе кошки скребут. Какой у меня талант, если я Панасюка найти не могу. Он еще много крови нам перепортит.

Он был прав, но об этом я расскажу позднее. А пока добавлю только, что, хотя пятая база просуществовала недолго, Василенко так и остался «начальником бдительности» — начальником особого отдела в первой бригаде.



ПАН РОМЕК*

В конце декабря 1942 года старший лейтенант Василенко сообщил мне, что познакомился с одним поляком, управляющим имением — очень интересным человеком, который имеет большие связи с немцами и поляками, немцев ненавидит, а нам может оказаться полезным. О том, что Василенко встречался с ним, новый знакомый просил хранить в тайне, чтобы это не дошло до гестапо.

Я поручил Василенко собрать сведения об управляющем.

* Пан Ромек — псевдоним. Он так подписывал донесения, а чаще ставил просто единицу, и я знал, чье это сообщение.

Вскоре мы узнали, что интересующий нас человек — польский помещик, владевший имениями на Волыни и за Бугом, а в Варшаве — большим домом. Он бывший офицер польской армии, по образованию агроном, был за границей (в Германии, Америке) на дипломатической работе.

Василенко рассказал, что в отрядах есть много партизан, которые работали батраками в его имениях. Они знали о нем всю, как говорят, подноготную.

В сентябре 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу, помещик пошел в армию. Участвовал в боевых действиях, а когда польское правительство сбежало, а армия распалась, он ушел на восток, чтобы не попасть к немцам в плен. «Коммунистов» он боялся не меньше, чем немцев, а на запад в такое время трудно было пробраться. Переодевшись в крестьянскую одежду, он решил добраться до Волыни, в свое имение, и пересидеть там трудное время.

На Волыни у него было много друзей, знакомых. Даже батраки и крестьяне, как думалось пану, относятся к нему с уважением... Но это только ему казалось.

Не успел он добраться до своего «майонку», как был арестован батраками. Посадили его в одну из комнат. Поставили охрану, чтобы затем устроить суд над своим хозяином. Но ночью пану удалось сбежать вместе с одним из охранников. Он перебрался за Буг, жил в Варшаве. А когда немцы оккупировали Волынь, прибыл в свое имение, но уже не в качестве хозяина, а управляющего. Видимо, это сильно его удручало, но другого выхода он не видел и жил надеждой, что вернутся старые времена.

Его радовало то, что имение не разрушено, как ему говорили за Бугом, и его не нужно было восстанавливать. Оккупанты отобрали у крестьян помещичью землю, инвентарь и заставили их работать на себя.

Командир отряда Николай Конищук, сам из местных, рассказал про один случай, характеризовавший хозяина имения с положительной стороны. Летом в 1942 году в имении работал на грузовой машине шофер, который имел связь с партизанами. Партизанам нужно было перевезти оружие и боеприпасы из города Луцка в Камень-Каширский район. Это было связано с большими трудностями и риском.

Из имения в Луцк шла машина с продуктами для генерал-губернатора Волыни и Подолии. Случай удобный — на обратном пути можно было захватить груз для партизан. Шофер был нашим человеком, но машину сопровождал один из доверенных людей управляющего — Жечик — опасный тип, ненавидевший партизан. Связываться с ним было опасно.

Приехали в Луцк, сдали продукты. Доверенный управляющего ушел в город по своим делам. А шофер поехал выполнять задание партизан. Погрузил оружие и доставил его по назначению.

На другой день прибыл в имение доверенный управляющего и пожаловался на шофера, рассказав, что тот его оставил в Луцке.

— Есть слухи, что шофер связан с партизанами и является опасным человеком, — сказал Жечик.

Управляющий вызвал шофера.

— Ты почему оставил пана Жечика в Луцке? — спросил он.

Шофер оправдывался, ссылаясь на немцев, которые заставили его везти арестованных в Ковель, и на то, что имеется бумажка от немецкого офицера (эту справку ему дали подпольщики).

— С партизанами связался, хочешь, чтобы тебя повесили? — кричал управляющий, затем он приказал шоферу сдать машину другому и идти работать на конюшню.

Ночью в имение пришел Конишук и предупредил управляющего, чтобы шофера не трогали и не сообщали о случившемся немцам.

— Шофер действительно с нами связан, — сказал он, — и по нашему заданию привез оружие, а для того чтобы не было свидетелей, пана Жечика он оставил в Луцке. Я вам открыл всю правду. Ваше дело, как хотите, так и поступайте с шофером, но я предупредил вас.

На этом разговор был закончен. Шофер опять продолжал работать на машине. Пан Жечик больше его не упрекал в связях с партизанами.

Когда наши отряды прибыли в эти места, имения в большинстве своем были ликвидированы. Часть из них мы оставляли нетронутыми как базы продовольственного снабжения наших отрядов. Управляющих, как правило, не трогали, они могли жить в имениях.

Встретиться с этим управляющим в январе я не успел: немцы провели большую облаву, нам пришлось временно уйти с Волины на Ровенщину. И только в первой половине февраля лейтенант Гиндин, который был заместителем Конишука, доложил мне, что он имел разговор с управляющим и что тот желает со мной встретиться.

— Чувствуется, что Сталинград крепко подействовал на него, — в заключение сказал Гиндин.

Я поручил Гиндину продолжать держать связь с управляющим, только быть осторожней, реже встречаться с ним, чтобы не вызвать подозрений, и вместе с Василенко подготовить нашу встречу. Вскоре, в одну из метельных ночей, такая встреча со-

стоялась. Мы втроем — Анищенко, Василенко и я — прибыли на Червищенские хутора. В хате, куда мы вошли, нас встретил высокий стройный мужчина средних лет, с крупными и правильными чертами лица, с манерами военного. Он был один, хозяева ушли раньше, до нашего появления. С Василенко он уже был знаком. Мы с Анищенко отрекомендовались.

А Макс и Борис будут? — спросил помещик, имея в виду Собесяка и Гиндина (Макс — это польский коммунист Юзеф Собесяк, командир отряда и мой помощник по работе среди поляков. А Борис Гиндин, как мы уже знаем, заместитель командира отряда, которым командовал Николай Конишук).

— Нет, они находятся на задании, вернутся через неделю.

— Жалы! Но не будем терять времени. Приступим к делу. Я польский патриот. Между Москвой и польским правительством генерала Сикорского заключен договор против Германии. Я немец ненавижу и должен с ними бороться.

— А кто вам мешает с ними бороться? — спросил я.

— Мне никто не мешает, но я офицер Войска Польского и хочу числиться в польской армии. Желательно, чтобы в Москве знали обо мне. А вы имеете связь с Москвой.

Затем управляющий рассказал о том, какие возможности имеются у польских патриотов в борьбе с гитлеровскими захватчиками, что у него есть много знакомых среди поляков, работающих в немецких учреждениях и на предприятиях, что он имеет широкие связи с немецкими офицерами и чиновниками.

Мы немного удивились тому, что польский помещик говорил о страданиях польского народа, но многое из рассказанного им нам понравилось, понравилось также и то, что он не ставил перед нами никаких условий.

— Да, это человек трезвого ума, — заметил мне позже Анищенко.

Нам и до этого приходилось встречаться с польскими подпольщиками. И, как правило, они все ставили перед нами условия: просили оружие, боеприпасы, а одна делегация даже требовала от нас, чтобы Польше вернули Западную Украину и Западную Белоруссию. А этот ничёго не требовал, наоборот, предлагал свои услуги и только просил — сообщить о нем в Москву.

Я вынул из планшетки советско-польский договор. Этот документ у меня хранился еще с лета 1942 года. Я предложил управляющему посмотреть этот документ.

Он схватил его, подошел к лампе, долго рассматривал, читал. На его лице появилась довольная улыбка.

— Дайте мне на время этот договор, — попросил он.

Я дал согласие. Он аккуратно сложил его, вынул из брючного

кармана белый платочек, положил в него договор и спрятал во внутренний карман своего пиджака.

Мы договорились с паном Ромеком о том, что, поскольку имение почти ликвидировано, ему для пользы нашего дела лучше всего устроиться на работу в рейхскомиссариат Украины в Ровно и что мы сообщим о нем в Москву.

Конечно, мы понимали, что пан Ромек — временный попутчик, что наши дороги могут разойтись, но сейчас он нам окажет большую помощь... Через несколько дней с управляющим встретился Макс, договорились с ним по конкретным вопросам работы среди поляков.

Задания наши Ромек выполнял добросовестно. Перед ним были открыты двери многих учреждений, предприятий, частных квартир высокопоставленных лиц. Для немецких офицеров и чиновников он был «своим человеком». Через него наши «сюрпризы» (мины) попадали в такие места, которые прежде были нам недоступны: в казармы, в штабы. Кроме того, мы получали интересные нас сведения.

Однажды пан Ромек через Василенко передал нам, что есть возможность встретиться с представителями польской интеллигенции, которые будут приглашены на именины к одному управляющему. Но мы должны появиться там неожиданно, будто туда попали случайно. И с нами обязательно должен быть как польский офицер Макс.

Мы согласились быть на этих именинах и, конечно, не ради угощений, не ради веселья. Мы ехали туда, чтобы договориться с поляками о совместной борьбе с гитлеровскими захватчиками. Но именины есть именины, в грязь лицом ударить было нельзя. К встрече подготовились серьезно, выбрали наиболее представительных товарищей. Самым трудным оказалась их экипировка. Пришлось собирать лучшую одежду и обувь по отрядам, чиститься, мыться. Одежду собрали, но сложности экипировки на этом не кончились. Наша одежда настолько пропиталась дымом и потом, что этот специфический «партизанский дух» было выветрить не так просто.

Одежду поливали настойкой из душистых трав, в том числе из мяты. Одеколону нашли только один маленький флакон, его берегли. Все было готово, только Макс никак не мог собраться. Он надел белую рубашку, к ней нужен был галстук, за ним послали гонца к пани Михайловской, в Серхов.

Наконец-то галстук привезли. Макс стал неузнаваем. Партизаны оглядывали его, шутили:

— Хоть под венец води. Ни одна паненка не устоит перед нашим Юзеком — дипломат и только!

Семь саней и несколько верховых двинулись в путь. Ночь была светлая, неморозная, шел мелкий снежок. Полозья саней легко скользили по снегу. Лошади бодро бежали, пофыркивая, и только из-под копыт вырывались комья снега и с легким шумом ударялись в передок саней. Дорога почти все время шла лесом, редко встречались небольшие поляны.

Не доезжая до имения, мы остановились в сосновой роще. Вылезли из саней, чтобы немного размяться. Василенко с разведчиками поехали к имению. Кругом тишина. Раздался крик филина. Где-то вдали, наверное, под Ковелем, прозвучали два глухих взрыва, и опять все смолкло.

— Наверно, наши сработали,— сказал кто-то.

Возвратился разведчик и доложил, что все в порядке, можно двигаться. Подъехали к имению. Выставили охрану. Василенко повел нас в усадьбу. В каменном одноэтажном доме окна были затемнены.

На крыльце нас встретил хозяин дома и пан Ромек. Наша вооруженная «делегация» вошла в большую светлую приемную, обставленную мягкой мебелью, увешанную картинами — все это удивляло нас, привыкших к темноте землянок, к сожженным селам и городам. Даже не верилось, что во время войны так еще могут жить люди!

На нас, лесных жителей, смотрели прекрасно одетые мужчины, сухопарый длинноносый ксендз, женщины в пышных декольтированных платьях, но у всех перепуганные глаза. Видимо, были мы для них выходцами из другого мира... Они, наслушавшись нелепых рассказов, небылиц, начитавшись немецких газет, представляли нас чуть ли не людоедами, грязными, оборванными, обросшими и голодными. А мы стояли перед ними веселые, сытые, добротнo одетые и спокойно снимали с себя верхнюю одежду. Кто подходил к трюмо, причесывая свою шевелюру, кто поправлял широкий военный ремень.

Макс вошел последним.

— Добрый вечер, панове! Капитан Макс Орлинский,— он по-польски приложил руку к головному убору.— Извините, панове, за вторжение непрошенных гостей на ваши торжества. Но мы привыкли появляться там, где не ждут нас. А тут по пути узнали, что у пана Казимира день рождения. Вот мы решили поздравить, пожелать ему столять!

Он еще сказал хозяевам несколько приветственных слов по-польски и стал нас представлять каждого по отдельности. Это успокоило их. Начались непринужденные и все же несколько настороженные разговоры. Но даже эта настороженность не помешала интересу, которой появился у присутствующих жен-

щин к нашим хлопцам, а у одной из них, с игривыми и ясными глазами, невольно вырвалось:

— Ой, яки гарни партизаны! Один лепше другого!

Хозяин пригласил всех к столу в другую комнату, которая была по размерам своим больше приемной, там стоял отличный рояль, большой буфет со множеством разнообразных статуэток, висели картины. Стол был накрыт и обставлен богато, с большим вкусом. Многие из нас впервые в жизни видели такую роскошную сервировку и не знали, с чего начинать необычную трапезу. Поняв это и желая рассеять наше смущение, Макс поднялся со своего места, и, как бы в шутку, с лукавым огоньком в глазах обратился к хозяевам с короткой речью.

— Мы люди лесные, у нас нет привычки к светским правилам. Мы отвыкли за время войны от таких застолий. Пусть нас простят панове, если мы будем кушать по-своему, по-партизански.

Это вызвало одобрение хозяев и гостей, им даже понравилась такая простота за столом.

Как водится на именинах, произносились тосты за юбиляра. И чего только не желали ему! Спели «столят». Один из присутствующих — железнодорожник — произнес тост за польско-советскую дружбу.

Поднялся Макс. Он не призывал наполнять бокалы, а окинув взглядом присутствующих, тихо начал:

— Панове, прошу прощения, что нарушу традиционные речи, которые произносятся на именинах. Мы присоединяемся ко всему сказанному. Но я как солдат, как патриот хочу начать свою речь словами польской поэтессы Марии Конопницкой:

Эх ты, земля польская,
Так богата,
Что могла бы питать полсвета.
А для собственных детей хлеба нет...

Макс вздохнул, поправил свои русые волосы и продолжил речь:

— Панове, посмотрите на Польшу, что делают с ее народом гитлеровцы. Они превратили нашу стану в сплошной концлагерь. Они разрушают наши хаты, убивают наших людей, они убивают и разрушают хаты украинцев, белорусов, русских. Они уничтожают славянские народы. А почему бы нам, панове, не объединить все наши силы против общего врага, не враждовать между собой? Я верю, панове, что спасет Польшу Красная Армия вместе с польскими партизанами, с польским народом. Будущее нашей Родины в дружбе с Советским Союзом. Вот за это давайте поднимем бокалы.

— Bravo! Bravo! — раздалось несколько голосов.

Речь Макса произвела впечатление своей определенностью. Поляки с гордостью смотрели на него, на его крест «Виртути Милитари», а женщины — те просто не сводили глаз, Макс был вообще обаятелен, а форма польского офицера делала его просто красавцем. Все молчали и только переглядывались. Первым заговорил пан Ромек.

— Панове! Я восхищен речью пана капитана Орлинского. Не смею критиковать наше правительство в Лондоне, однако вынужден констатировать, что дальше обещаний оно не пошло. Я преклоняюсь перед военным талантом генерала Сикорского, но не одобряю его политики «выжидания», политики «держат оружие к ноге». При такой политике немцы передуют нас как цыплят. И я за то, чтобы винтовка была в бою! Надо действовать. Я солидарен с паном капитаном в том, что настало время объединять наши силы против гитлеризма.

После тоста Макса больше уже не говорили об имениннике, а рассуждали о положении на фронтах, разгроме немцев под Сталинградом, о втором фронте, о будущей Польше и о том, что волинский делегат польского правительства в Лондоне Адам дал указания, чтобы поляки не вступали в советские партизанские отряды и не помогали им, а шли в Армию Крайову*.

Получилось так, что тост Макса как бы развязал языки полякам. Если до этого они говорили только об имениннике, а о текущем моменте упоминали осторожно, с оглядкой, то теперь они заговорили свободнее, смелее. Вслед за паном Ромеком высказался хозяин дома — именинник. Он восхищался действиями Красной Армии, что разгромила немцев под Сталинградом, посмеялся над трауром, который объявил Гитлер.

— Русские показали швабам, где раки зимуют, — так говорят у вас? — обратился он к Василенко.

Как бы продолжая сказанное хозяином, учитель, человек небольшого роста, большеголовый, начал рассуждать о том, что после Сталинграда самое подходящее время для союзников открыть второй фронт, а Лондонскому правительству вернуть армию Андерса из Ирана на русский фронт и вместе с Красной Армией гнать гитлеровцев на запад.

Рядом с паном Ромеком сидела молодая, стройная рыжеволосая женщина в черном платье, все время принимавшая активное участие в разговорах. Она лестно отзывалась о генерале Андерсе, которого хорошо знала. Но то, что он увел польскую

* Армия Крайова (национальная армия) — реакционная военная организация польского правительства в Лондоне.

армию в Иран в самое трудное для союзника время, по ее мнению, было трусостью и предательством.

Пожилой мужчина в форме железнодорожного инженера, свободно говоривший по-русски, обратил внимание на то, что именно сейчас, когда немцы разгромлены под Сталинградом и Красная Армия гонит их на запад, важно объединить все антигитлеровские силы на оккупированной территории, чтобы разрушать вражеский тыл. Он говорил о диверсиях на Ковельском железнодорожном узле и сообщил, как немцы перепугались, когда в октябре 1942 года было взорвано железнодорожное полотно на главных магистралях Варшавского узла.

Разговоры велись на польском, украинском, русском языках, но мы понимали, о чем идет речь. Не умолчал и ксендз. Он говорил на украинском языке так, как говорят на Подолье. Речь его была загадочной:

— Мы согласны с паном капитаном Орлинским, что надо объединить наши силы. Вероятно, они будут объединены, когда это будет нужно для Польши. Но об этом скажет нам правительство генерала Сикорского. Оно знает больше нас и имеет на этот счет свою точку зрения. Спешить не будем. . .

Он пробежал глазами по сидящим, вздохнул и громко произнес:

— Какое может быть единство, когда украинцы убивают поляков!

— Это неправда, святой отец,—сказал Сергей Борисюк, мой заместитель по руководству подпольными организациями.— Убивают и украинцев, тех, что не признают «нового порядка» Гитлера. Вот перед вами сидит Сильвестр Миткалик. Он такой же украинец, как и я. Трех его детей и жену замучили националисты, у меня они расстреляли родственников. Много таких. Так что нельзя смешивать украинских националистов с украинским народом.

— Я согласен с паном товарищем,—вмешался в разговор лысоголовый мужчина, позже отрекомендовавшийся учителем.— Все мы помним 24 августа прошлого года, только в Маневичском районе было замучено и убито 1124 человека.

— О, пан Иезус, святая Мария,—ксендз поднял руки вверх,— я этот день не забуду до самой смерти. Тогда они убили всех в польских колониях Беречь и Ляски. А ведь только в Беречи жило более 500 душ. И жгли их украинские полицаи.

— Э, иет, святой отец, неправда! — Борисюк аж привстал,— кроме украинской полиции, там были и поляки, служащие в полициях. А немцы-инструкторы, а власовцы! Все они одним миром мазаны!

— К нашему сожалению, это так. Есть еще поляки, которые служат Гитлеру верой и правдой, — вздохнув, сказал железнодорожник.

— На днях нам передали, что в польской колонии Дерманка, в Киверецком районе, польские националисты, чтобы завладеть оружием, пригласили к себе по-дружески наших партизан и полностью уничтожили группу. Вот вам польские националисты. А кому это выгодно? — обратился Борисюк к ксендзу.

— Гитлеру, — ответил за того пан Ромек.

Спор продолжался, Борисюк умело и убедительно доказал, что нет разницы между украинскими и польскими националистами, что и те и другие — враги своих народов, что и те и другие сражаются под чужими знаменами против своих же земляков. И долг патриотов-интернационалистов — как польских, так и украинских — сделать все, чтобы прекратить национальную резню, раскрыть людям глаза — кто же натравливает украинцев на поляков, а поляков на украинцев.

— Вы же знаете, что националисты, и украинские и польские, выступают против советских партизан. Сейчас они помогут немцам бороться с нами, а потом уничтожат поляков так же, как сейчас уничтожают евреев. Немцы об этом открыто говорят!

Борисюк разошелся. Говорить он умел, факты его были бесспорны. И ксендз, чувствуя себя слабее, обратился ко мне:

— А почему пан полковник молчит и ничего не говорит?

— Я полностью согласен со своим коллегой, нам необходимо объединить свои силы против немецкого фашизма. А украинские националисты или польские — те же фашисты, с одного поля ягода.

— И чтобы украинцы, о... о, проше извинения, украинские националисты, не убивали поляков, тут пан полковник нам поможет? — перебил меня ксендз.

— Вы знаете политику советских партизан. Мы делали и все будем делать, чтобы разоблачить националистов и бороться с ними. Но многое зависит и от вас, святой пастор.

Ксендз кивнул головой:

— Так, так.

— А вам можно задать вопрос?

— Проще, проще, пан полковник.

— Откуда вы так хорошо знаете украинский язык? Так говорят только на Подолье.

— Я служил в кафедральном костеле в Каменец-Подольске, — ответил он.

— Знаю этот костел с красивой триумфальной аркой и турецким минаретом, — ответил я.

— Оказывается, мы с вами земляки. А пан полковник, случайно, не есть поляк?

— Пан полковник есть славянин, святой пастор, — вмешался пан Ромек.

Ксендз сидел за столом напротив меня. Он был сухощавый, длинноносый, с черными маленькими хитрыми глазами. Они быстро бегали и ни на ком долго не останавливались, как бы кого-то искали.

Он задал мне несколько вопросов о Каменец-Подольске. Ответы мои, видимо, удовлетворили его, и он спросил:

— Какой вы себе представляете Польшу после войны?

— Конечно, свободной, независимой и самостоятельной, — ответил я.

— А как насчет границ Польши?

— Это дело будущего. Решат без нас.

Он как-то криво улыбнулся, но ничего не сказал.

Чувствовалось, что мои слова не удовлетворили ксендза. Вообще по всем его манерам видно было, что он чем-то недоволен: нашим ли вторжением на этот банкет, где ему приходится сидеть за одним столом с большевиками, еретиками; ревностью ли к Максусу и к пану Ромеку, к которым поляки прислушивались. Чувствовалось, что они пользуются авторитетом, и, видимо, это не нравится пастору, привыкшему верховодить.

Беседа за столом продолжалась, хотелось курить, но в таком изысканном обществе не завернешь козью ножку и не задымишь вонючим самосадом! Приходилось сидеть и ждать, когда все встанут из-за стола. Первыми начали выходить женщины, которым, вероятно, прискучили разговоры о политике, о войне. Хозяйка дома села за пианино, заиграла, к ней подошел учитель со скрипкой. Появились первые танцующие пары, к ним присоединялись все новые и новые. Вышли из-за стола остальные мужчины. Одни пошли танцевать, а другие, очевидно, как и я, не умеющие танцевать, молча подпирали стены, чувствуя себя не совсем хорошо, тем более что к некоторым подходили женщины, приглашая на танец. И ко мне подошла игривая полячка:

— Проще пана полковника на вальс.

Я покраснел и начал отговариваться, что пока не могу, нога еще болит после ранения. Она улыбнулась:

— А как же пан полковник ездит верхом на лошади?

Ох, как я был зол на себя и на танцы! Но в это время замолчала музыка, и из соседней комнаты раздался приятный мягкий голос Макса.

— Ой, как чудесно поет пан капитан, пойдемте послушаем, — воскликнула полячка и подхватила меня под руку.

А Макс выводил нашу партизанскую:

Нас ни мать, ни жена
Не ждет у окна.
Мать родная на стол
Не накроет.

Наши хаты сожгли,
Наши семьи ушли,
Только ветер
В развалинах воет.

Этот ветер родной,
Он летит над страной,
Он считает
И слезы и раны,

Чтоб могли по ночам
Отомстить палачам
За позор
И за кровь партизаны...

Поляки обступили Макса и поющих партизан, пришел учитель со скрипкой, но тоже слушал, а не играл. Поляки были задумчивы и молчаливы.

Пока женщины слушали песни Макса и танцевали с партизанами, я попросил старшего лейтенанта Георгия Авсарагова отвлечь ксендза; я знал характер осетина и был уверен, что ксендзу будет от него нелегко вырваться — он засыплет святого отца вопросами.

Как только Авсарагов занялся ксендзом, мы с паном Ромеком зашли в кабинет хозяина, где находилось большинство мужчин. Они курили. Я тоже закурил. За большим канцелярским столом сидел сам хозяин, и перед ним лежала карта Советского Союза с обозначенной линией фронта.

— Чем мы можем быть вам полезны и что вас интересует? — с этими словами хозяин обратился ко мне.

— Нас интересует, какую помощь вы можете оказать нам в борьбе с немецкими захватчиками, — сказал я.

— О, возможности у нас большие, мы можем использовать поляков, которые служат у немцев. Но что конкретно вас интересует?

— Нас в первую очередь интересуют сведения о Ковельском железнодорожном узле и других военных объектах Ковеля, в том числе и о нефтебазе.

— В этом мы вам можем помочь. Держите связь через пана Ромека.

Только успел это сказать хозяин, как открылась дверь и в ка-

бинет вошел ксендз, а на пороге остановился Авсарагов; выражение его глаз говорило: «Виноват, больше не мог задержаться».

Пан Ромек тут же начал рассказывать какой-то анекдот.

Больше задерживаться мы не могли, наше торжество происходило в глубоком тылу врага, недалеко от города Камень-Каширска. А там стоял значительный гарнизон. И Ковель не за горами, в любое время могут нагрянуть фашисты. Нельзя подвергать опасности хозяев. Они и так переживают, волнуются. Мы заранее знаем, что утром управляющий, у которого мы сейчас в гостях, отправится в Камень-Каширск и доложит в гестапо, что ночью у него были партизаны.

Мы поблагодарили хозяев за угощение и покинули имение. Дорога длинная. Сидя в санях, я анализировал итоги этой встречи. Что же она нам дала? Может, мой заместитель Анищенко был прав, советуя мне не ездить на эту встречу «с классовыми врагами и не марать свое личное дело и биографию». А как вели себя наши люди — «делегаты»? Отлично. Выдержали экзамен. А я? Подвел. И в чем? Танцевать не умел.

И все же мы правильно поступили, что встретились с представителями так называемой «народной интеллигенции». На встрече присутствовало три управляющих имениями, четыре учителя, пять работников лесничества, два медика, два железнодорожных служащих и ксендз. Все они имеют общественный авторитет, все они могут оказать нам значительную помощь. И они ее обещали, а это главное. Мы узнали их настроение, что тоже важно для нас. Правда, кое-кто недоговаривал, а выступление ксендза... Что-то он знает, о чем не знают другие. «Объединимся, когда это будет нужно для Польши!» А разве сейчас не время?

О чем недоговаривал ксендз, мы узнали значительно позже... А то, что мы узнали о народной борьбе за Бугом и что полякам запрещают вступать в советские партизанские отряды, — разве не важно для нас? А то, что на Волынь прибывают два польских батальона для охраны железных дорог и борьбы с партизанами? Даже ради этого надо было встретиться с поляками. Анищенко неправ. Мы не можем быть перестраховщиками. Надо все сейчас подчинить борьбе с врагом. Да, всегда и во всем надо думать о главном. Но вот сегодня оказалось, что и неглавное бывает важным. Взять ту же красивую полячку с игривыми глазами. Она меня приглашает танцевать, а я отказываюсь, ссылаясь на раненую ногу. Не мог же я ей сказать, что всегда был принципиальным противником этих буржуйских танцулек, считая их недостойными комсомольца и революционера. Это было в годы моей комсомольской юности... Но и потом я к ним относился так же. Помню, когда я служил в 32-м кавполку, пришел приказ нар-

кома К. Е. Ворошилова, требующий научить командный состав современным танцам. И у нас наняли руководителя, а я, будучи секретарем партийной организации полка, сам же контролировал выполнение этого приказа. А для себя счел несолидным, неудобным ходить на эти танцы. Как мне сегодня это бы пригодилось!

Может быть, от этой полячки во время танцев и узнал бы больше, чем из общих разговоров за столом. Между прочим, она сказала, что у нее есть знакомый капитан из 27-й Волынской дивизии АК, отличный танцор. Ну какой он танцор — ее дело, а вот то, что она проговорилась о Волынской дивизии — это важно. Значит, сведения Магомета о создании польскими националистами своих формирований подтверждается.

Мои размышления прервал подъехавший Картухин, командир самого крупного нашего отряда. Несмотря на то что Георгий Митрофанович на десять лет моложе меня, у нас не было секретов. Возможно, сблизило нас и то, что мы оба — бывшие комсомольские работники. Я полностью доверял ему, мне нравилась его деловитость, воинская аккуратность, беспредельная преданность Родине. Я знал, что перед войной он тоже служил недалеко от Белостока в той же 10-й армии, что и я. Оказавшись в окружении, он создал партизанский отряд, действовавший в Гродненской области, был одним из организаторов комсомольского подполья в городе Скиделе.

Встретился впервые с Картухиным я в августе 1942 года под Барановичами, тогда он присоединился к нашим отрядам. Из Белоруссии мы перешли на Волынь. Обсуждали вместе наши партизанские дела, намечали планы. Мы часто бываем вместе на заданиях, а уж на все встречи, переговоры я его беру обязательно. Не зря партизаны в шутку называют его «наркомом иностранных дел».

Очень хорошо, что он подошел ко мне, можно поделиться своими мыслями.

— Отчего задумался, дядя Петя?

— Да есть отчего. Понимаете, я только в войну по-настоящему понял, как много надо знать военному того, чего нет ни в уставах, ни в наставлениях, ни в инструкциях, ни в директивах.

— Да, это верно. Взять хотя бы то, что мы не изучали методов ведения партизанской борьбы ни в военных училищах, ни на командирской учебе. А как нам это пригодилось бы в первые дни войны! А знание иностранного языка?.. — Он взмахнул рукой и замолчал.

— Вы, Георгий Митрофанович, обратили внимание на слова ксендза? Что-то он хитрит, говорит загадками.

— Все эти загадки, по-моему, не что иное, как политика «двух врагов» — Москва и Берлин. «Москалей бить, а перед немцами — руки по швам».

Да, мы хорошо знали об этой политике, которую проводили представители лондонского правительства, несмотря на союзнический договор Сикорского со Сталиным, политике, идущей на руку немцам, а не польскому народу. Политиканы Сикорского делают вид, что не замечают концлагерей, которыми покрыта Польша, глухи к стонам польского народа, к тому, что немцы открыто говорят — после уничтожения всех евреев очередь за поляками. А эти господа советуют полякам держать оружие «к ноге», беречь силы и ждать, когда Польшу освободят западные державы. С этой-то целью они и создают 27-ю Волынскую дивизию, потому-то и препятствуют вступлению поляков в наши отряды.

Нас волновал также вопрос со взрывчаткой. Фашисты усиленно перебрасывают свои резервы на восток, а, чтобы парализовать работу железнодорожных узлов, у нас взрывчатки не хватает.

— Эх, побольше бы нам взрывчатки, да боеприпасов, да оружия! Сколько людей мы могли бы принять в свои отряды... и поляков в том числе.

— Ничего, дядя Петя, скоро будет у нас взрывчатка. Тут вон на днях Магомет собрал «военный совет» из стариков, что у нас в гражданских лагерях*, там знаете какие есть мастера? Они обещали помочь в разминировании снарядов и мин.

Капитан Лев Иосифович Магомет — артиллерист по военной специальности. Он сейчас у нас активно занимается подготовкой к выплавке взрывчатки из снарядов, мин, авиабомб.

У нас в лесу лежит более двух тысяч этих боеприпасов. Собирали мы их по всей Волыни, но больше всего привезли с Павурского полигона, где они пролежали более десятка лет. Нам помогали местные жители, которые, рискуя жизнью, перевозили снаряды, маскируя их в сене, соломе, мешках с зерном, в навозе. Несколько таких наших добровольцев-помощников были замучены немцами и полицией, обнаружившими их опасный груз.

Не сразу фашисты поняли, с какой целью собирали мы снаряды. Не знали этого и многие партизаны, считая, что снаряды нужны только для усиления мины при подрыве эшелонов врага.

Снаряды, авиабомбы, мины мы складывали в штабеля и маскировали, многие из них были не только грязны, но и полностью покрыты ржавчиной. Размонтировать их было очень опасно.

* В гражданских лагерях мы собрали женщин, детей, стариков, спасавшихся в лесах от фашистов.

Магомет как артиллерист прекрасно понимал всю сложность и опасность работы с такими снарядами и принимал необходимые меры безопасности...

Картухин вынул кисет с махоркой. Закурили. Лошади резво спешили домой на базу. Дорога хорошая, на востоке пробивалась в облаках светлая полоска. Приближался рассвет. Кругом была необычная тишина. Мы молча курили и как бы к чему-то прислушивались. Тишина для нас — партизан — тоже опасна. Картухин бросил окурок в снег и заговорил:

— Мне Ромек понравился. Он большой авторитет у поляков. Чувствуется, что немцев ненавидит. А вот как будет относиться к нам? Это вопрос. И вообще, что даст нам эта встреча? А Макс, какой молодец!

— Согласен, что Ромек влиятелен среди поляков и, видно, дельный, серьезный человек. Но нельзя забывать и то, что он помещик и наш временный союзник в борьбе с гитлеровскими захватчиками... Время, впрочем, покажет.

Так мы всю дорогу вели разговор о наших партизанских делах...



КТО ЖЕ АГЕНТ 12-33!

В половине марта заместитель командира Камень-Каширского отряда Борис Гиндин передал мне записку пана Ромека. Он писал, что к нему приехала вдова с двумя взрослыми детьми — семья польского патриота, расстрелянного фашистами. Пан Ромек просил семью забрать от него, чтобы не помешала в работе.

В то время вся связь с управляющим шла через Гиндина, и он стал самым доверенным лицом пана Ромека.

Я послал Василенко в имение познакомиться с прибывшей семьей и поговорить о ней с управляющим. Василенко, вернувшись, порекомендовал перевести семью в другое место:

— Пусть меньше знают о наших встречах с паном Ромеком. И, улыбнувшись, добавил:

— Вы бы посмотрели на эту мать. Ее хоть под венец бери. Такая свежая, красивая, а дочь — просто картинка.

На второй день забрали от управляющего семью, «для безопасности». Перевезли в имение пани Михайловской. Мы знали, что пани Михайловская — жена генерала царской, а потом польской армии, сама из Петербурга, где получила медицинское образование, а в имении живет потому, что тут похоронен муж и дочери, и она ухаживает за их могилами.

К нам пани Михайловская относится сочувственно. Она считала за счастье оказать помощь больным и раненым партизанам. Особенно помогала она нам в борьбе с цингой. Пани Михайловская готовила нам лекарства из разных трав и корней, дикого чеснока, хрена, сосновых иголок. Несмотря на то что ей шел седьмой десяток, она никогда не отказывалась поехать на крестьянской бричке по тряским проселочным и лесным дорогам, чтобы оказать человеку медицинскую помощь.

Когда я как-то сказал, что не надо беспокоить такого пожилого человека, тем более женщину, она обиделась.

— Почему вы лишаете меня последнего удовольствия лечить людей-героев?

Михайловская охотно согласилась приютить «семью».

Через несколько дней мы с Максом заехали в имение пани Михайловской. Она встретила нас радостно.

— Пани Михайловская, а мы вам привезли немного продуктов, — сказал Макс.

— Очень вам благодарна.

Мы знали, что у Михайловской кроме «дворца» — деревянного дома на высоком фундаменте с множеством комнат, больше ничего нет. Она занималась врачеванием, и за оказанную помощь крестьяне платили ей натурой. Мы тоже снабжали ее мясом, мукой, картофелем, а иногда и колбасой нашего производства.

— Где ваши гости, пани Михайловская? — спросил у хозяйки Макс.

— Дома, сейчас позову. Пани Марта! К вам наши партизанские командиры приехали!

Из соседней комнаты вышли две женщины — мать и дочь. Вдова — стройная, среднего роста брюнетка была просто красавица: тонкие правильные черты лица, большие черные глаза, вздернутые губки. Она отрекомендовалась пани Мартой.

Я ответил:

— Дядя Петя,

А Макс как истинный польский офицер галантно прищелкнул каблуками и с легким поклоном поцеловал ей руку.

— Святая Мария! Не во сне ли я? Пан в форме! И в чине капитана? О, Иезус! — и заплакала. — Мой муж Вацлав... — и еще сильнее зарыдала. Ее дочь, назвавшаяся Вандой, бросилась к ней, обняла.

— Успокойся, мама! Не надо плакать. — И, обращаясь к Макс, проговорила: — Нашего папу расстреляли фашисты, он тоже был капитаном. А вы случайно не знали капитана Климчака?

— К сожалению, не знал.

Они разговаривали по-польски и я, понимая их, не вмешивался. Глядя на рыдающую вдову и успокаивающую ее дочь, девушку лет восемнадцати, тоже красивую и чуть полноватую, я думал о том, как много горя принес людям фашизм и сколько еще слез прольют матери по своим родным.

Макс тоже начал успокаивать вдову:

— Крепитесь, пани Марта, потерянного не возвратить. Сейчас кругом страдания, слезами тут не поможешь.

Пани Марта постепенно успокаивалась, но, всхлипывая, продолжала приговаривать:

— Как я ненавижу этих швабов... У них нет ничего человеческого, нет сердца, чести, совести. Одна жестокость. Садисты! Вы только послушайте, что они сделали с ним... — она говорила уже по-русски, но плохо и с заметным акцентом.

— Ну не надо, мама, успокойся. — Ванда тоже перешла на русский, на котором она говорила и чище и правильнее матери.

— Да разве можно успокоиться, когда моего мужа расстреляли только за то, что он был польским офицером и отказался идти на службу швабам. А потом они начали нас преследовать, расстреляли родителей, убили сына Фредика, а Янека довели до сильного нервного потрясения, он лишился рассудка. Но врачи, — да и пани Михайловская, — говорят, что это временно. А Ванду, мою красавицу, — тут она снова начала всхлипывать, — заставили петь и танцевать за кусок хлеба в солдатских кабаках...

Тем временем пани Михайловская оставила нас и вышла в соседнюю комнату, а Макс продолжал успокаивать сетовавшую на свою горькую судьбу вдову:

— Надеюсь, что у пани Михайловской вы отдохнете, вам тут будет хорошо. Мы тоже побеспокоимся о вас, чем только можно, будем оказывать помощь. Так что не огорчайтесь.

— Я очень благодарна пану капитану за внимание. Пани Михайловская приняла нас как мать родная. И Янечка лечит. Я рада, что нашла таких замечательных людей, как пани Михайловская и пани Ромек. И вам я очень благодарна, — она

вытерла платочком глаза и смотрела на Макса довольно игриво.

— А мне тут скучно, — сказала Ванда. — Пан капитан, возьмите меня в партизаны! Я хочу мстить этим подлым швабам. Я ведь стрелять умею, могу быть медицинской сестрой, да и немецкий язык неплохо знаю...

— Ванда, что ты говоришь? — всплеснула руками Марта. — Я не пущу тебя в лес. Как ты можешь оставить меня с больным Янеком?

— Мама, я должна отомстить за отца, за Фредика.

Марта опять заплакала. Но тут вошла пани Михайловская и пригласила к столу.

Мы вошли в другую комнату, где был накрыт стол. В углу в кресле с книгой в руках сидел Янек — рослый, мрачноватого вида парень. Он поднялся, безразлично взглянул на нас и вышел. Марта только вздохнула.

Во время завтрака разговоры продолжались. Но больше всех говорила вдова. Она рассказывала, обращаясь к Макс, о том, с каким трудом пришлось им добираться до Ковеля, о том, как они несколько дней жили у брата генерала Рачинского и по его совету оказались у пана Ромека.

Я сидел напротив Марты и внимательно слушал ее рассказ — за эти два года в тылу врага я видел столько несчастья и горя людей, что горе этой семьи казалось мне бледным. Глядя на загадочно-красивые глаза вдовы, я немного недоумевал. Я привык видеть, что у человека, перенесшего большое горе или жизненное потрясение, в глазах очень надолго остается след печали, а у этой я видел какие-то игриво-безмятежные глаза. Да, видно, эту красивую женщину даже в таком тяжелом горе не оставило кокетство.

Ничего нового мы не узнали от них, кроме того, что вдова до войны работала в одной фирме переводчицей, она хорошо владела французским языком.

По дороге в лагерь я высказал Макс, что семья эта интересная, только все-таки непонятно, почему же она прибыла именно к пану Ромеку. Макс улыбнулся:

— А давайте и поручим пану Ромеку выяснить это. А Ванду я возьму в отряд.

— Понравилась?

— Умная девушка, ее хоть куда — и переводчицей, и разведчицу из нее можно сделать. Да и красива, холера ясна!

— Мать тоже, видно, не промах. И тоже может оказаться нам полезной. Пока суть да дело, давайте прикрепим к ней нашего полковника. Мужчина он интересный, знает и немецкий и фран-

цузский, а особенно важно, что он умеет ухаживать за женщинами такого высокого полета.

— Кавалер он тот еще, холера ясна, — опять ввернул Макс одно из своих любимых выражений, — не зря же он офицер царской армии, да и за границей служил. Жалко с ним расставаться.

— Ничего. Это для пользы дела надо. Пусть определит, на что она способна. А заодно и заставами займется.

Так мы и сделали.

■ ■ ■

В апреле гестапо арестовало руководителей подпольной польской организации Маневичского и Колковского районов, которые были связаны с нами. Это было неожиданностью. Мы приняли меры, чтобы их освободить, дали для этого не только марки, но золото и даже доллары. Кроме нас, в это дело включились польские подпольщики, они тоже не жалели средств.

Пан Ромек ездил в Ковель, чтобы сделать все возможное, использовать свои связи и влияние для освобождения арестованных, но все было напрасно. «Крепко сели», — сказали в Ковеле польские подпольщики. У немцев были явные улики и доказательства. Удалось выяснить только то, что их обвиняли в связях с партизанами, и в частности в последней встрече с Максом, которая была описана со всеми подробностями.

Действительно, встреча происходила недалеко от Маневичей. С нашей стороны присутствовали Макс с тремя партизанами. Охрану несли люди от отряда Макса и сомневаться в них не было никаких оснований. Подслушать переговоры было трудно, почти невозможно. Значит, немцев информировал кто-то из подпольщиков? Но кто?

Мы поставили задачу нашему «начальнику бдительности» и управляющему пану Ромеку: принять все меры к тому, чтобы найти тех, кто выдал руководителей, с которыми мы были связаны с 1942 года. А через несколько дней наши подпольщики передали из Ковеля, что в наших отрядах есть шпион, что подписывается он «агент 12-33».

Легко сказать — «есть шпион». А как его найти? Мы сами чувствовали, что немцы точно знают расположение наших баз, потому что за последнее время нас стали часто бомбить. Они засекли нашу радиостанцию, их пеленгаторы находились в Камень-Каширске, Любешове и Маневичах.

Был период, когда почти ежедневно нас бомбили до двенадцати самолетов. Нам пришлось передислоцировать лагерь отрядов Анищенко, Картухина и Макса.

В начале мая группа партизан, возвращаясь с задания, недалеко от Маневичей задержала женщину, у которой нашли записку, написанную по-немецки на имя Панасюка. В этой записке были сведения о нас. Женщина показала то место, где она взяла записку. Этим местом оказалась яма под большой березой в роще возле моста у дороги, идущей на Карасин.

В это дело включился Василенко.

Сомнений не было, что это «почтовый ящик». Женщина больше ничего не могла сказать, кроме того, что сама она из Маневичей, уже три раза брала записки из этого места и передавала незнакомому железнодорожному служащему на станции Маневичи.

Кто был хозяином «почтового ящика», оставалось пока загадкой.

«Начальник бдительности» поручил выяснить это полковнику, прикрепленному к вдове, — ведь «почтовый ящик» находился недалеко от имения пани Михайловской.

Прошло более двух недель. Однажды ночью, возвращаясь с задания, я решил заглянуть в имение. Подъезжая к «дворцу», я увидел, что только из одного окна пробивался сквозь занавески свет, но с лошади мне была видна сидящая в кресле пани Марта и стоящий перед ней на коленях наш полковник.

Меня эта картина сильно рассердила — так вот почему он до сих пор ничего не узнал о «почтовом ящике» — времени нет. Видно, слишком серьезно занялся наш прикрепленный ухаживанием.

А тут еще наш балагур Крывышко, сопровождавший меня партизан, подтрунивает:

— Тоже мне ухажер, больше месяца здесь... Нет, дядя Петя, это не по-нашему. Так долго в войну ухаживать не годится.

Вошли в дом. Оказывается, хозяйка уехала к больному, и нас встречала пани Марта. Она захлопотала, накрывая на стол, а я увел полковника в другую комнату и спросил:

— Ну как идет работа? Каковы результаты?

— На заставах все в порядке...

— А что с «почтовым ящиком»? — перебил я его. — Нашли хозяина?

— Наши наблюдения ничего не дали.

— Кто вел наблюдение?

— Партизаны с нашей заставы.

— Да вы что! Неужели мне вам, старому кадровому командиру, надо объяснять, что к такому делу необходимо было привлечь местную агентуру или надежного человека, у которого рядом поле или выпас. Да мало ли есть причин у местных жите-

лей, чтобы ходить по лесу? А вы ограничились партизанами с заставы, которые у всех на виду. Разве это работа?

Он стоял передо мной, прислонившись к печке и низко опустив голову, как провинившийся боец. Мне даже самому стало неудобно, что, понадеявшись на его богатый военный опыт, я не разъяснил ему деталей нашей работы. И уже мягче спросил:

— А как пани Марта?

— Она все время возится с больным сыном и к работе ее пока не привлечь. Дядя Петя, — извиняющимся тоном обратился он ко мне, — вы лучше заберите меня на базу, тут я не на месте.

— Добре. Пока оставайтесь здесь, потом решим.

И мы пошли к столу.

Вдова в этот раз была весела и особенно расположена к разговорам со мной. Она все время старалась шутить, а под конец стала просить, чтобы мы ее забрали в лагерь или опять отправили к пану Ромеку.

— Что вы будете делать в лесу, да еще с больным сыном? — с удивлением спросил я. — Вы же и Ванду боялись пустить к партизанам, а теперь сами проситесь?

— Ванде в отряде Макса нравится. Вы же не под открытым небом живете, как я думала, а в землянках. И врачи у вас есть. Так что Янек без присмотра не останется.

Тут она с кокетством посмотрела на меня:

— Я же ведь женщина...

Я промолчал, сделав вид, что не понимаю намека. А она тогда уже более серьезно сказала:

— Я и готовить умею, и шить, немного печатаю, правда польски. А еще я большой радиолюбитель. Да у вас и людей интересных много, скучно не будет. А то здесь, если бы не пан полковник, и места бы себе от скуки не нашла.

И совсем серьезно закончила:

— Мой долг — отомстить за Вацлава, Фредика, за родителей. Вы должны мне в этом помочь.

Я пообещал.

Кривышко всю дорогу до самого лагеря восхищался красотой пани Марты.

— Видно, не одному голову вскружила. Цены нет такой бабенке.

— Что, и тебе она вскружила голову? — поддержал тему другой партизан. — А ты, Иван, начинка ухаживать. Наверно, быстрее получится, чем у нашего полковника.

— Где уж мне. Я как только на колени опущусь, так сразу она мою лысину приметит. Да, женщина шикарная... И дочка

у нее не промах. Вон давеча лейтенант Гиндин рассказывал, что она боксировать по-настоящему умеет.

Так ребята балагурили о пани Марте, и я тоже думал о ее просьбе — куда же лучше ее направить? Может, в отряд Картухиа? Там условия лучше, да и лазарет у него хороший — могла бы раненым помогать и за сыном смотреть. Или к Максу, ведь там ее дочь?

Но самый лучший, наверно, вариант — это пристронть такую привлекательную женщину в Ровно. Туда же мы готовим пана Ромека. Надо будет поговорить с ним об этом, связи у него большие... А что это она говорила о радиолюбительстве? Кто она — радист или просто радиолюбитель? Как это я упустил спросить? Надо будет уточнить.

Полковника придется отозвать. Ну а «почтовым ящиком» пусть займется Василенко.

С этими думами я и приехал в лагерь. И тут меня озадачил поджидавший меня Макс. Он сообщил неприятную новость.

Я уже упоминал, что пана Ромека мы думали устроить для работы в сельхозотдел рейхскомиссариата. Он ездил в Луцк и Ровно и добился полной договоренности. А каменьяширский гебитскомиссар даже поздравил его с новым назначением.

Перед отъездом пана Ромека в Ровно, «столицу» ставленника Гитлера на Украине Коха, он встретился с Максом, и тот его тоже поздравил с такой удачей. Во время беседы Макс высказал свои предположения о возможностях использования пани Марты в нашей работе. Но пан Ромек осторожно возразил:

— Проще пана капитана прощения, вы меня опередили. Я вот что хотел поведать. Ведь я с самого начала был удивлен — почему эта семья пришла именно ко мне? Ясно, что гостям, хотя и непрошеным, я этот вопрос задавать не стал, но думал об этом все время. А тут помог случай. На днях в Луцке я повстречал своего старого знакомого, он до войны служил в разведке, я ему полностью верю. Так вот, капитана Климчака он хорошо знал, но он твердо убежден, что и капитан и вся его семья расстреляны в Познани.

— Вот это новость, холера ясна!

— Но есть еще одна деталь. Когда я ему описал пани Марту, мой знакомый сказал, что близко знает жеищину, как две капли воды похожую на нашу вдову. Но детей у нее нет. В конце февраля она куда-то уехала, а в ее квартире осталась домработница. Мой знакомый хорошо знает эту домработницу, и теперь они продолжают встречаться. Знакомый посоветовал быть осторожным и пообещал побывать на квартире этой женщины и узнать у домработницы, куда уехала ее хозяйка, а если будет возмож-

ность, то заглянет в ее альбом. Они договорились, что на следующей неделе встретятся в Луцке.

Новость Макса меня озадачила. Что же делать?

Василенко занимается «почтовым ящиком». А может, ящик тоже имеет отношение к этой семье? И сведения кто-то передает в Ковельское гестапо. О том, что у нас находится агент гестапо, известно. Но кто? Голова забита разными предположениями. Мы молча сидели с Максом и нервно курили.

— Где Ванда? — спросил я Макса.

— Была на базе отряда.

— Немедленно возвращайтесь на базу и с Ванды не спускайте глаз.

Макс сразу уехал, а я написал Василенко записку с приказом, чтобы вдову вместе с сыном доставили на центральную базу.

На второй день Василенко доложил, что пани Марта с сыном находятся на пятой базе. Янека задержали возле «почтового ящика». В этом большую услугу партизанам оказала пани Михайловская. Когда Василенко спросил ее, как чувствуют себя ее гости, она внимательно поглядела на Василенко, вздохнула:

— Чувствуют себя неплохо, но никак не пойму, что они за люди. Янек ведет себя тихо, нормально, но как только начинаешь смотреть на него, сразу «выкидывает козлика». Вот вчера, например, увидев, что я за ним наблюдаю, схватил гармошку, выпрыгнул в окно и запел антигитлеровские частушки. Непонятно.

— Может, им скучно у вас сидеть в комнате? — спросил Василенко.

— Они в карты играют, читают. Их навещает полковник заставы. Ванда часто приезжает с молодым человеком. Красивый блондин. Он лекцию читал. Они много гуляют по лесу. Иногда вижу их возле ручья. Я там собираю лекарственные травы.

После разговоров с пани Михайловской Василенко устроил засаду возле ручья, и вечером, когда солнце скрылось за лесом, к «почтовому ящику» подошел Янек, нагнулся, чтобы взять «почту», и был задержан.

Василенко на другой день передал мне небольшого размера записку, написанную по-немецки:

— Вот эту бумажку я взял из рук Янека.

Пятая база от центральной находилась в трех километрах. Мы вместе с Василенко и Анищенко выехали туда. И вот мы на пятой базе. Пани Марта увидела нас, сразу заплакала.

— Святая Мария! Ты все видишь и знаешь. Видимо, никогда не кончатся мои страдания... Мальчик поднял бумажку в лесу, и за это арестовали нас. Не понимаю, в чем наша вина.— Ванда

сидела возле дверей, скучная, задумчивая, и на нас не обращала внимания.

И теперь я тоже глядел на рыдающую Марту, в ее глазах тоже печали не было, но они полны тревоги.

— Хватит плакать! Кончайте играть комедию. Кто вы, немка или полька? — спросил я.

— Я уже говорила, что являюсь вдовой офицера Войска Польского, замученного гестапо!

— Ванда и Янек ваши дети?

— Что вы, пановы! Мои родные.

— Кто заслал вас к нам?

— Нас направили к пану Ромеку святой отец Казимир и брат генерала Рачинского.

Двое суток Анищенко и Василенко продолжали допрос арестованных, но безрезультатно. Они все отрицали, а изъятая бумага из «почтового ящика» объяснялась ими как просто случайность.

Записка была составлена по-немецки как-то бессмысленно, но наши переводчики предполагали, что это кодировка.

Конечно, теперь же мы не сомневались, что эта «семья» заслана к нам, но с какой целью?

Василенко поехал в имение пана Ромека, возможно, там найдут какие-нибудь улики. Ромек, увидев Василенко, обрадовался:

— Вас пан Иезус прислал. Я уже сам собирался приехать к вам...

Василенко, перебив его, сообщил, с какой целью приехал. Узнав, что семья арестована, Ромек сказал:

— Не беспокойтесь. Я только что получил материала больше чем достаточно, и мы предъявим его при допросе. А теперь надо срочно решать со мной, а то завтра меня могут арестовать. Гестапо располагает данными о моих связях с партизанами.

Ромек попросил временно забрать его в отряд, но сделать это нужно было так, чтобы ввести в заблуждение гестапо.

Было решено, что ночью партизаны нагрянут в имение и «арестуют» управляющего как помещика и немецкого служащего. После этого они соберут работников имения и при них будут допрашивать его, выяснять, кого он обидел. После такой инсценировки партизаны увезут связанного помещика на Стоход, там произведут несколько выстрелов, «расстреляют» управляющего. Для большей убедительности на берегу Стохода будет оставлена его фуражка, «потерян» бумажник, в котором находится предписание лейтенанту Гиндину с указанием «срочно выехать в имение, арестовать управляющего и произвести расследование на месте... В остальном действовать согласно моим указаниям...».

Всю эту операцию я поручил Борису Гиндину с группой партизан из комендантского взвода.

Гиндин провел операцию умело. Но не обошлось и без непредвиденного. Вместе с управляющим жила его тетка, пожилая женщина. Она была в курсе дела, знала, почему партизаны «арестовали» племянника. Но ей нужно было оправдаться перед немцами, убедить их в том, что партизаны действительно забрали племянника, а ее избили. Она и попросила Дмитриева, чтобы он наделал ей синяков. Больших усилий стоило Аркадию выполнить просьбу этой доброй женщины.

Утром «избитая» тетка управляющего пришла к каменьякширскому гебитскомиссару с жалобой на партизан, которые забрали ночью управляющего и, наверно, расстреляли его, а ее избили.

Это было для гебитскомиссара полной неожиданностью. Он знал, что есть распоряжение гестапо арестовать пана Ромека за связь с партизанами.

Гебитскомиссар с ротой солдат и полицаев сразу же выехали в имение, чтобы на месте разобраться. Когда они явились туда, ему доложили, что на берегу Стохода найдена фуражка пана управляющего и бумажник партизанского командира с важным документом.

После этого немцы не стали сомневаться в том, что партизаны расстреляли управляющего и сбросили его тело в Стоход. Гебитскомиссар распорядился искать труп в реке. Полицай и крестьяне с баграми и граблями долго бродили на лодках по реке и ходили по берегу в поисках тела управляющего, но, конечно, безрезультатно.

Вскоре в газете появился официальный некролог на пана Ромека, «зверски погибшего от рук партизан».

Нам как раз это и требовалось.

Когда Гиндин привез пана Ромека в лагерь, тот рассказал мне следующее.

Уезжая в Ровно, он побывал в Ковеле и Луцке. В Ковеле встретился с подпольщиками. Вечером был в гостях у ковельского гебитскомиссара, который рад был за управляющего, что он уезжает из этих опасных партизанских мест. Все шло хорошо, он даже предложил управляющему свою машину до Ровно. Утром пан Ромек выехал в Луцк, зашел в генерал-губернаторство Во-лыни и Подолии. Там его встретили настороженно. Генерал-губернатор, хорошо знакомый с ним, отказался его принять. Управляющий — человек битый — быстро разобрался в обстановке и узнал от своих друзей, что на него есть компрометирующие сведения и готовится его арест. Дальше он не поехал, машину

гебитскомиссара отправил в Ковель с благодарственной запиской хозяину, сообщив, что остался на несколько дней в Луцке, чтобы встретиться с генерал-губернатором.

Встал вопрос, кто же его выдал?

В Луцке пан Ромек зашел к своему другу, которого посылал во Львов побывать на квартире пани Марты. И зашел очень своевременно. Его друг только что возвратился из Львова и не с пустыми руками. Он побывал на квартире, где раньше жила пани Марта. Передал домработнице-полянке привет от хозяйки и подарок, заранее подготовленный им отрез на платье, рассказал, что хозяйка живет хорошо.

Домработница была тронута вниманием хозяйки и благодарна за подарок. Она предложила гостю чашку кофе. Они пили кофе, вели разговоры и рассматривали фотографии в альбоме. Домработница была рада поговорить с приятным соотечественником и во время разговоров спросила его:

— А фрау Эльза не просила передать ее дневничок?

— О, проще пани! Просила, просила. Я заговорился и забыл. Она также велела передать ей и альбом.

Домработница принесла и передала ему три небольшие книжечки с золотистыми переплетами.

После того как Ромек вместе с другом бегло просмотрели альбом, сомнений не стало, что эта «семья» заслана ему гестапо. И он, не задерживаясь в Луцке, сразу же вернулся домой и в тот же день встретился с Василенко.

Вот с этими документами ко мне прибыл пан Ромек. Мы тоже начали с альбома, проглядели его внимательно, но не нашли ни одной семейной фотографии. Но зато полно было фотографий, на которых была «Марта» — Эльза, снятая с военными разных званий от лейтенантов до генералов многих стран, на нескольких снимках были политические деятели Франции, Японии и Турции.

Дневники были написаны на немецком языке, с ними занимались переводчики.

Теперь для нас было ясно, что это сборная «семья» шпионов.

— Видимо, здорово насолили мы немцам, если они не пожалели для нас таких специалистов, — сказал Анищенко. — Что теперь скажет Марта?

В этот же день приехал с заставы полковник, он привез фотоаппарат, который передала ему пани Михайловская. Он был спрятан в сарае.

— Вызывайте на допрос Марту, Ванду и Янека, — сказал я Василенко.

— Всех сразу? — удивился Макс.

— Да, всех. Все ясно. И нечего время тянуть.

Все вошли в землянку. Сели на скамейку рядом.

— Вы давно занимаетесь фото? — спросил Марту Василенко.

— О, это фотоаппарат Янека, он с детства любит фотографировать. Его отец научил, Янек, подтверди. — Ванда сидела молча, не сводя глаз с Макса.

— Янек и здесь фотографировал?

Он замялся.

— Да, фотографировал, — ответила Марта. — Фото отвлекало его от болезни.

— А где пленка?

— Он сжигал ее, он же больной. О святая дева Мария! Поверьте мне.

Янек молчит, но на вопрос Василенко подтверждает, что сжигал.

— Скажите, это ваши дети? — спросил я.

Ванда вздрогнула, на лице выступил румянец, но она с какой-то надеждой продолжала глядеть на Макса.

— Бог с вами! Что вы? Конечно, мои... Пан Иезус все знает.

— Ну и артистка, — тихо говорит Анищенко.

— Вот что, пани Марта, пора кончать играть комедию. Когда вы уехали из Львова и почему одна? Где были ваши дети?

Мой вопрос, казалось, никакого впечатления не произвел на Марту. Она спокойно и уверенно смотрит на меня.

— Что вы говорите? Я никогда в жизни не была во Львове. Мы прибыли из Познани. Это может подтвердить брат генерала Рачинского, который живет в Ковеле, и дети тоже.

Ванда и Янек подтверждают, что действительно они прибыли из Познани.

Василенко с альбомом подошел к Ванде:

— Покажите на фото вашего отца?

Ванда глядела на снимки, переворачивая страницы альбома. Остановившись на одном, сказала:

— Вот наш отец.

Янек тоже подтвердил.

— Это ваш муж? — обратился Василенко к Эльзе.

Она со вздохом взглянула на снимок, повернула голову в сторону Ванды и Янека, взгляд явно был неодобрительный.

— Нет, это не мой муж, но он очень похож на моего Вацлава.

Ванда покраснела. Янек еще больше смутился. Василенко прочел для Ванды и Янека, что было написано на обратной стороне фото. Там стояла подпись государственного деятеля Франции, который подарил свое фото на память.

Вот так перебирали одно фото за другим, но ни на одном не было семейного снимка. Об этом спросили Эльзу.

Она ответила:

— Семейные снимки в другом альбоме.

Она начала все больше нервничать, сознавая, что проигрывала. Улики были убедительными, но она пыталась найти хотя бы малейшую возможность выбраться из неудобного положения.

— Вы будете говорить правду? Дети ваши или они такие же шпионы, как вы? Прикрепленные к вам?

— Дайте стакан вина.

— Нет у нас вина.

— Тогда самогонки.

— А шампанского не желаете? — съехидничал Анищенко.

— Сходите в санчасть и принесите стакан спирту, — сказал я Анищенко.

Вскоре он возвратился с кружкой, взглянул мне в глаза.

— Дайте, пусть пьет.

Она взяла кружку, выпила, выдохнула. Вытерла губы, попросила сигарету.

Анищенко подал ей открытый портсигар.

Она глубоко вдохнула дым. Опять лицо ее стало розовое, глаза блестели. Она покосилась на Ванду и Янека.

— Дети мои по духу, но их родила не я...

И она рассказала, что у нее никогда не было детей, а Ванду и Янека ей подсадили на конспиративной квартире в Ровно и создали легенду, что они ее дети. Пани Марта с молодых лет связала свою судьбу с разведкой. После серьезной подготовки она работала в некоторых странах. Многие попадали в сети немецкой разведки, а с 1939 года она работала в гестапо и занималась подпольными организациями. Ванда и Янек — фольксдойчи. Состояли в гитлеровской юношеской организации, присланы из Львова.

— Ванда, где ты изучала бокс? — спросил Анищенко.

— В школе.

— В какой школе?..

— В разведывательной.

Вопрос был задан не случайно.

Лейтенант Борис Гиндин первый обратил внимание на то, что Ванда владеет боксом профессионально. Он хорошо разбирается в этом виде спорта, сам в военном училище занимался боксом. У Бориса появилось даже подозрение, что Ванда не та, за кого выдает себя. Но Анищенко не придавал этому значения, так же, как и я.

Теперь стало ясно, где она научилась стрелять, где она знакомилась с работой медсестры. И еще узнали на допросе, что она изучала радиodelo, умеет работать на наших радиостанциях

«Северок» и «Белка». Янек тоже радист, хороший стрелок и боксер.

Эльза слушала показания Ванды и Янека и жадно курила. Выпитый спирт слабо подействовал на ее нервы, только она стала более разговорчивой. На мой вопрос, кто же послал ее к нам и с какой целью, она улыбнулась.

— Кто послал? Сами должны знать... К кому? — Она со злостью взглянула и ткнула пальцем в сторону Ромека: — Вот к этой польской свинье. И к тебе, — направила палец на меня. Помолчала, вытерла платком вспотевший лоб, глядя на меня добавила: — Тоже разведчики. Подсадили мне старика полковника, что у вас молодых не нашлось... Сам бы мог поухаживать...

Она криво улыбнулась.

— Почему вас так интересовал пан Ромек?

— О, ему давно место на веревке. Он английский шпион... К нему должен прийти человек из Лондона от генерала Сикорского с важным поручением. Вот их и надо было схватить... Ромек — хитрая лиса. У него везде друзья... Вы не верьте ему.

Мы переглянулись с Максом. Дело в том, что первый раз при встрече с Ромеком Макс представился как посланец из Лондона от Сикорского.

— Это неплохо, что он английский разведчик, — заметил Анищенко. — Англия — наш союзник.

— Как вы рассчитывали схватить посланца из Лондона?

Эльза рассказала, что они с Янеком как жертвы гестапо должны были поселиться у Ромека, войти к нему в доверие. Затем Ванда должна была попасть к партизанам и сблизиться с командиром или начальником радиостанции. Узнать код, откуда поступают сведения о наших подпольщиках. Но оказалось, что мы внесли значительные изменения в их план: Эльзу с Янеком убрали от Ромека и перевезли к Михайловской.

Но и там они успели передать в гестапо о наших связях с Ромеком и выдать инженера Шевчука и группу польских подпольщиков. Все это успела сделать Ванда.

Однажды Макс взял ее с собой на встречу как девушку из-за Буга, которая много знает о борьбе польского народа с гитлеровскими оккупантами.

Макс тяжело переживал свою ошибку. Он не мог поверить, что Ванда заслана гестапо. Он спросил:

— Ванда, ты же говорила, что являешься польской патриоткой. Проклинала немцев. Мне, ясна холера, объяснялась в любви... Что ты скажешь?

Ванда опустила глаза, долго молчала.

— А что я могла другое говорить? Ты мне нравился. Ты

наивный... Вот Ромек отказался от моей любви... — Она закрыла лицо ладонями и зарыдала. — Ненавижу. Все вы скоты... свиньи...

Допрос продолжался. Эльза почти все время курила сигареты, а затем попросила махорки.

Василенко свернул ей самокрутку. Она закашлялась, но продолжала курить.

— Как же так, Эльза? Вы профессиональная разведчица, собрали против себя такие улики: дневники, альбом? — спросил Анищенко.

— Вы, советские, наивные люди... За эти дневники и альбом любая разведка обеспечит меня на всю жизнь!

— Выходит, вы не так уж и верили в победу фюрера?

— Я не занимаюсь политикой. Фюрер ли, английский ли королева или президент Рузвельт — для меня все равно. Могу и Сталину служить... Для нас, разведчиков, война не кончается и перемирий не бывает! Вы не расстреляете меня... Я вам пригожусь... Я много знаю... И дневники нужно расшифровать. А без меня это никто не сделает.

Ванда зло, неодобрительно глядела на Эльзу и тихо по-немецки прошептала:

— Свинья пьяная!

При дальнейшем допросе раскрывались новые «деяния» этой тройки агентов гестапо. Эльза по происхождению немка, но родилась и выросла среди поляков. По заданию гестапо она вела разведку в ряде стран, затем проникла в подпольные организации в Польше и во Львове.

Выяснилось и то, что эту «семью» подготовил и направил к нам тот же неуловимый Панасюк.

Ванда показала, что Панасюк — это псевдоним немецкого майора, он хорошо разговаривает по-украински и по-польски. Зовут его Робертом, брюнет, красивый, глаза черные, не старше 35 лет.

Василенко пытался выяснить у Ванды все, что только она знает и помнит о Панасюке, но не так много мы узнали. Ясно было одно, что этот гестаповец занимается нашими отрядами и, конечно, он заслал к нам не только эту «семью»...

Вскоре мы в этом убедились.



«СЛУЖАНКА»

В местечке Маневичи у одного немецкого военного чиновника появилась домашняя работница из «восточниц». Так мне доложил Борисюк.

Я поручил ему уточнить, что это за «восточница» и чем она может быть полезной партизанам, а по возможности самому с ней встретиться.

Через несколько дней Борисюк рассказал, что это наш человек, советский и может нам помочь в сборе сведений о работе железной дороги Ковель — Сарны и о ковельском гарнизоне. Там она часто ездит с хозяином и имеет знакомых среди немецких офицеров и чиновников. Фамилия ее Мазуренко, зовут Лида,

комсомолка, родом из Симферополя. Имеет среднее образование, владеет в совершенстве немецким языком.

Как очутилась Лида в этих местах, Борисюку было также известно. В 1942 году ее забрали на работу в Германию. По дороге она заболела, лежала в ковельской и люблинской больницах, а когда поправилась, работала домработницей у одного поляка в Люблине, а потом у немецкого офицера. Но он уехал на фронт, а ей помог устроиться у чиновника, у которого она работает сейчас. Борисюк сказал, что она давно искала связи с партизанами, но не знала, где их найти.

Из сказанного Борисюком ничего подозрительного в биографии Лиды не было. Гитлеровцы вывозили в Германию на работу много советских девушек, и где только они ни работали и каких оскорблений и унижений они ни переносили... Единственно, что могло вызвать сомнение, это то, что она давно искала связи с партизанами и не могла найти, хотя в этих местах партизан много. Стоило отойти от Маневичей, и встретишь партизан, в 5—8 километрах стояли наши заставы.

С Лидой установили связь, она давала неплохие сведения, мы были ее работой довольны. Зато саму Лиду сведения не совсем удовлетворяли. Она просила дополнительных заданий. Борисюк не продумал всех обстоятельств и предложил:

— А ты убей своего хозяина; он видный фашист.

— Согласна, только дайте наган.

— Ты лучше магнитку подсунь ему под кровать, это проще,— посоветовал Борисюк.

— Нет, дайте наган. Я стреляю хорошо, не промахнусь.

Я разрешил, Лиде передали наган. Но Лидиново хозяина срочно вызвали в Ровно, а ее куда-то перевели. Все произошло так неожиданно, что мы ничего не знали. И только позже об этом нам сообщила сама Лида — уже со станции Павурск. Она сожалела, что так получилось, но сказала, что в Павурске есть больше возможностей для работы. Кроме того, Лида писала, что встретила своего старого знакомого по Симферополю, который обещал помогать в работе. Просила разрешения убить шефа охранной команды. Мы разрешили. Но тоже получилось не совсем складно. Этого шефа отозвали, а вместо него прибыл новый. Лида его застрелила, со своим знакомым прибыла к нам, и я мог с ними лично познакомиться.

Лида была выше среднего роста, стройная, с резкими чертами лица, с вздернутым небольшим носом, усеянным веснушками, но они не были лишними и делали лицо еще более привлекательным. На правой щеке черная родинка посажена как по заказу. Светло-голубые глаза как-то особенно светились. Темно-

каштановые волосы были аккуратно завиты, Лида все время поправляла их рукой. Одета она была по-западному, «шикарно», как говорил Василенко. Голубая блузочка, синий костюм, юбка короткая, узкая, шелковые чулки и лаковые туфли. Таких нарядных в наших лесах не было, поэтому все смотрели на Лиду с интересом.

Рассказывая свою двадцатилетнюю жизнь, Лида употребляла и неприличные слова и вообще вела себя развязно. Пришлось сделать ей замечание.

Она заплакала.

— Вы не можете себе представить, как надо мной издевались! Что они из меня сделали? Кто я теперь такая? Я никогда не прощу, я должна отомстить им за все страдания и оскорбления.

Жаль было смотреть на эту красивую девушку, так изломанную немецкими захватчиками.

О себе Лида рассказала почти полностью все то, что мы уже знали. Немецкий язык она знает хорошо, потому, как сама пояснила, что в школе изучала, готовилась поступать в институт иностранных языков. А работа у немцев закрепила эти знания. Она даже умеет печатать на машинке. Она показала нам советский паспорт, выданный в Симферополе на имя Мазуренко Лидии Александровны и два листочка комсомольского билета, которые были зашиты в воротнике коричневого пальто.

Из ее рассказов мы узнали, что в Симферополе живет ее мать и отчим — врач. Родного отца мать бросила. Лида сказала, что отчим — замечательный человек и что она любит его больше родного отца.

Под конец беседы она спросила:

— Как вы думаете меня использовать?

— Пока отдыхайте, знакомьтесь с нашей жизнью, а там видно будет.

Когда мы остались вдвоем с Василенко, я спросил:

— Ну, как вам нравится эта дивчина?

— Да, загадочная, как говорят, твердый орешек, скорлупу вижу, а до ядрышка трудно добраться.

— А вы всё же попробуйте и займитесь, она нужна — знает немецкий язык, умеет печатать на машинке, кроме того, она мастерица петь, танцевать, хорошенькая. Все это может пригодиться...

Лида жила в женской землянке, при штабе бригады. Держала себя с нашими женщинами высокомерно. Вскоре она всерьез подружилась с политруком Ивановым.

— Ты, Лида, не особенно влюбляйся в политрука. Ведь он женат, — подшучивали партизаны.

Политрук Иванов, интересный блондин с большой шевелюрой, был умелым ухажером. Он знал много стихов и даже сам сочинял их, декламировал много и красиво. О нем партизаны говорили:

— Политрук Иванов принадлежит к тем, которых хлебом не корми, только дай ему поговорить, хотя сам он не любит слушать других.

К нам Иванов попал в начале 1943 года. О себе рассказал, что до войны и в начале войны работал в одном крупном политоргана лектором и попал в окружение вместе с той войсковой частью, куда прибыл читать лекции. Долго скрывался, чтобы не попасть в плен. Случайно встретился с нашими разведчиками и в категорической форме заявил:

— Хоть убейте, но я от вас не отстану, забирайте в отряд. Воевать хочу!

Так он стал партизаном. Ходил на боевые задания, взрывал поезда, писал стихи, делал доклады на любую тему, но особенно хорошо у него получались военно-политические обзоры и доклады о международном положении. Партизаны любили его слушать, он не только красиво и увлекательно говорил, но и умел нарисовать такую картину этих событий, что, казалось, вот-вот будет конец гитлеровской Германии. В каждой лекции он сетовал на то, что привык к картам, а без них очень трудно рассказывать о делах на фронтах.

Партизаны достали для него политическую карту мира и школьный глобус, сделали специальную указку, а в отряде Анищенко для лекций Иванова даже место оборудовали между двумя соснами, прибили рамку, для того чтобы удобно было повесить карту, а вместо скамеек подкатали несколько бревен. И так Иванов стал у нас освобожденным лектором и ходил, ездил из отряда в отряд с указкой и картой под мышкой.

Приходилось ему выступать и перед крестьянами партизанского района.

И вот он сдружился с Лидой.

Василенко, видя такую дружбу между Ивановым и Лидой, поручил ему внимательно присмотреться к девушке, узнать, что она за человек.

Однако Иванов в категорической форме отказался от этого.

— Нет, нет, я больше с Лидой не встречаюсь. Я человек женатый, к тому же, кто знает, что она за человек, когда-то шаталась среди немецких офицеров, возможно, она шпионка — враг народа, а я был с ней связан, не желаю я себя пачкать, и ты меня на это дело не толкай и не уговаривай... бери и сам за ней ухаживай. С меня хватит.

Иванов после этого разговора перестал ухаживать за Лидой, а стихи, которые ей писал, сжег.

Василенко о своем разговоре с Ивановым рассказал мне и исполняющему обязанности начальника штаба бригады майору Целлермееру. Тот посмеялся и успокоил Василенко: «Я сам займусь Лидой».

После этого ее взяли машинисткой в штаб бригады. Печата-ла она хорошо, кроме того, помогала майору Целлермееру пе-реводить немецкие документы.

После того как от Лиды отшатнулся Иванов, она посерьез-иела и держала себя построже. Казалось, что она стала еще гор-деливей, перестала обращать внимание даже на наших красав-цев. Но зато старалась быть поближе к майору Целлермееру, и, как правило, разговаривала с ним по-немецки. Никто из нас на это не обращал внимания. Все также считали, что, конечно, никакой любви не могло быть между ними, слишком велика разница в годах.

Как-то Василенко пошутил:

— Ты что, Лида, хочешь доказать майору, что любви все возрасты покорны?

Но шутка обратилась против самого Василенко.

— Ну что за ерунда, просто майор интересный собеседник. А вот в тебя, наверно, влюбилась бы, — ответила Лида. — Боюсь, майор ревновать будет, да я и не люблю военных...

Парня, который вместе с Лидой пришел к партизанам, Васи-лия Якобенко, зачислили в отряд Анищенко. О себе он расска-зал, что родом он из Симферополя, работал шофером в торговой сети. В 1939 году был призван в Красную Армию, воевал на Финском и Ленинградском фронтах. Ранен, попал в плен. Летом 1942 года бежал из плена. Хотел добраться домой. Возле местеч-ка Полоное его поймала полиция и направила в Шепетовский лагерь. В январе 1943 года ему предложили вступить в «казацьи части» власовцев. Он согласился, намереваясь получить оружие и при первой возможности уйти в партизаны. Когда их часть прибыла в Павурск для охраны железной дороги и других объ-ектов, он встретился с Лидой, и она сказала ему, что имеет связь с партизанами. Затем он вместе с Лидой собирал сведения для партизан и помог ей убить немецкого офицера.

Правильность сказанного Якобенко мы не могли проверить. И, как всегда в таких случаях, считали, что самая лучшая про-верка в наших условиях — это борьба с гитлеровскими захват-чиками.

Якобенко добросовестно выполнял задания, при этом проявил себя смелым, находчивым и инициативным бойцом. Этим он за-

воевал к себе уважение партизан. Нрава был веселого; любил петь, играть на гармошке и рассказчик был неплохой.

Теперь они с Лидой встречались редко, партизаны даже посмеивались над ним.

— Что, изменила Лида? Отбил Иванов?

— На мой век девок хватит, — отвечал Якобенко.

Василенко мне говорил, что Лида частенько высказывала недовольство нашей партизанской жизнью.

— А мы сами довольны? Тоже нет. Мы вынуждены жить в таких условиях, потому что война.

Лида жила до этого у немецких офицеров, чиновников, и они себя, как известно, ни в чем не стесняли. Хотя она была и работница, но жила не так, как в лесу.

— Ничего, привыкнет! — успокоил я Василенко.

Лиду мы готовили для работы в немецких учреждениях. Нужно было подобрать место, где лучше и целесообразнее ее устроить.

Мы думали послать ее за Буг или в Коростень, Шепетовку. Требовались соответствующие документы. Надо было продумать легенду. Кроме того, необходима подготовка самой Лиды. Мои заместители посвящали ее в тайны нашей работы. Лида оказалась способной ученицей и быстро овладевала этими «науками».

■ ■ ■

«Семья» была разоблачена, но в гестапо продолжали поступать сведения о наших отрядах, подписанные знакомым псевдонимом «агент 12-33». Об этом передавали нам подпольщики, которые работали у немцев. А один из них под псевдонимом «Борнс» сообщил: «Такую подробнейшую информацию о партизанах не может передавать человек со стороны, а тот, кто находится близко к командованию или штабу».

Агент 12-33 находится среди нас. Но кто? Этот вопрос мучил нас, от него можно заболеть подозрительностью, и тогда на каждом углу, в каждом человеке будет мерещиться предатель. И эту подозрительность может использовать враг, чтобы оклеветать честных, преданных нам людей и отвести удар от настоящего предателя.

Кое-кто из моих помощников уже начал страдать подозрительностью: Анищенко высказал недоверие Ромеку, мотивируя свое мнение тем, что тот помещик, у него много друзей среди немцев и есть связи с местным руководством польских националистов,

— Я не верю этим временным союзникам, — решительно заявил Анищенко.

Ему возражали, приводили убедительные доводы, что Ромек много сделал для нас в борьбе с немецкими оккупантами. И кроме того, сведения, которые поступили в гестапо, ему были неизвестны.

При разговорах присутствовал Василенко. Он молчал, был спокоен, задумчив.

— Ну, а как вы смотрите на это дело? — спросил я.

— Я думаю... — Он промолчал и опять произнес: — Я думаю...

— Да что вы только думаете? Говорить надо, о чем думаете, — потребовал Анищенко.

— Я думаю... — Он взглянул на меня. — Я потом расскажу вам, дядя Петя.

Когда мы остались вдвоем, Василенко сказал:

— Сведения, которые попали в гестапо, находились у начальника штаба Целлермеера. И, кстати, на него есть заявление.

Василенко протянул мне это заявление. В нем говорилось, что майор Целлермеер, находясь в лагере для военнопленных во Владимире-Волынском, командовал батальоном военнопленных, грубо с ними обращался, даже были случаи рукоприкладства, выслуживался перед немцами. Он сам немец, возможно, что его заслало в наши отряды гестапо.

Обвинение серьезное. Недавно мне говорили партизаны, которые бежали из Владимиро-Волынского лагеря, что они не доверяют Целлермееру, потому что он предатель. Требовали наказать его со всей строгостью военного времени.

Целлермеер не скрывал того, что командовал батальоном, что был груб, что «выслуживался» перед немцами. Но все это делалось по заданию подпольной организации, для того чтобы войти в доверие к лагерному начальству. Он предохранял подпольную организацию от провокаторов. Многим помог бежать из лагеря, в том числе тем, кто на него жаловался. Это подтвердили бывшие узники Владимиро-Волынского лагеря: полковник Григорьев, майор Тимошенко и старший политрук Киселев.

Но сведения, переданные в гестапо, говорили не в пользу Целлермеера.

Василенко рассказал мне о своем разговоре с машинисткой Лидой Мазуренко. Василенко спросил Лиду:

— Как, по-твоему, могли эти сведения попасть к немцам?

— Откуда мне знать? Вы бы лучше спросили об этом майора, — ответила она.

Да. Было над чем задуматься!

Майор Целлермеер — немец шведского происхождения. Ро-

дился и вырос в России. Коммунист, в Красной Армии с 1918 года, участник гражданской войны. В армии занимал разные ответственные должности. Перед Великой Отечественной служил в одном из военных училищ в Ленинграде. В плен попал раненым, состоял в подпольной организации лагеря. Помог многим бежать из плена, в том числе группе полковника Григорьева, у нас начинал свою службу с рядового подрывника-разведчика.

Несмотря на то что столько было доводов против Целлермее-ра, я никак не мог поверить, что он агент гестапо 12-33.

■ ■ ■

Ковельские подпольщики не дремали. Знакомая железнодорожника Бориса работала машинисткой в учреждении, тесно связанном с гестапо. Политикой она не занималась, но многое, что она видела в этом учреждении, что ей, незаметной канцеляристке, приходилось переписывать или подшивать, глубоко волновало ее. Станные, а подчас и страшные бумажки, проходившие через ее руки, решали и ломали судьбы и души людей. Жалобы, обвинения, доносы. Что нужно этим жалобщикам и доносчикам? Погубить соседа, свести счеты со своим бывшим начальством, выдать скрывающегося советского офицера или просто выслужиться перед теперешними хозяевами, заслужить их расположение ценой предательства? Можно ли это терпеть?! Иногда терпения у девушки действительно не хватало — нужно было поделиться с кем-то своим смятением. И тогда, не зная еще о подпольной работе Бориса, она говорила с ним просто как с другом, как с надежным и близким человеком.

В таком же смятении рассказала она как-то и о донесениях специального гестаповского агента. Случайно она прочитала — этого не полагалось делать — донесения из наших отрядов одно за другим. Она знала о партизанах, но не знала того, что кто-то из них из лесного лагеря за Стоходом-рекой пишет в гестапо.

Борис понял, что речь идет о наших отрядах, и расспросил свою знакомую подробно. Да, это можно было написать только из лагеря. Писались донесения одной и той же рукой, подпись под ними была одна и та же — агент 12-33, и адрес один и тот же — Панасюку.

Борис немедленно сообщил обо всем этом нам. Василенко, бросив все дела, помчался под Ковель, чтобы достать хоть одно из этих донесений, посмотреть на него, увидеть собственными глазами почерк шпиона.

Не вышло. Самому Борису с большими трудностями удалось прочесть два донесения, но взять их с собой он не мог. Его знако-

мая, которую уже втянули в работу подпольной группы, обещала сфотографировать их, но не смогла этого сделать: ее неожиданно отправили в Германию. Это было тяжелым ударом для Бориса да и для нас тоже: путь к донесениям агента 12-33 был отрезан. Правда, перед отъездом девушка успела показать Борису немецкого майора, на имя которого поступали донесения, пресловутого Панасюка. Вот он! Наконец-то! Нельзя, упускать его из виду! Борис установил наблюдение, нащупывал новые связи. Но тут на него обрушился новый удар: из верных источников ему сообщили, что уже подписан ордер на его арест. Пришлось бежать из Ковеля, поручив дела другому.

Удар за ударом! Поневоле подумаешь, что кто-то, находящийся среди нас, следит за нами и направляет эти удары. Борис говорил, что его арест — чистая случайность. Однажды ночью одна из его разведчиц, преследуемая патрулем, отстреливалась и была убита. Труп опознали, стали разыскивать знакомых убитой, среди них оказался и Борис.

Такое объяснение не удовлетворило нашего «начальника бдительности».

— Я думаю, что всякая случайность имеет причины, и не все причины мы знаем. И не слишком ли много случайностей? Машинистку, которая читала донесения, тоже случайно увезли в Германию? Не верю. Смотрите глубже.

Рассуждения резонные, но нам от них было не легче — все те же подозрения, а ключа к разгадке нет.

Несколько дней Борис жил на центральной базе. Мы еще не решили, куда его направить, как он будет руководить своей группой. А он томился от этой неопределенности и бездействия.

Зашел он как-то в штабную землянку. Целлермеер сосредоточенно читал какие-то бумаги, делая пометки на полях, а Василенко диктовал Лиде:

— Всем командирам отрядов. Приказ номер... какой у нас там номер, товарищ майор?

Борис прошелся по землянке взад и вперед и остановился за плечами девушки, следя за бегущим по строчкам карандашом.

— Где это вы научились так быстро писать?

— Я? — Лида вскинула и сразу же опустила глаза. — В школе. На уроках.

— Ты подожди, Борис, сейчас мы кончаем.

— Я-то жду, а Панасюк не ждет, — зло ответил Борис.

— Не мешай.

Закончили.

— После обеда перепечатайте, а теперь можете быть свободны, — сказал Лиде Василенко.

Лиды вышла. И тогда Бориса словно прорвало:

— Товарищ старший лейтенант, этой самой рукой! Товарищ майор! Я не я, если это не двенадцать — тридцать три!.. Буквы какие острые, как раз такие! И вот «р»... Я эти донесения читал, они у меня перед глазами.

— Точно? Не путаешь?

Волнение Бориса передалось и Василенко и Целлермееру.

— Дежурный! Разыщите Лиду Мазуренко. И скорее сюда.

В женской землянке дежурному ответили:

— Заходила.

— А куда пошла?

— Мы с ней не разговариваем.

— Вот бабьи дразги!

Дежурный все обегал, всех расспросил, но нигде ее не было. Куда она девалась — неизвестно. И хотя часовые не заметили, чтобы она проходила мимо, в лагере ее не оказалось.

— Упустили! — Обычно уравновешенный, Василенко был вне себя. — Мобилизуйте всех, кто есть в лагере, и на розыски. Сообщите на все заставы.

По всем тропкам, по всем дорогам партизанского леса пошли вооруженные люди.

■ ■ ■

Василий Бутко, начальник нашей заставы в Верхове (это в тринадцати километрах от центральной базы), ничего не знал. И занят он был мирным делом — сопровождал с небольшой группой партизан несколько возов муки с мельницы на центральную базу. Скрипели подводы, мягко стучали копыта по пыльной дороге.

Далеко впереди замаячила женская фигурка, по костюму, единственному в наших лесах, сразу узнали Мазуренко.

— Ведь это Лиды! Куда ее несет?

Увидев, что за подводами идут вооруженные люди, девушка свернула в лес.

— Лиды! Э-э! Лиды!

Лиды, не отвечая, скрылась среди кустов.

Может быть, Бутко и раньше знал о наших подозрениях, а может быть, только сейчас, по поведению Лиды, догадался, что дело неладно. Во всяком случае, он принял правильное решение.

— Задержать ее, хлопцы!

И хлопцы бросились в погоню.

— Лиды! Своих не узнаешь! Лиды! Вот скаженная девка! Вероятно, она легка была на ногу, но в лаковых модных ту-

фельках далеко не убежишь. А босиком по лесным колючкам — еще хуже. Лида скоро поняла это, и тогда заговорил тот самый наган, который мы передали ей через Борисюка.

Хлопок выстрела и пение пули — привычная музыка для партизан. После выстрела не надо никаких объяснений.

— А-а, ты вот какая! Ну, уж теперь мы тебя не упустим!

Отсчитали семь выстрелов, осторожно перебежали между кустами и не дали беглянке перезарядить наган.

— Хватит! Отдай пушку!

Вывели на дорогу, и Лида, принявшая прежний высокомерный и независимый вид, категорически отказалась отвечать на все вопросы начальника заставы.

— Ну, как хочешь. Поедешь с нами.

Поздно вечером Бутко вместе с конвоиром привели Лиду в штабную землянку.

— Вот, задержал. Отстреливалась. Вы ее не искали?

— Искали.

В трудные годы войны на оккупированной земле немало довелось мне встречать разоблаченных предателей и шпионов. Одни из них признавали свою вину, каялись, проливая крокодиловы слезы, клялись исправиться. Другие, наоборот, не считали себя преступниками, не хотели и не могли осознать этого. В своих черных делах они видели или работу — не хуже других работ, или даже подвиг. Мне они казались людьми иного мира, иного понимания жизни, иной морали. Таких преступников воспитывал фашизм.

Мазуренко (я не помню сейчас ее настоящего имени) действительно родилась в советском Крыму, но, очевидно, семья ее — семья немцев-колонистов — не в ладу была с Советской властью и, может быть, даже имела тайные связи с фашистской Германией. Как только гитлеровцы заняли Симферополь, Лидия пошла на службу в гестапо и, конечно, не по принуждению! Работала она в Люблине, в Ковеле, но не в качестве прислуги. И когда подосланная к нам Панасюком «семья» провалилась, Лидия заменила ее.

Не случайно ее хозяин, которого Борисюк предложил ей убить, был переведен. Не случайно шефа павурской охраны, на которого она должна была совершить покушение, заменили другим офицером-австрийцем и, вероятно, штрафником. Им пожертвовали, чтобы шпионка могла завоевать наше доверие. А сведения, которые она нам доставляла, подготавливались в гестапо. Они и в самом деле были правдоподобны — гестаповцы знали, что мы пользуемся не одним только этим источником.

Вот она, шпионская техника!

И Лида, вероятно, гордилась своей работой. Отвечая на наши вопросы, она высоко вскидывала голову, и сумасшедшие искорки прыгали в ее глазах.

Якобенко держался проще. Но это был уже не Якобенко, он сбросил маску развеселого рубахи-парня, весь как-то подобрался, помрачнел, отвечал неторопливо и односложно. И только теперь мы заметили недобрый огонек в его глазах, не верилось, что и раньше он глядел на нас этими же глазами. Он был крымский татарин по национальности, тоже работал агентом симферопольского гестапо, помогал вылавливать советских патриотов. А потом служил в военной части, сформированной фашистами из крымских татар.

В симферопольском гестапо работал в 1941 году и Панасюк. Там Лида узнала его под именем Роберт. Да, он немец, но родился в Поволжье и всю жизнь провел в России. Многие считали его украинцем — так чисто говорил он по-украински. Поэтому, очевидно, переброшенный на Украину, он и стал Панасюком. Здесь летом 1942 года Лида встретила его во второй раз, и он, помня симферопольскую работу, послал ее на смену провалившейся «семье».

Вот и все. Шпионы разоблачены и получили по заслугам. И «неустановленная личность» Панасюка наконец-то установлена. Но Василенко все же недоволен. Он не может дотянуться до этой «личности», не может контролировать действия злейшего нашего врага и отражать его удары. Да и в деле Мазуренко он чувствует себя виноватым. Подозревал и недосмотрел. И чуть было не упустил.

Вспомнив старый разговор, я сказал ему:

— Орешек-то и в самом деле оказался не по зубам. Нельзя было успокаиваться после разговоров с Ивановым и Целлермее-ром. Надо было самому действовать — на то вы и «начальник бдители ности».



КЛЯТВА ДИМЫ

В начале войны мы, руководители Гурецкого партизанского отряда, собрались в урочище Береселище на берегу Лукомльского озера, чтобы окончательно решить, что же нам дальше делать, — оставаться в тылу или идти к линии фронта?

Одни считали, что, пока тепло, надо пробираться к фронту и влиться в действующую армию. Другие были против: фронт откатился от нас за сотни километров, зачем терять время и нести неоправданные жертвы?..

Окончательно решили оставаться в тылу врага. Нужно было установить связь с уполномоченным ЦК КП Белоруссии по Витебской области, находившимся, по нашим сведениям, в Сеннин-

ском районе. Отправиться на его поиски поручили мне. Вместе со мной шли полковник Кучеренко и лейтенант Лазинкин.

На следующий день, только солнце стало подниматься из-за Лукомльских высот, мы уже стояли на берегу озера. Вскоре появились партизаны Михаил Александров и Василий Гавриков с лодкой. Они переправили нас на восточный берег к деревне Перковщина. Весь день мы прятались в прибрежных зарослях: по дороге Лукомль — Череея двигались колонны немцев. Пришлось ждать ночи.

Через неделю добрался я до деревни Курейша. Попутчики мои остались под Оршей. В Курейше я и встретился с уполномоченным ЦК, с которым договорились по всем вопросам нашей борьбы в тылу врага.

Уполномоченный ЦК сообщил мне, что севернее Орши ночью с 17 на 18 сентября был выброшен советский десантный отряд. Есть сведения, что этот отряд направился в сторону Лепеля в Березинские леса. Уполномоченный рекомендовал мне без промедления возвращаться в отряд и искать связи с десантниками.

В тот же день я покинул Курейшу. В селе Алексеничи я зашел к знакомому колхозному бригадиру. По его словам, недавно у них в колхозном сарае ночевали десантники, около сорока человек; командир у них Корниенко, мужчина средних лет, черно-ватый, с рыжими усами, он еще спрашивал бригадира, как лучше добраться до озера Палик (это озеро между Лепелем и Борисовом). Значит, я шел по их следу. Но догнать их мне не удалось. Вернувшись в отряд, я узнаю, что чашникская полиция поймала трех десантников, и среди них была девушка-радистка. Всех их полицейские расстреляли.

Наш связной комсомолец Виктор Ставпенюк из деревни Амосовки сообщил, что таранковская полиция и переодетые немцы тоже вели бой с группой десантников возле Амосовки. Пятеро из этой группы были убиты, остальные ушли в Ковалевичский лес. Значит, оставшиеся находятся недалеко от Лукомльского озера. На их поиски мы выделили партизан, которые и разведали, что в лесу возле деревни Московская Гора Чашникского района находится партизанский отряд. Послали туда связного. На второй день начальник штаба этого отряда капитан Михаил Петрович Архипов прибыл к нам. От него мы узнали, что они и есть часть десанта, выброшенного ночью 17 сентября севернее Орши и называвшегося Первый Белорусский разведывательный отряд. Командир его Григорий Матвеевич Линьков, носивший кличку Батя, пропал без вести. Отрядом командует комиссар Дмитрий Корниенко (кличка Давида Ильича Кеймаха).

Мы решили присоединиться к этому отряду. На второй день нам передали, что Батя нашелся и увел отряд в Ковалевичские леса. Туда мы и направились на соединение с ним.

Вот тогда, в октябре 1941 года, я познакомился с Давидом Ильичом. Он и в самом деле был таким, как мне рассказывал о нем колхозный бригадир: черноватая шевелюра, рыжие усы, черные глаза. В его словах, жестах выражались спокойствие, рассудительность, собранность и сила воли.

Мы как-то сразу сдружились, говорили о наших неудачах на фронтах, о развертывании народной борьбы в тылу врага, говорили о себе, о своих семьях, о своей жизни до войны.

Давид Ильич рассказал, что он родился 7 ноября 1906 года в Одессе, там прошло его детство и юность. В 1924 году стал комсомольцем, был пионервожатым. В 18 лет окончил семилетнюю школу, стал учеником повара. Заведующий столовой прочитал его документы и узнал, что Давид родился в день Октябрьской революции.

— Вот мы тебя и будем звать Октябрем. Отличное имя.

Так и стали все в столовой называть его. А когда выдали ему комсомольский билет, записали: «Кеймах Давид-Октябрь Ильич».

Давид зарекомендовал себя отличным работником. Он был из тех комсомольцев двадцатых годов, у которых активность, задор, энергия бурлили, которым больше хотелось узнать, лучше сделать, везде быть впереди, в каждое дело вкладывать душу.

Давид Кеймах учится на вечернем рабфаке, участвует в общественной жизни, является членом правления Одесского окружного профсоюза работников нарпита. Затем его выбирают депутатом Одесского городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов.

В 1929 году он становится членом Коммунистической партии, поступает в Московский электромашиностроительный институт. Там его избирают секретарем парторганизации института.

В 1932 году, после окончания института, его зачисляют в аспирантуру.

Он учится и работает ассистентом в том же институте, позднее преподает электротехнику шахтерам Метростроя, затем становится заместителем директора института повышения квалификации инженерно-технических работников электромашиностроительного института.

По состоянию здоровья — он заболел туберкулезом — уходит с преподавательской работы, становится старшим инженером научно-исследовательского института. В институте избирается заместителем секретаря парторганизации.

Когда радио сообщило о вероломном нападении немцев на Советский Союз, Давид Ильич сразу направился в военкомат. Из-за плохого здоровья его не взяли в армию, посоветовали продолжать работать в научно-исследовательском институте, прислали на него броню.

Он подал новое заявление с просьбой отправить его в действующую армию и снова получил отказ.

Как-то, возвращаясь с работы Давид Ильич встретил Григория Матвеевича Линькова, с которым работал в одном отделе. Оба инженеры-электрики, они хорошо знали друг друга. Линьков был секретарем парторганизации, Кеймах его заместителем. В первые месяцы войны Григорий Матвеевич ушел из отдела, говорили, что он готовится к выполнению какого-то важного задания...

Линьков доверительно сообщил другу, что начал формировать партизанский отряд, но еще нет комиссара.

— Возьми меня, — попросился Давид Ильич.

— Пиши заявление!

Вскоре его назначили комиссаром отряда. Фамилию себе он взял Корниенко. Я еще тогда спросил его, почему Корниенко? Может, это фамилия его жены? Я знал партизан, которые брали фамилии своих жен. Но Давид Ильич объяснил, что Корниенко — это фамилия его друга, старого коммуниста.

— Что касается моей жены, — улыбнулся Давид, — то ее фамилия не грозная, не партизанская, а скорее божественная: Богоявленская. Для партизанского комиссара не подходит...

Однажды я спросил Давида Ильича, почему отряд был выброшен в тыл врага так неудачно?

— Да получилось так, что разведчики выбросились без разведки, — ответил он. — Нет еще опыта. Не знали, как лучше сделать. Я человек гражданский, Григорий Матвеевич, хоть и партизан гражданской войны, тоже не учел, что времена другие. Между прочим, на аэродроме авиаторы убеждали нас, что рискованно лететь сразу всему отряду на восьми самолетах. Надо раньше выбросить группу с радиостанцией в район Домжерицкого озера. Разведчики там подберут место, где лучше всего выбросить отряд, сообщат сигналы и будут встречать. Григорий Матвеевич категорически отказался от этого совета, а я поддержал его. Нам не хотелось терять время. Потребовали, чтобы отряд выбросили сразу. В результате отряд разбросали от Орши до Березины, часть десантников погибла, в том числе радисты. Удалось собрать только половину отряда, а груз — 21 мешок — полностью пропал. Командир оторвался от отряда и больше месяца блуждал один.

Кеймах тяжело переживал неудачу с выброской, не раз жаловался мне, что ему, с его гражданскими привычками, трудно быть комиссаром. Но мы видели, как он быстро осваивал свое дело. Ему помогло то, что он любил людей, говорил с ними просто. Слова у него не расходились с делами. Партизаны верили комиссару, открывали ему душу.

Однажды молодой боец рассказал ему, что его мучит совесть: смалодушничал в бою, сдался в плен, согласился поступить в шуцмановский батальон, который создавали немцы из западных украинцев. Но однажды, будучи в лесу на заготовке дров, убил фашиста и вместе с другом пришел в отряд.

Партизаны полюбили своего комиссара за смелость в бою, за несокрушимую веру в нашу победу, за заботу о людях. Они с большим интересом слушали его горячие речи. Любили его за выдержку, рассудительность и принципиальность. Давид Ильич умел охлаждать не в меру горячие головы, которые считали, что «война все спишет», а раз мы находимся в тылу врага, необязательно блюсти социалистическую законность, не нужно тратить время на разъяснительную работу среди населения.

Как-то в Ковалевичском лесу девятнадцатилетний лейтенант Саша Перевышко никак не хотел согласиться с тем, что комиссар осудил действия старшины Павла Куликова, который самолично расправился с теми, кто пошел на службу к оккупантам.

— Всех их, предателей, надо подчистую уничтожать, — доказывал Саша Перевышко.

— Нельзя так, без разбора, не изучив человека, — не торопись с выводами...

— Какие там выводы могут быть к таронковскому бургомистру Василенко? Предатель и все. Братья сражаются на фронте против немцев, а он у них служит. Василенко повинен в гибели пяти десантников.

— Все равно надо выяснить причины, что его заставило идти на службу к оккупантам. А может, удастся его поправить, и он будет работать на нас. Не забывайте, что мы, разведчики, все должны взвесить.

Саша вынужден был согласиться, что действительно Павел Куликов допустил ошибку.

Вскоре мы оставили Ковалевичский лес и перешли в леса Белорусского государственного заповедника на реке Березине. Рассчитывали здесь временно обосноваться, а главное, связаться с Большой землей. Верили, что Москва все же будет искать нас в районе Домжерицкого озера. Григорий Матвеевич назначил группу партизан для дежурства около озера. Здесь они каждую ночь жгли костры.

Штаб наш расположился в центре заповедника в селе Нешково. Командир занимался размещением штаба, хозкоманды, а мы с Давидом Ильичом организовывали боевое обеспечение: выслали разведку, расставляли полевые караулы по всем дорогам и тропинкам, ведущим в Нешково, но особо укрепляли дорогу, идущую из Лепеля. Партизаны рыли здесь окопы, создавая линию обороны.

Я с адъютантом Сашей Волковым подошел к группе работающих и увидел Давида Ильича, который в одной гимнастерке орудовал лопатой. День был ветреный, холодный, шел дождь со снегом.

— Оденьтесь, товарищ комиссар! Простудитесь, — сказал Саша Волков и подал Давиду Ильичу десантку. Тот отказался, но вдруг согнулся, закашлялся, лицо его побагровело, изо рта пошла кровь. Волков набросил на Давида Ильича пальто. Мы посадили комиссара возле костра. Он долго молчал, закрыв глаза, как бы стесняясь того, что произошло. А потом мне сказал: «Легкие у меня не в порядке, и жена Галя говорила, что мне будет трудно, шерстяное белье дала, но пришлось выбросить: «вредители» завелись...»

— Зря выбросили. Надо было бросить на муравейник, и ни одного вредителя муравьи не оставили бы, — сказал я.

Давид Ильич улыбнулся, развел руками:

— Надеюсь, пока фашистов выгоним, много всяких мудростей наберемся.

■ ■ ■

На шоссе Бегомель — Лепель мы подбили немецкую машину. В ней оказалось много всякого награбленного имущества: занавески, скатерти, женское и детское белье, подсвечники, золотые ложечки, рюмки и среди них — большая нарядная кукла. Давид Ильич взял ее в руки осторожно, как молодой отец впервые берет первого своего ребенка. Кукла открывала и закрывала глаза и по-детски пищала.

К машине подошел Батя.

— Посмотрите, Григорий Матвеевич, какое чудо, — сказал Давид.

— Нашли чем развлекаться! — разозлился Батя и швырнул куклу на грязную осеннюю дорогу. — Поджигайте машину.

Давид Ильич вздрогнул, притих, потускнел. А я под шумок подобрал, отряхнул и припрятал куклу.

На обратном пути он долго молчал, а потом словно через силу выдавил:

— Как это глупо получилось. Словно маленький. Но эта кукла, понимаете, будто домой меня вернула. Теплоту почувствовал... Надо же так по-детски! А ведь я комиссар... Да я и тебе, должно быть, настроение испортил.

Я рассердился.

— Чего ты расстраиваешься? Ничего плохого ты не сделал. А он все вздыхал и каялся.

На привале к нам подошел Батя.

— Ты меня извини, Давид, это я сгоряча... А жаль, что куклу бросили.

Тут я вытащил припрятанную куклу.

— Вот она, Григорий Матвеевич.

Батя обрадовался, что игрушка уцелела, вертел ее и так и эдак, а она моргала голубыми глазами и пищала. Партизаны сгрудились вокруг.

— Ишь ты — как живая!

Улыбались бесхитростно. Каждому хотелось потрогать ее, поддержать в руках, чтобы она закрыла и вновь открыла глаза, чтобы запищала капризным своим голоском. И, должно быть, каждому вспомнился мирный свой дом, вспомнились не обиженные войной дети, и у каждого потеплело на душе.

— Ладно, — сказал наконец Батя, — поиграли и хватит. Становись!

А куклу он снова передал Давиду Ильичу.

— Возьми, Давид, и береги, как свой талисман. Видел, как бойцы на руках ее качали. Это даже полезно. Поглядишь на нее — словно прежнее мирное время вспомнишь и злее станешь.

«Злее станешь». Все мы видели, какую непрощающую ненависть породили в душе мирного советского человека фашистские злодеяния. Не она ли давала силы партизанам? И у Давида Ильича — мягкого и спокойного по натуре человека — эта неумирающая ненависть стала неотъемлемой чертой характера.

■ ■ ■

В октябре мы провели ряд удачных операций, в том числе подбили более десятка машин, на большаке Борисов—Лепель взорвали мост через реку Эссу, около деревни Гадзивля. Полностью вывели из строя телеграфно-телефонную линию. В деревне Вилевщина окружили карателей — шестнадцать гитлеровцев было убито.

Наша активность принесла много тревог и беспокойства фашистам. Поэтому они с начала ноября повели против отрядов Бати крупную карательную экспедицию. Наше сопротивление

было недолгим. Пришлось оставить нешковские «укрепления» и уходить в глубь Березинских болот. Гитлеровцы закрыли все выходы, рассчитывая на то, что мы там погибнем с голоду.

Положение наше было тяжелым. Мы отступили в эти болота без продовольствия. Было холодно, сыпал снежок, под ногами потрескивал еще непрочный лед, и мы проваливались в вязкую жижу болота по колено, а иногда и по яояс... Мокрая одежда партизан замерзала, коробилась, хрустела на каждом шагу.

Ночью мы, иззябшие, голодные, выбрались на случайный лесной островок. Люди буквально падали от усталости. Устроили привал. Зажгли костры, сушились, отдыхали. Давид Ильич устал больше других, но он ходил от костра к костру, проверял, как партизаны приводят себя в порядок. Потом собрал коммунистов. Напомнил им, как они должны вести себя в создавшейся обстановке. И только после этого подошел к костру и начал сушиться. Мы боялись за него. Старшина Виктор Сураев дал ему теплое белье, и мы заставили комиссара переодеться.

С раннего утра немцы начали обстрел леса. В стороне от нашего островка рвались снаряды, мины, трещали пулеметы. День был исключительно тяжелый, шел дождь со снегом. Голодные, сидели мы возле костров, ждали возвращения разведки. У нашего костра разгорелась перепалка между Сашей Перевышко и Виктором Сураевым. Саша говорил, что больше всего любил из маминых приготовлений шашлык и картофельное пюре с соусом. Обещал как-нибудь приготовить соус для партизан, тогда они убедятся, что это за прелесть.

— Нашел чем хвастаться, шашлыком, — возразил ему Виктор. — Вот моя мама — большая мастерица готовить пельмени с лучком, перчиком, пальцы оближешь... Сотню бы проглотил...

Давид Ильич, слушая этот разговор, стал подбрасывать спорщикам вопросы. Партизаны смеются.

— Вот была бы картошка и мясо, я бы сам приготовил вам наш партизанский суп на славу, — сказал Давид Ильич.

— Вы?! Суп можете варить? — удивился Перевышко.

— Не удивляйтесь, я старый работник напита.

Давид Ильич рассказал, как он был помощником повара в столовой имени 8 Марта в Одессе. Готовили вкусные блюда. Его как примерного производственника даже выбрали делегатом 2-го Всеукраинского съезда работников народного питания, а затем делегатом 7-го Всесоюзного съезда профсоюза работников питания в Москве...

— Вот оно что! Понятно, почему вы с таким знанием дела учили наших поваров. Мы удивлялись: инженер-электрик, а разбирается в кулинарии.

Григорий Матвеевич тоже вмешался в разговор.

— Раз вы такой специалист по кулинарии, приготовьте нам обед из березинского мха и еловых шишек.

— Как-нибудь приготовлю, а пока будьте сыты сураевскими пельменями и шашлыком Саши Перевышко, — с улыбкой ответил Давид Ильич.

Партизаны смеются, полетели шутки, вроде стало веселей.

Возвратилась разведка, утешительного ничего. Везде каратели, и, кроме того, в наш край прибыли две немецкие дивизии на отдых.

Трое суток мы находились в Березинских болотах, искали щели, чтобы вырваться, но везде натыкались на фашистов. Решили разбить отряд на две группы, заставить фашистов разбросать свои силы по разным направлениям. Давид Ильич возглавил группу, которую надо было вывести на юг в район озера Палик, где находился отряд Басманова. Две группы должны были прорываться на восток.

С большим трудом нам удалось выбраться из болот, но преследование нас фашистами не прекращалось. Мы пробились за речку Эссу, в Ковалевичские леса. Отсюда послали три пятерки разведчиков в район озера Палик, чтобы установить связь с Давидом Ильичом. Две пятерки погибли в пути, не дойдя до места назначения, и только третья группа возвратилась и сообщила, что база в районе озера Палик разгромлена, кругом лежат трупы партизан. Ни отряда Кеймаха, ни отряда Басманова в этих местах нет. В окружающих деревнях говорят разное. Одни утверждают, что Кеймах и Басманов погибли в бою, другие говорят, что они вырвались из окружения и ушли к линии фронта. Продолжали посылать связных к «почтовым ящикам», на явочные квартиры — вдруг появится от них весточка. Не могли же все погибнуть!

Мы опять стали жечь костры возле Домжерицкого озера. Верили, что Центр будет искать нас.

Сами тоже не сидели сложа руки. Послали на Большую землю три группы, которые возглавили опытные командиры-разведчики — капитан Архипов, политрук Гоголев и майор Диканев. Они должны были перейти линию фронта и передать, что мы не погибли, действуем.

Время шло. Началась весна. Костры жгли реже. Немецкие самолеты стали чаще ночью «проверять» Березинские леса и несколько раз обстреляли наши костры.

В половине марта приходил к нам в отряд Батя. Мы долго обсуждали создавшееся положение и решили послать очередную группу через линию фронта. Ждали, когда сойдет снег.

Весна вступила в свои права. В полдень на припеке таяло, сугробы оседали, обнажались черные кочки, а ночью опять замерзало и долины, дороги затягивались хрустящим зернистым настом. Ходить по нему очень неприятно: далеко слышен этот хруст. Каждый вечер уходили партизаны на боевые задания, а затем возвращались на базу.

Так возвратились и 27 марта. Старший группы доложил, что по деревням вокруг бродят какие-то люди, называют себя парашютистами, разыскивают отряд Бати.

— Наверное, переодетые фашисты. Опять провокация! — таково было общее мнение. Но я все же отправил несколько человек в разведку выяснить, что за люди.

На второй день разведчики доложили, что трое неизвестных были в деревнях Забоевье, Ковалевичи. Это совсем рядом с нами. Надо их задержать. Я выслал дополнительную разведку... Но в половине дня из охранения прибежал связной и доложил:

— На нашей тропе показались трое вооруженных!

Я схватил автомат, приказал оставшимся приготовиться и побежал вместе с Перевышко. Тропинка была кривая, и на изгибе ее еще на значительном расстоянии мы услышали голос партизана Кобякова, который, щелкая затвором, кричал кому-то:

— Бросай оружие! Стрелять буду!

Когда мы подбежали, он пожаловался:

— Товарищ командир! Не бросают, ничего не говорят.

Неизвестные действительно не хотели подчиниться часовому и спрятались за сосны, готовые к бою.

— А чего с ними канителиться! — громко ответил я. — Вот я их гранатой! — Поднял для броска гранату. — Бросай оружие!

В это время один из них замахал рукой:

— Бринский!.. Бринский!.. Комиссара не узнаешь? — Знакомый голос. И другой тоже знакомый голос:

— Бринский! Щербину не узнаешь! Вот это здорово!

Я опустил гранату и кинулся к ним навстречу. Это были свои: Давид Ильич Кеймах и Василий Васильевич Щербина, а третий был мне незнаком.

Обнялись, расцеловались. Они познакомили меня со своим третьим спутником, который отрекомендовался Сенькой, инструктором по подрывному делу. Потом мы узнали, что его фамилия Климашев, Семен Корнеевич.

Давид Ильич рассказал, что, после того как мы расстались в ноябре 1941 года, его отряду пришлось провести много боев с карателями в районе озера Палик и реки Великой, что он тоже принимал меры к тому, чтобы установить связь с нами, трижды присылал связь: одна группа во главе с десантником Захаровым

погибла. 21 ноября отряд Кеймаха прибыл в Ковалевичские леса. Недалеко от деревни Красавщины они обнаружили разрушенный партизанский лагерь. Узнали от крестьян, что здесь находился отряд Линькова, вел бой с карателями, понес значительные потери и ушел на восток.

После этого Давид Ильич решил больше не искать нас, а идти к линии фронта. Взяли направление в сторону Калинина, считая, что к нему лучше всего пробираться по лесной местности. Трудности перехода были большие: не было карты, шли по азимуту с помощью проводников. Днем продвигались лесом, а ночью по дорогам. Часто приходилось вступать в бои с немцами и полицией. Начались холода, а партизаны были одеты по-летнему. Отдыхать приходилось только в лесу возле костра и то не всегда.

Брать одежду у крестьян было категорически запрещено. Однажды недалеко от города Демидова, где находились каратели, партизан застал день. Они скрылись в небольшой роще вблизи деревни, в которой достали немного хлеба и картошки. Один раненый боец нарушил приказ, взяв у крестьянки пальто. Обозленная женщина побежала в Демидов, заявила немцам, где находятся партизаны. Фашисты прибыли на машинах, окружили рощу, завязался бой, в котором партизаны потеряли семь человек убитыми, а восемь было ранено. Вот во что обошлось пальто.

Около двух месяцев отряд Кеймаха пробирался к фронту с боями. В это время Красная Армия громила фашистов под Москвой. Партизаны всеми силами помогали нашим воинам уничтожать оккупантов. Боевые действия народных мстителей вызывали панику в стане врагов.

5 января отряд перешел линию фронта. Вскоре Давид Ильич был в Центре, доложил о положении в тылу врага и о том, что отряд Бати ушел на восток. Ему предложили написать отчет, отдохнуть и быть готовым опять возвратиться в тыл врага.

Он зашел на квартиру. Пусто. Жена с дочкой эвакуировались вместе с заводом в глубь страны. Сразу сел за стол и начал писать письмо.

«Дорогая Галюша! Наконец после шести месяцев я смогу тебе написать о подробностях моей жизни в это время — очень много нужно было бы написать. Одно только могу тебе сказать, что честно выполнил свой долг в борьбе с фашистской сволочью. Немного, правда, постарел, устал, но ведь ничего не дается без борьбы, а драться приходилось сильно и в условиях тоже не легких.

Но морально удовлетворен, ибо это прошло не безрезультатно...

Мне не удастся здесь много побыть и тебя видеть и, наверное, даже не дождусь твоего письма. Очень хотелось бы видеть тебя, Валюшу. Как вы живете? Как здоровье? Как устроилась на заводе? Николай Патрахальцев мне все подробно рассказал. Должен сказать, и не ожидал такого прекрасного отношения. Это действительно товарищ, хотя он мне начальник. Сейчас ты опять по всем вопросам обращай к нему. Он мне говорил, что Валенька в санатории. Как ее здоровье? Как она поправляется?..

Посылаю тебе фото в той форме, в которой я выполнял боевое задание. Как видишь, я здоров, и не очень изменился, приобрел только рыжие усы. Как они тебе нравятся?

Галенька, дорогая! Ты не горюй, что мы сейчас не увиделись, держи себя крепко и Валюшеньку нашу расти в ненависти к фашистским мерзавцам. О, если бы я тебе рассказал, что творят эти «цивилизованные дикари»! Но уж и мы тоже житья им не даем. Особой любовью мы у них не пользуемся. Вот сейчас отправляюсь опять на них, чтобы не давать им ни минуты покоя ни днем ни ночью.

Я полагаю, что ты тоже выполнишь свой долг, работая на заводе. Крепко обнимаю и целую, дорогая моя. Обо мне не беспокойся, по всем вопросам справляйся у Николая.

Крепко, крепко целую. Дима».

Вслед за Кеймахом перешел линию фронта отряд Василия Щербины. Щербина тоже подтвердил, что отряд Бати ушел на восток. И какой было неожиданностью, когда в конце февраля в Москву прибыл от нас связной майор Диканев и сообщил, что отряд Бати продолжает действовать. Тогда Центр решает вторично выбросить во вражеский тыл Давида Кеймаха и Василия Щербину со средствами связи в район действия отрядов Бати.

Перед самым вылетом в тыл врага Давид Ильич написал письмо своей дочке.

«Валенька, моя дорогая девочка! Очень соскучился по тебе. Хотел бы тебя видеть, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Фашисты находятся на нашей родной земле и их нужно скорее изгнать из всех мест, куда они проникли, вот твой папа в числе миллионов бойцов дерется с фашистской гадinou, чтобы не дать им возможности издеваться над нашими стариками, матерями и такими детьми, как ты.

А ты, дорогая Валюнька, в свою очередь, помогай родной стране в скорейшей победе над врагом, учись прилежно и хорошо, крепи и закаляй свое здоровье и всем своим сердцем ненавидь фашистских извергов. Помогай маме.

Как ты учишься? Как твое здоровье?

Дорогая моя дочурка, крепко-крепко целую тебя. Твой папа».

В ночь с 25 на 26 марта Давид Кеймах, Василий Щербина, радист Николай Золочевский и инструкторы по подрывному делу Яков Каждан и Семен Климашев были выброшены с самолета в леса Белорусского государственного заповедника, южнее Лепеля.

После приземления, даже не собирая груза, Кеймах, Щербина и Климашев идут на поиски нас. Золочевский и Каждан остаются в лесу.

Утром радист передал в Москву следующую радиограмму: «Приземлились в районе хутора Нешково. Все в порядке. Три человека отправились на поиски Линькова.

Коля Золочевский».

Вот тогда второй раз я встретился с Давидом Ильичом и Василием Щербиной.

После короткого отдыха наших гостей с Большой земли я сказал:

— Давай, комиссар, я тебе представлю отряд, познакомься с людьми и расскажи, что происходит на Большой земле, в тылу и на фронте.

Давид Ильич смущенно улыбнулся.

— Согласен, только без официальщины. Я просто так побеседую с людьми.

— Но этого требует порядок, для пользы дела, — возразил я.

— Раз для пользы, делай, как знаешь.

Перед отрядом стоит комиссар. Он внимательно вглядывается в суровые лица партизан — узнает и не узнает старых знакомых.

— Как изменился отряд! — говорит он. — Когда мы расстались в ноябре прошлого года, отряд состоял в основном из молодых военнослужащих, и одеты они были в военную форму. А теперь стоят те же люди, но они возмужали, стали уверенней, строже. Хорошо, что много белорусских крестьян.

Давид Ильич говорил о разгроме немцев под Москвой, о стойкости советских людей на фронте и в тылу.

После беседы повели партизан спасать груз и радиосредства, выброшенные нам Москвой. Надо было преодолеть почти полсотни километров. Шли быстро, дороги плохие. Давид Ильич устал.

— Дай человека, чтобы взял мой вещмешок, все легче будет, — обратился он ко мне.

Я подозвал Станислава Алексева — молодого здорового ленинградца — и сказал:

— Возьми вещмешок у комиссара и ни на шаг от него, назначаю тебя адъютантом.

Груз спасли. С прибытием Кеймаха и Щербины перед нашими отрядами встали новые задачи. Мы должны были в широких масштабах развернуть диверсионно-разведывательную работу на железных дорогах оккупированной Белоруссии. С этой целью создавали новые отряды, открыли «лесные курсы» по подготовке подрывников. Отправляли их на диверсии.

Но, кроме организационных мероприятий, комиссару приходилось рассказывать партизанам о Большой земле, о Москве, о положении на фронтах. Его засыпали вопросами. Любая мелочь была для партизан интересной, дорогой и важной. Особенно хотелось подробнее знать, как драпали немцы из-под Москвы.

Недолго пришлось Давиду Ильичу быть на центральной базе — при штабе центра. В половине апреля он с Василием Щербиной и Василием Черкасовым повел отряд подрывников к железнодорожным узлам Крулевщина и Молодечно. Комиссар сам водил группы на диверсии. Однажды начальник нашего центра Линьков заметил:

— Не обязательно вам, Давид Ильич, ходить на диверсии.

— Согласен. Но сила комиссара в личном примере.

В этом был весь Давид Ильич.

Его первый выход с группой подрывников на железную дорогу был в начале весны, во многих местах еще не сошли талые воды, приходилось идти по воде, обходя селения. И все-таки к месту намеченной диверсии добрались благополучно.

С наступлением темноты подползли к насыпи. Мину ставили Давид Ильич и его адъютант Станислав Алексеев. Уложили ее под рельс, перекинули проводки через рельс, замаскировали. После этого сползли с насыпи, отошли метров сто пятьдесят в лес, залегли и с затаенным дыханием ждали поезда, который приближался к мине. Вот-вот должен раздаться взрыв. Но... грохочущая цепь вагонов пронеслась по рельсам, а взрыв не произошел.

— Что же случилось? — возмущался комиссар. — Алексеев, бери вторую мину и за мной к полотну.

Подошли к месту, где заложена мина, смотрят: электропровод перерезан колесами и прижат к рельсам, а замыкания не произошло. Снимать мину опасно. Они тут же рядом укладывали вторую. Все готово. Отошли на старое место, комиссар все вздыхает. Настроение подавленное.

— Сколько готовились. Прошли почти полсотни километров. И вот тебе, получай первый блин комом, — тихо сказал он.

Но никто не ответил, все молча лежали на земле. С наступлением полуночи где-то запели петухи, потом раздались автоматные очереди на железнодорожном полотне — это охранники шли

и стреляли, отгоняя от себя страх перед ночной темнотой и как бы предупреждая партизан, где они находятся.

Время медленно тянется. И как нарочно, не идут поезда.

И только во второй половине ночи вдали застучали колеса. Все насторожились. Шум поезда нарастал. Уже прорезали тьму слабые лучи фар. Железная громадина приближалась к мне. Напряжение росло; партизаны подняли головы и смотрели туда, где под рельсами лежали две мины — «сюрприз»...

И вдруг как будто из-под земли выплеснуло огненное зарево, осветило паровоз. Раздался оглушительный взрыв, что-то просвистело над головами партизан. Трещали, сваливались под откос вагоны. Где-то стреляли. Зарево осветило всю местность. Это взорвалась цистерна, горели вагоны.

— За мной, бегом! — скомандовал комиссар.

Надо было подальше уходить от места взрыва. Приближался рассвет. Бежали долго. Взрыв как бы прибавил силы.

Но впереди ждала их большая опасность. Пройдя от места диверсии около десяти километров, они устроили привал в густых зарослях леса у ручейка. Настроение после такой удачной операции было бодрое. Партизаны расположились, чтобы немного отдохнуть, привести себя в порядок: кто снял сапоги, сушил портянки, кто пошел к ручью умываться, кто чистил оружие. Никто не подозревал, что вслед за ними шли немцы, пытавшиеся окружить группу. Неожиданно раздался лай собаки. Это насторожило партизан.

— Спокойно. Приготовить гранаты, — сказал комиссар. Он указал рукой на восток. — Пробиваемся в этом направлении.

Партизаны шли рядом с комиссаром. Разрывы гранат заставили немцев залечь, а это дало возможность партизанам проскочить через цепь врага, укрыться в ельнике. Дальше начинался болотистый лес. Немцы опомнились, открыли стрельбу, но, добежав до болота, остановились, еще постреляли и ушли.

Партизаны невредимыми возвратились на свою базу.

■ ■ ■

В начале июня 1942 года мы находились под Минском. Начальник нашего «хозяйства» инженер-полковник Линьков с самого утра ходил молча, насупив брови. Значит, что-то обдумывал. Обыкновенно в такое время к нему никто не подходил.

— Не мешайте, Чапай думает, — говорил Саша Перевышко.

Батя долго ходил, затем сел и, отбиваясь березовой веткой от комаров, вынул блокнот и стал писать. Потом пригласил к себе Кеймаха.

Давид Ильич подошел. Он сутулился, сильно кашлял, лицо было бледным, измученным и только большие карие глаза смотрели по-юношески живо.

— Трудно Давиду Ильичу: снова обострился туберкулез, — сказал капитан Щербина. — Удивляюсь, зачем его второй раз забросили в тыл врага.

— Характер, — ответил я.

Мне вспомнилось, как в марте я встретил Давида Ильича после его выброски к нам, и, видя его состояние, спросил:

— Зачем ты, больной, опять прилетел?

Он с удивлением, даже с какой-то обидой посмотрел на меня. На лице выступили капельки пота:

— А разве ты забыл нешковские жертвы? А на Великой реке?

— Не забыл.

— Вот и я не забыл, — ответил он.

Было это в октябре 1941 года. Наши отряды находились в лесах Белорусского государственного заповедника. Тогда по приказу ставленника Гитлера в Белоруссии Вильгельма Кубе усилились репрессии. За самое малейшее нарушение оккупационного режима грозила смерть. Шли массовые расстрелы мирных жителей, военнопленных, сжигались целые деревни.

Кому удалось избежать смерти, те скрывались в лесах. Особенно много беженцев в Березинских лесах. Мы встречались с ними на Великой реке, у озера Палик, у хутора Нешково. Невозможно передать страдания этих людей, ютившихся в наспех сооруженных шалашах и землянках, оборванных, голодных женщин, стариков, детишек. Особенно много было там еврейских лагерей.

Однажды мы с Давидом Ильичом пошли в глубь леса на рекогносцировку: надо было выбрать место для запасного лагеря. Недалеко от лесной просеки заметили жиденькую струйку дыма, подымавшуюся над молодым ельником. Вскоре мы увидели сидевшего возле костра старика в ушанке, рваном кожухе и троих детей, одетых в лохмотья. Перепачканные сажей, они ели печеную картошку. Рядом стоял аккуратный шалаш, покрытый сеном и замаскированный ветками. В шалаше лежала женщина.

Старик выркнул на нас из-под лохматых бровей и тихо произнес:

— Поглядите, браточки, на нашу жизнь. Может, дадите табаку, а то язык присох.

Я вынул кисет, протянул деду. Он свернул козью ножку, пару раз затянулся, похвалил и начал рассказывать, как ему пришлось убежать с местечка Березино, когда там расстреливали советский актив.

— Говорят люди, — начал дед, — Гитлер прислал какого-то Куба к нам и наказал ему евреев всех перебить, а белорусов половину, чтобы немцу вольготно жилось. Вот этот Куба разослал своих душегубов, и они выполняют наказ своего фюрера.

Он снял шапку, почесал шею.

— Не знаю, кто останется жив... Конец свету.

Закричала женщина в шалаше.

— Что с ней? — спросил Давид Ильич.

— Рожает невестка, с ночи мучается! — со вздохом произнес старик. — Сына замордовали... Старуху застрелили.

Мы переглянулись, поняв друг друга. Еще этого не хватало. Родить в таких условиях. Вспомнили, что недалеко от Нешково встречали женщину с двумя мальчиками пяти и восьми лет. Они лежали в яме возле сваленного бурей дерева, накрытые папоротником. Мы разожгли костер, я дал женщине полкоробка спичек, обещали прислать продукты. Женщина назвалась Мирской, по специальности она была акушеркой. По ее рассказу, она осталась живой случайно. Находилась в деревне возле роженицы. Детей спасли добрые люди, а мужа и родных спасти не удалось, их расстреляли.

Давид Ильич распорядился, чтобы Саша Волков и еще один из сопровождающих нас партизан возвратились в Нешково и привели сюда акушерку Мирскую.

Попрощавшись с дедом, мы шли молча глухим осенним лесом.

— Пройдет время, и не поверят люди, что это было, — сказал партизан Павел Куликов.

— Нет, этого забыть нельзя и простить тоже нельзя, — поправил его комиссар.

■ ■ ■

Командир и комиссар о чем-то говорили, что-то записывали в блокноты. Потом Батя развернул свою карту. Они долго смотрели, измеряли. А затем пригласили Щербину и меня.

— Мы с комиссаром окончательно решили, — сказал Батя. — Под Минском остаются Щербина — Бородач — командиром отрядов, Давид Ильич — Дима — комиссаром, а мы с Бринским двинемся дальше к намеченной цели.

Он позвал к карте Щербину и показал ему на железнодорожные узлы Крулевщининский, Молодечнинский, Минский, обведенные черным карандашом.

— Мало вам будет, прихватите Лиду, можно и Вильнюс, никто ругать не будет. Оставляю две радиостанции, Связь держите

с Московским центром. С нами по необходимости. Позывные комиссар знает, время сеансов тоже.

Григорий Матвеевич внимательно посмотрел на Кеймаха, мягко улыбнулся.

— Ну что же, Давид Ильич, вы теперь находитесь рядом с господином Вильгельмом Кубе. Вот и займитесь им. Надеюсь, минские подпольщики помогут вам. Только свяжитесь с ними.

Давид Ильич ничего не ответил, только глубоко вздохнул. Но нам было ясно, что это относилось к той клятве, которую он дал на могиле возле хутора Нешкова.

Прошло несколько дней после того, как мы встретили в лесу старика, роженицу и акушерку Мирскую.

Был холодный, ветреный день. Мы возвращались с боевого задания. На лесной полянке, недалеко от Нешково, увидели комиссара с обнаженной головой. Он стоял возле ямы, куда партизаны опускали трупы беженцев, зверски замученных немецкими карателями. Среди жертв был старик в рваном кожухе, его внуки, роженица, а рядом с ней маленький комочек, завернутый в тряпки. Там же лежала акушерка Мирская с детьми, заколотыми штыками. На деревьях висели люди.

Вот тогда-то Давид Ильич и поклялся отомстить фашистам за муки и страдания наших людей.

— И тебе, палач белорусского народа Вильгельм Кубе, не миновать кары!

Оставшись возле Минска, Щербина и Кеймах развернули кипучую деятельность: взрывали поезда, мосты, машины, сжигали склады, ликвидировали оккупационные органы власти, постоянно дрались с карателями; но никогда не покидала комиссара и командира мысль о том, что нужно добраться до ставленника Гитлера в Белоруссии Вильгельма Кубе.

Командир и комиссар разрабатывали разные варианты, партизаны ходили в засады, разведчики искали людей, которые могли бы помочь привести приговор народа в исполнение. Но пока все было без успеха. А тут еще случилось непоправимое: 24 сентября 1942 года погиб командир отряда Василий Васильевич Щербина.

Отряды возглавил Давид Ильич Кеймах — Дима. Он продолжал искать пути к Вильгельму Кубе. Тщательно изучали все места, где бывает Кубе, систему его охраны, самих охранников и всю прислугу.

У генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе был целый штат служанок, горничных, уборщиц, поваров, кухонных рабочих. Все они были тщательно подобраны и проверены офицерами СД. Еще бы! Прислугу подбирали для фюрера Белору-

тении, как называли фашисты Белоруссию. Но Давид Ильич верил, что среди прислуги Кубе, кроме предателей, должны быть и честные советские люди, которых крайняя нужда и голод заставили идти на работу. Вот среди них-то и надо искать такого, кто сумеет выполнить приговор народа.

И наши разведчики искали такого человека.

В феврале 1943 года Давид Ильич встретился с руководителем одной из подпольных групп Минска Марией Борисовной Осиповой по кличке Черная, которая еще осенью 1942 года была связана с бригадой Димы, передавала сведения, медикаменты, оружие, переправила несколько десятков человек из Минска в отряды, но сама ни разу не встречалась с руководством бригады.

И вот она решила побывать на базе партизан, встретиться с командиром, рассказать о своей работе, узнать, как говорится, из первых рук, что надо делать. А о Диме ходили слухи как о грамотном, опытном и умном командире. Такая встреча необходима была для Осиповой еще и потому, что она была недовольна той работой, которую вела до сих пор.

И вот она в землянке Димы, рассказывает ему не только о работе, но и о себе, что она член Коммунистической партии, родилась в потомственной рабочей семье стеклодува, сама тоже работала на стекольном заводе, затем была на пионерской, комсомольской, партийной работе, была членом Верховного Суда Белорусской республики.

Мария Борисовна рассказала, что ей пришлось пережить с начала войны. До сих пор перед глазами горящий Минск, копоть, гарь, капли расплавленного стекла, словно слезы, гул немецких самолетов, взрывы бомб. И люди, мечущиеся по пылающим улицам. Потом этот людской поток двинулся по дорогам, идущим на восток. Немецкие «штукасы» поливали его из крупнокалиберных пулеметов. Этого нельзя забыть и простить.

Рассказала о работе подпольной группы и о тех трудностях и сложностях, с которыми встречаются. Упомянула, что по ее заданию бывший доцент Николай Кречетович устроился электромонтером в городскую управу. Подделал ключи к сейфу, где находились чистые бланки паспортов. Несколько десятков бланков он взял. Благодаря этим бланкам более тридцати человек были спасены из лагеря военнопленных и направлены в партизанские отряды.

Давид Ильич смотрел на эту молодую красивую женщину умными упрямыми глазами, с волевым лицом. Он видел в ней вердость характера. Такую ничем не запугаешь. Для нее свобода и независимость Родины дороже собственной жизни. Мария

Борисовна не подведет и на полпути не остановится. Настоящая патриотка-воин.

Давид Ильич прошелся по землянке, еще раз взглянул на Марию Борисовну.

— Вы говорите, что вас не удовлетворяет то, что вы до сих пор делали, хотите совершить что-то особенное? А вы лишите жизни Кубе, которому давно вынес приговор белорусский народ. Палач достоин любой кары: выкрасть, доставить в лес, застрелить, отравить, взорвать... Приговор народа окончательный и обжалованию не подлежит. Вы юрист, объяснять вам лишне.

— Я давно думаю о том же, даже хотела устроиться в прислуги к нему, — ответила она.

— А может, лучше привлечь ту прислугу, которая уже работает. Надо подумать, поискать.

Кеймах рассказал о случае, как наши разведчики взорвали в ноябре 1942 года кинотеатр с карателями в местечке Микашевичи, недалеко от Пинска. При взрыве погибло более полтораста карателей...

— Может, тоже взорвать кинотеатр в Минске, когда там будет Кубе, — уверенно сказала Черная.

— Попробуйте, но учтите, что это очень сложно.

— Я понимаю всю сложность, придется преодолевать всякие препятствия, встречаться с трудностями и опасностями. Но приговор народа должен быть приведен в исполнение.

— Хорошо, действуйте. Взрывчатку дадим.

После этого они еще долго обсуждали всякие варианты, как лучше пробраться к палачу белорусского народа.

Вернувшись в Минск, Мария Борисовна стала настойчиво и осторожно искать связи с теми, кто имел доступ к Вильгельму Кубе, обдумывала разные планы. Конечно, было бы лучше всего схватить палача, доставить в лес и судить, но это почти невозможно. О том как устроить аварию, она даже говорила с одним водителем грузовика, он согласился, несколько раз дежурил на улице, но машина с Кубе не появлялась. Можно застрелить, когда он гуляет в саду, но там полно охранников и собак, невозможно приблизиться к нему. Чего только она не передумала, каких только замыслов не строила: отравить, задушить, взорвать. Нет такой меры наказания, которую нельзя применить к этому садисту, ведь по приказам его замучен и расстрелян каждый четвертый житель Белоруссии.

Не забыла Осипова и о взрыве кинотеатра, она часто проходила мимо него, искала надежных людей и нашла. Получилось, как в песне: «кто ищет, тот всегда найдет». Она познакомилась с директором кинотеатра Николаем Похлебаевым, который тогда

носил фамилию Чиль. Оказалось, что Похлебаев, командир Красной Армии, коммунист, раненным попал в плен, но минские подпольщики вырвали его из лагеря для военнопленных. По их заданию он работает у немцев, вошел к ним в доверие.

Однажды Мария Борисовна сказала Похлебаеву, что она связана с партизанами, и попросила, чтобы он помог ей убрать Вильгельма Кубе.

— Это можно, — ответил он.

— Как? — обрадованно спросила она.

— Можно взорвать кинотеатр, когда там бывает Кубе. Конечно, это очень сложно, особенно трудно заложить взрывчатку. В последнее время гестапо тщательно наблюдает и проверяет помещения, где бывает Кубе. Но я хочу встретиться с руководителем партизан и посоветоваться с ним.

— Хорошо, я сообщу вам через четыре дня.

На следующий день она преодолела путь в полсотни километров, встретила с Давидом Ильичом и его заместителем майором Николаем Петровичем Федоровым. Рассказала, что нашла интересного и нужного человека Николая Похлебаева, который имеет большие связи среди влиятельных и приближенных к Вильгельму Кубе немцев и среди его прислуги. Но этот человек хочет встретиться с командиром бригады.

Кеймах обрадовался и поручил встретиться с Похлебаевым майору Федорову и комиссару Харитону Хатагову. Местом встречи наметили кусты между деревнями Беларычи и Алекшицы, что в двадцати пяти километрах от Минска.

В назначенный день Мария Осипова и Николай Похлебаев добрались к месту встречи. Дорогой вели разные разговоры, но больше всего они говорили о том, как добраться до Кубе. В разговорах Похлебаев рассказал, что он близко знаком с Валентиной Шуцкой, а ее старшая сестра Елена Мазаник работает горничной в резиденции гаулейтера Вильгельма фон Кубе.

— Кто такая Валентина Шуцкая? — заинтересовалась Осипова.

— Знаю, что она из бедной семьи, работала домработницей, уборщицей в столовой Совнаркома Белоруссии, а потом официанткой в правительственном доме отдыха «Слепчика-Городище». Наш человек, истинная патриотка.

— Но ведь у Кубе работает не Валентина, а ее сестра?

— С Еленой я не знаком, но, по рассказам Валентины, она ненавидит гитлеровцев. До войны она работала официанткой в столовой ЦК КП(б) Белоруссии. Муж ее служил в НКВД. Валя говорит, что Елена очень смелая.

— Познакомьте меня с сестрами...

■ ■ ■

Встреча партизан с Похлебаевым и Осиповой началась неудачно: только познакомились, как в Беларычи нагрянули каратели на двадцати машинах. Завязался бой. Гитлеровцам удалось захватить окраину деревни и поджечь несколько хат. Федоров приказал Осиповой и Похлебаеву углубиться в лес, а сам с партизанами вступил в бой. Вскоре карателей выбили из деревни, и они убрались.

Встречу продолжили. Николай Похлебаев рассказал Федорову и Хатагову о связях с немцами. Пообещал Марию Черную познакомить с Еленой Мазаник и сказал, что будет оказывать всяческую помощь и содействие, чтобы казнить Кубе.

На обратном пути Осипова договорилась с Похлебаевым, что на следующий день он организует встречу с Еленой Мазаник.

В назначенное время Мария Борисовна с волнением шла к Потемкинской лестнице — это участок улицы Карла Маркса между центральным сквером и парком Максима Горького. Здесь длинный ряд ступенек от центра города вел вниз, к берегам реки Свислочи и городскому парку.

Еще издаലെка она заметила Николая Похлебаева с двумя женщинами. Это сестры. Посмотрела, нет ли за ней «хвоста». Подошла к ним. Он познакомил Марию Черную с Еленой и Валей, а затем взял под руку Валентину и отошел с ней в сторону. Когда они остались вдвоем, Мария Борисовна спросила:

— Елена Григорьевна, вы уже знаете о цели нашей встречи? Вам товарищ Чиль передал...

— Да, знаю!.. Но разговаривать с вами на эту тему не буду. Я вас вижу первый раз, а с товарищем вашим знакома только через свою сестру Валу.

— Вы не верите своей сестре?

— Почему... Верю. — Она задумалась, помолчала. — Мне об этом говорите вы не первая, но я прошу познакомить меня с командиром партизан, все отказывают: это невозможно.

— Я обещаю это сделать. Только не здесь, а за городом, в двадцати километрах.

— Вот и хорошо. Мы с командиром обо всем переговорим. — Она снова задумалась. — Нет, у меня ничего не выйдет, я не смогу отлучиться на целый день из особняка Кубе.

Потом они договорились, что на встречу пойдет сестра Елены — Валя Шуцкая. Это было самое правильное решение.

27 августа Мария Осипова и Валентина Шуцкая добрались до деревни Янушкевичи и встретились с Кеймахом и Федоровым. Валентина сообщила, что ее сестра Елена согласна привести

в исполнение приговор белорусского народа, только просила не торопить их, чтобы хорошо подготовиться.

— Мы согласны, что спешить не надо. Дело серьезное и важное, — сказал Давид Ильич. — Вот вы вдвоем с товарищем Черной все продумайте и нам доложите.

Валя двое суток была в бригаде Димы, слушала Москву, читала советские газеты, впервые видела майора в погонах, убедилась, с кем связана Мария Черная и что она действует от имени партизанского командования и минского подполья.

Елена Мазаник с тревогой ждала возвращения сестры. Как только Валя переступила порог, она бросилась к ней:

— А где Мария Черная? Не предала ли она нас?

Валентина успокоила сестру и убедила, что Мария Черная является доверенным лицом командира и им троим поручено расправиться с Кубе. Только после этого Елена Мазаник полностью доверилась Марии Осиповой.

Вскоре Мария Борисовна встретила с Еленой Мазаник, и на этот раз они говорили о том, как выполнить задание. Пришли к единому мнению, что лучше всего расправиться с Кубе при помощи магнитной мины с часовым механизмом...

Потом они встречались и обсуждали другие вопросы. Надо было решить, как избежать арестов Елены и Валентины, как вывести из деревни Масюковщины, что недалеко от Минска, двоих детей Валентины, мать и тетку мужа.

Мария Черная все предусмотрела, все обдумала, все согласовала с Кеймахом и Федоровым. Она заверила сестер Елену и Валю, что у нее есть надежные люди, которые вывезут их родных из Масюковщины на партизанскую базу, об этом уже знает руководство партизан. А что касается их самих, то уже есть договоренность, машина подготовлена и всех троих — Елену, Валентину и ее вывезут из Минска в партизанскую зону.

Мария Черная была неутомима, она несколько раз побывала в бригаде, а это только в один конец почти полсотни километров. 16 сентября она опять пришла в деревню Янушкевичи, встретила с майором Федоровым, доложила, что они окончательно решили подорвать Кубе в его собственной резиденции при помощи мины с часовым механизмом. Майор их план одобрил.

Тут же вызвали инструктора по подрывному делу и начали обучать Марию Осипову, как пользоваться миной. Ученица оказалась очень способной и быстро усвоила эту несложную, но опасную технику.

Подумали и о том, как доставить мины в город. Это тоже не простая задача: надо пройти ряд полицейских постов, где не только проверяют документы, но и обыскивают,

Мария Борисовна упрятала две мины на дно корзины, засыпала их брусникой, а сверху положила два десятка яиц и курицу.

По пути ее проверяли несколько раз, но все обошлось благополучно. На одном посту, почти возле Минска, полицейай придрался и потребовал высыпать ягоды. Мария Борисовна просила, уговаривала, заплакала, стала доказывать, что ягоды перепачкаются в песке, так что потом никто не купит... Еле уговорила полицейского, дала ему двадцать пять марок на водку, и он отпустил ее. На окраине города ее встретил подпольщик Николай Дрозд. Он взял у нее корзину и понес к себе домой.

20 сентября Мария Осипова встретилась с Еленой Мазаник, научила ее устанавливать мину на боевой взвод. Они обсудили план, как лучше перенести ее в особняк Кубе и что делать после того, как мина будет заложена в кровать генерального комиссара.

Елена положила мину себе в сумочку. Нервы были напряжены до предела. Надо как-то занести мину в особняк Кубе. Путь хоть и недалек, но не менее труден, чем тот, который пришлось совершить Осиповой от Янушкевичей до Минска.

При входе в особняк стояли гестаповцы и тщательно проверяли у входящих не только документы, но и все, что они с собой несли. По существу, проводили обыск. Это хорошо знала Елена.

21 сентября в 6 часов 30 минут Елена Мазаник пошла на работу, взяла сумочку с миной и на всякий случай приготовила ампулу с ядом: лучше смерть сразу, чем муки в застенках гестапо.

Елена, подходя к особняку, сделала все, чтобы не выдать своего напряжения. «Спокойнее, спокойнее», — приказала сама себе. Старалась идти уверенно, независимо. Вот и проходная, пропуск в руке, она даже мурлычет себе под нос веселую немецкую песенку. Солдат узнал ее, заулыбался. Она тоже улыбкой приветствовала его и проскочила проходную.

— Остановитесь, фрау, разрешите посмотреть вашу сумочку, — сказал солдат.

Елеину бросило в дрожь. Она остановилась, улыбаясь, приоткрыла сумочку.

— Пожалуйста, смотрите. Вот батистовый платочек, духи. Подарила бы вам этот платочек, но он предназначен мадам генеральше. Завтра принесу вам.

Она быстро закрыла сумочку и пошла во двор.

Итак, Елена с миной в особняке. А куда ее запрятать? Сложности были в том, что Кубе уходил на службу в десять часов. А вторая трудность заключалась еще и в том, что нужно было проникнуть в спальню Кубе, которая находилась на втором эта-

же и убирала ее другая прислуга — Янина. Елена отвечала за третий этаж.

Она замотала мину в грязное белье. Когда Кубе ушел на службу, а его жена с прислугой отправились в кладовую за продуктами, Елена зашла на второй этаж к Янине и предложила ей пройти на третий этаж в кабинет Кубе и оттуда позвонить своему кавалеру (она частенько заходила к Елене с просьбой, чтобы та разрешила ей позвонить из кабинета Кубе).

Янина с удовольствием побежала наверх. Елена в это время проникла в спальню, подложила мину под матрац. Но когда выходила из спальни, ее встретил гестаповец — старший телохранитель Кубе. Он спросил, зачем она заходила в спальню. Елена ответила, что ее послали за детским бельем. Гестаповец предупредил, чтобы она больше не смела заходить туда.

Самое главное было сделано — мина подложена. Теперь надо как-то выбраться из особняка. Мазаник спустилась на первый этаж и тут встретила жену Кубе, которая возвращалась из кладовой. Та, заметив, что Елена взволнована, спросила:

— Что с тобой?

Елена пожаловалась на сильные зубные боли и попросила, чтобы госпожа генеральша разрешила ей сходить к врачу.

— Сходи, только не задерживайся, — сказала генеральша.

Елена поблагодарила жену Кубе и, держась рукой за щеку, вышла из особняка. Тут же направилась к сестре Валентине.

Они сразу поспешили к условленному месту, возле оперного театра, где их ждали Осипова и подпольщик-комсомолец Николай Фурц с грузовой машиной.

Надо сказать, Кеймах и майор Федоров не забыли о патриотах, участвовавших в этой операции, и их семьях. Все они были заранее вывезены в партизанскую зону.

Назначенного часа ждали с волнением: а вдруг мину обнаружили или не работает механизм...

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года произошел взрыв, и палача Вильгельма Кубе не стало.

Но Давид Ильич Кеймах уже не мог знать, что его мечты исполнились. Тринадцатого сентября, перелетая через линию фронта, он погиб в воздушной катастрофе.



САМОЛЕТ НЕ ВЕРНУЛСЯ

В середине октября 1944 года наш самолет поднялся с Брестского аэродрома и взял курс в направлении Чехословакии. На борту, кроме экипажа, находилось трое десантников партизан: Аркадий Максимович Дмитриев (партизанская кличка Максим), Владимир Петрович Моисеенко, прозванный Казаком, и Аня, прибывшая из Москвы в день отлета. Это была красивая, стройная девушка с большими выразительными черными глазами и смуглым волевым лицом. С каким заданием направлялась она в Чехословакию, никто в самолете не знал. Все молча сидели на своих туго набитых рюкзаках, и даже такой говорун, как Казак, помалкивал. Аня смотрела в окно самолета, Сквозь плотные об-

лака землю плохо было видно, и только иногда далеко внизу вспыхивали и тут же таяли в темноте редкие огоньки.

Дмитриев и Моисеенко — старые друзья по партизанскому отряду, участники многих боев с фашистами, опытные подрывники, имевшие на своем счету немало удачных диверсий.

В Чехословакии действовал наш партизанский отряд под командованием Тихонова. Связь с отрядом по каким-то причинам прекратилась, требовалось срочно забросить туда несколько десятков партизан и оружие и, если позволит обстановка, то посадить самолет, чтобы вывезти раненых и документы за линию фронта. Самолет был отправлен, но на аэродром он не вернулся.

Что случилось? Какова судьба наших людей?

Ответы на все эти вопросы я получил значительно позднее...

Максим — рослый, ладно сложенный мужчина, с красивым лицом, с добрыми светло-голубыми, немного выпуклыми глазами и по-детски простодушной, застенчивой улыбкой. Даже в тяжелых партизанских условиях он всегда был аккуратен и по-солдатски подтянут. Носил он черную кубанку с зеленым верхом, лихо сдвинутую на правое ухо, широкие брюки, заправленные в сапоги. Из-за голенища правого сапога торчала рукоятка армейского ножа. На груди — автомат. На широком солдатском поясе, слева, кожаная сумка, из которой выглядывали головки гранат-лимонок. С правой стороны в брезентовой сумке — заряженные магазины для автомата, а через плечо висел маузер в деревянной колодке. Излюбленная поговорка была у Максима: «Туды-сюды — и порядок».

Володька Казак — высокий, жилистый, со смуглым лицом и озорными глазами парень — отличался живостью характера и непоседливостью. Ему всегда требовалось дело: бой, засада, диверсия. Как сейчас вижу его в армейской фуражке и немецком кителе лягушачьего цвета. На поясе, кроме парабеллума и сумки с гранатами, носил он небольшой кинжал: трофей, взятый у одного фашиста, награжденного этим кинжалом лично Гитлером. Любил Володька об этом трофее рассказывать и при этом прихвастнуть. Партизаны знали эту слабость и не раз подшучивали над ним:

— Брось, Казак, пули заливать!

Володька не оправдывался и не обижался.

— Не нравится — не слушайте. А то, что рассказывал, — фактический факт. — Поднимался и уходил искать для себя других слушателей.

В наш отряд Максим и Володька попали в августе 1942 года. Мы тогда находились севернее Пинска. К нам присоединился партизанский отряд, которым командовал лейтенант Николай

Мировой, а заместителем был Максим. Партизаны так и считали, что Максим — его фамилия.

Когда я познакомился с людьми из отряда Мирового, в том числе с Максимом, на мой вопрос, какая у него настоящая фамилия, он ответил:

— Дмитриев Аркадий Максимович.

— Вы себе имя отца взяли как кличку?

— Нет, меня по другому поводу прозвали Максимом.

Из рассказа Дмитриева я узнал, что еще в начальный период партизанской жизни в отряде была винтовка СВТ без магазинной коробки, и, чтобы произвести из этой винтовки выстрел, нужно было каждый патрон вкладывать в патронник отдельно. Дмитриев, служа в армии, работал в мастерской по ремонту оружия. И вот эту винтовку, приспособив к ней самодельную магазинную коробку на двадцать пять патронов, он сделал автоматом. Звук получался, как у пулемета «максим».

Аркадий не расставался с этим замысловатым своим изобретением. В бою партизаны кричали: «Открывай огонь из «максима»! Где «максим»? Почему молчит «максим»?» И командир Мировой, посылая партизан на задания, всегда говорил:

— Для усиления группы с вами будет пулемет «максим».

А скоро и самого Аркадия стали звать Максимом. И так это прозвище прилипло к нему, что очень немногие знали его настоящее имя.

Из беседы с ним я узнал, что он из Смоленска, отец его печатник, у них большая семья (пять братьев и три сестры), что с детства любил он ездить на лошадях. Когда пошел в армию, то просился в кавалерию, хотя по всем статьям подходил в морской флот. Его просьбу призывная комиссия удовлетворила, и он был зачислен в конницу.

С первых дней войны Максим участвовал в боях. Под Рогачевом был ранен и попал в плен, находился в Бобруйском лагере военнопленных до осени 1941 года. Когда рана Максима зажила, его с группой военнопленных погрузили в эшелон и повезли в Германию.

Вместе с ним в одном вагоне находился и лейтенант Николай Мировой, который тоже оказался в плену, будучи раненым. Они оба лежали на верхних нарах и смотрели в оконце вагона, заделанное колючей проволокой, в котором мелькали телеграфные столбы, рощи, разрушенные дома. А паровоз увозил их все дальше от родных мест на проклятую фашистскую каторгу.

— Смотри, а ведь проволоку-то можно раскрутить. Давай попробуем? А? И спрыгнем... Хуже не будет... — тихо говорил Максим Мировому.

— Давай, чем черт не шутит, лучше смерть на воле, чем плен у фашистов, — ответил Мировой.

С трудом поддавалась проволока, руки были изранены, но все же проволоку размотали. Ждали ночи.

Первым прыгнул Максим, за ним Мировой и еще два смельчака. Собрались без особых трудностей: еще в вагоне договорились, что после прыжка первые двое идут по ходу поезда, а последние им навстречу. Условный знак — два хлопка в ладоши, ответ — три хлопка.

Так четыре советских воина, голодные, без оружия, очутились на польской земле, недалеко от Бело-Подляски. Всю ночь шли на восток, ориентируясь по звездам и обходя населенные пункты. Первый рассвет застал их в небольшой роще, и они решили переждать день здесь, чтобы ночью опять двинуться дальше на восток.

Стояла поздняя осень. День выдался теплый, солнечный. Товарищи лежали под кустом, дожидаясь ночи. Но вот тишину леса нарушили звонкие голоса: это за грибами пришли дети. И как беглецы ни маскировались в кустарнике, ребяташки их обнаружили:

— Добрый день, паны товарищи! Вы нас не бойтесь. Мы герману не скажем! — успокоила беглецов девочка, лучше других детей говорившая по-русски.

— А кто тебя научил говорить по-русски?

— Матка. Она сама из России, — ответила девочка.

Дети рассказали, что делается кругом, где находятся немецкие гарнизоны, как немцы свирепствуют. Даже такие маленькие дети знали многое. Потом они ушли. Под вечер в роще появился немолодой уже крестьянин с корзиной в руках. Он делал вид, что собирает грибы, но шел прямо к тому месту, где притаились беглецы.

— Товарищи, я принес вам поесть, — сказал он, поставив на землю корзину, в которой были горшки с борщом и кашей, две буханки хлеба, кусок сала и даже кисет с табаком-самосадам. Крестьянин посоветовал дожидаться тут ночи и показал короткий и безопасный путь до большого леса.

К вечеру он пришел опять и принес продуктов на дорогу, а кроме того, лопату и топор.

— Возьмите, пригодятся. Может, землянку будовать сдумаете. Счастливого вам пути.

Все от души поблагодарили его за бесценную помощь и добрые слова.

Крестьянин ушел.

Помолчали. Закурили.

— Что ж, — заговорил Мировой, — будем пробираться к линии фронта.

— А какая разница, где фашистов бить, лишь бы бить, — возразил Максим. — Люди-то, вон они какие, не подведут, помогут.

Решили не ходить далеко. В лесной чаще построили шалаш, связались с польскими патриотами.

— Мы убежали из плена не для того, чтобы отсиживаться в лесу, — сказал однажды Максим.

— Это верно, но для того, чтобы воевать, нужно оружие, а где его достанешь? — размышлял Мировой.

— У немцев.

В одном селе недалеко от Бело-Подляски находился полицейский участок, или, как называют его поляки, постерунок. Вот на этот постерунок и решила отважная четверка произвести налет.

По предложению Мирового сделали деревянные гранаты. Но, чтобы добраться до помещения, где находилась полиция, в первую очередь требовалось снять часового, который стоял в специальной будке при входе во двор, а сам двор кругом был огорожен сплошным высоким деревянным забором с колючей проволокой. Главную задачу — снять часового — Максим взял на себя.

В темную ненастную ночь все четверо направились на свою первую боевую операцию.

Было уже далеко за полночь. Полицай-часовой спрятался от дождя и ветра в будку и, видимо, дремал. Максим подполз к будке и быстро справился с полусонным полицаем. Забрали оружие часового: винтовку, наган и две гранаты. Таким образом сразу вооружились. Но деревянных гранат пока не бросили. Подкрались к полицейскому участку, открыли двери и увидели помещение, освещенное керосиновой лампой, в котором спали человек двадцать полицаев. А один, очевидно, дежурный, спал, сидя на табуретке, уронив голову на стол. Мировой ударил его болванкой по голове, и он свалился на пол.

Оружие стояло в пирамиде возле дверей, а рядом — деревянный ящик с боеприпасами. Каким богатством сразу овладели нападающие!

— Что же будем делать с полицаями? — тихо спросил Максим.

— Пусть спят. Не будем трогать, — ответил Мировой.

Действительно, полицай спал крепким сном, по всей вероятности, после выпивки: в комнате трудно было дышать от винного перегара. Оружие и ящик с боеприпасами быстро вынесли во двор.

Группа Мирового возвратилась в лес с оружием, боеприпасами и даже с охапкой полицейской одежды.

Шли дни. К четырем отважным советским воинам присоединились другие, тоже бежавшие из плена. Вступали в него и польские патриоты. Небольшая группа превратилась в сильный партизанский отряд.

Партизаны нападали на полицейские участки, разрушали линии связи, обстреливали вражеские поезда, уничтожили спиртозавод «Аношапось». Немало фашистов нашли себе смерть от пуль и гранат этого партизанского отряда.

Фашисты устраивали облавы на партизан, но они были неуловимы, а удары народных мстителей делались с каждым днем все более чувствительными. Летом 1942 года отряд переправился через Западный Буг в Брестскую область и присоединился к нам.

Тогда же в бою с немецкими карателями понес значительные потери другой партизанский отряд — лейтенанта Бугаева. Командир погиб. Основная часть партизан ушла на восток, а небольшая группа осталась под Пинском и тоже присоединилась к нам. В их числе был и Моисеенко, или, как его прозвали в отряде Бугаева, Володька Казак.

Запомнился мне рассказ Казака о его пребывании в Столинском лагере для военнопленных и объяснение с гебитскомиссаром.

— Когда я был в лагере Столинском, эта гадюка — гебитс-комиссар — каждое утро приезжал туда со своими гестаповцами. И вот однажды он приезжает, к его приезду нас уже построили. Ну, стоим мы в строю, а он подходит и говорит: «Кто верует в бога, пусть подымает руку».

Несколько человек подняли. Поднял и я: думаю, наверно, на работу погонят, а с работы и убежать легче да и кусок хлеба достать можно. Он, гадюка, кричит: «Выходи десять шагов вперед!» Вышли — а к нам гестаповцы — и давай полосовать нас дубинками. Так мы и не поняли, за что...

На другой день опять приезжает. И тот же вопрос: «Кто в бога верует?» Ну, понятно, никто не напрашивается. Он кричит: «Почему руки не поднимаете? В бога не верите? Коммунисты?!» И тогда избили уже всех... Все же нам удалось наконец убежать из лагеря. Достали оружие, стали партизанить недалеко от города Столина. Большое было у нас желание поймать гебитс-комиссара, спросить его, верует ли он сам в бога.

Получили мы сведения, что гебитскомиссар уехал в Пинск. Двое суток сидели в засаде, ждали. На третьи сутки едет, гадюка, на двух машинах с охраной. Мы — огонь. Подбили машины,

часть охраны перебили, а один офицер из задней машины выскочил и удирает в лес. «Стой! — кричу, — куда бежишь?» Прицелился из карабина — бах! И немец упал. Подбегаю к нему, гляжу — ранен, поднимает руки и кричит: «Камад... коммунист, камад... коммунист, камад... коммунист, тофариш, тофариш, драй киндер». А уж какой там коммунист. Это та самая гадюка. «Попался, — говорю и задаю вопрос: — В бога веруешь?» — «Нет, нет, коммунист». Беру у него парабеллум, снимаю с пояса кинжал, смотрю, что-то написано на нем, а прочитать не могу. Позвал партизана Семенова, он хорошо говорил по-ихнему, даже переводчиком в лагере был. Прочитал Семенов и говорит: «Это награда, именной — от самого Гитлера получил».

— Ага! Вот что ты заслужил на нашей крови! На! Получай, гадюка...

Казак любил показывать партизанам свой трофей — кинжал, как бы документально подтверждал правильность сказанного: «Вот он, смотрите, это же — фактический факт».

Осенью 1942 года наш отряд вышел в западные области Украины. Максим был вместе со мной и выполнял обязанности моего адъютанта. Смелый, рассудительный и сердечный, он стал для меня самым близким человеком. Я верил ему и был убежден, что он не оставит в трудную минуту. Мы вместе спали, редко в хате, а, как правило, в копне сена или на нагретой кострами земле. Согревали друг друга своими телами. Ели из одного котелка, делили между собой кусок хлеба и глоток воды, щепоть махорки.

Весной 1944 года Максим вместе со мной побывал в Москве, а затем снова был направлен в тыл врага.

Вспоминаю еще один случай из партизанской жизни Максима.

Несколько наших партизанских отрядов летом 1944 года находились в Польше, в Белгорайских и Яновских лесах. Немцы в это время усиленно строили свои укрепления по рекам Висле и Сану. Нам требовалось выяснить характер укреплений. Посылали несколько групп разведчиков, но все возвращались безрезультатно.

Тогда мой заместитель по спецчасти майор Маланин предложил направить в разведку Максима. Выслушав распоряжение, Максим четко отпартовал:

— Задача ясная, разрешите выполнять?

Максим произвел разведку у реки Саи и уточнил обстановку, после чего он решил на восточном берегу оставить тринадцать партизан, которые должны были имитировать, будто хотят устроить переправу, и этим отвлечь на себя внимание немцев. С ос-

тальными двенадцатью разведчиками и двумя проводниками он переправился ночью на западный берег реки Сан и ушел в район между городами Сталев, Воля и Ниски. В этих городах стояли значительные гарнизоны, и немцы жили спокойно, без особой предосторожности разъезжали по дорогам. Они даже и не предполагали, что в этих районах могут появиться партизаны.

Расположившись со своей группой в небольшой роще невдалеке от города Ниски, Максим наблюдал, как свободно разъезжали немецкие машины, повозки, мотоциклы. Но днем останавливать их было опасно: слишком близко город.

День на исходе, люди проголодались, а главное — задание не выполнено. «Что же делать?» — размышлял Максим. Решили взять языка, остановив какую-нибудь машину. Одели одного партизана в форму гестаповца, другого в рваное пальто с длинными рукавами, чтобы можно было в рукаве незаметно держать пистолет. «Конвоир» повел «арестованного» по дороге.

Скоро показалась легковая машина. Партизан в немецкой форме поднял руку. Машина остановилась, из нее вышел немецкий чиновник, очевидно, предположивший, что требуется подвезти гестаповца с арестованным. Но «арестованный» быстро направил пистолет на водителя. Машину без шума загнали в рощу. Оказалось, что везла она почту и, кроме газет и писем, в ней ничего не было: ни нужных документов, ни осведомленного языка. Машину сожгли, а самим пришлось уйти на дорогу между Нисками и Мельцом.

За ночь прошли более пятнадцати километров. Выбрали место в небольшом кустарнике, рядом с дорогой, замаскировались и стали ждать дневного движения.

Во второй половине дня захватили три легковые машины. Однако и на этот раз ценных сведений не получили. Но оставаться в этом районе было уже нельзя: много наделали шума. С часу на час следовало ожидать появления немцев. А до захода солнца еще много времени. Солнце словно остановилось на одном месте и не спешило скрываться за горизонтом.

Партизаны уже собрались уходить. Но в этот момент на дороге показалась легковая машина, идущая на Ниски. Несколько коротких очередей — и машина очутилась в кювете. В ней находились три пьяных офицера и при них два портфеля с документами, картами, схемами. В качестве языка взяли самого толстого — это был капитан, инженер.

Партизаны еще находились около захваченной машины, а со стороны Нисок уже мчались грузовики с гитлеровскими солдатами. Партизанам пришлось отходить с боем. Только наступившая темнота помогла уйти от преследования,

С большим трудом группа добралась до реки Сан. Впереди переправа, нужно переправиться незамеченными, не оставляя никаких следов. Партизаны понимали, что немцы их ищут и не дадут возможности днем переправиться на восточный берег.

Встал вопрос: на чем переправиться? Идти в населенный пункт искать лодки было опасно: почти в каждом селе находились немцы и, кроме того, все лодки были на учете у полицаев. А время ограничено: ночь уже на исходе.

И тут вспомнили партизаны о водных лыжах, на которых переправлялись через множество рек, в том числе через Днепр; Березину, Неман, Припять. Особенно широко мы использовали эти лыжи в 1942 и 1943 годах. Тогда лыжи находились на вооружении наших подрывников и разведчиков. Каждая группа, идя на задание и предполагая водные преграды, брала с собой такие резиновые надувные лыжи. Их носили в сумках из-под противогазов, но за последнее время к ним стали относиться как к лишнему грузу и сейчас ни у кого таких лыж не было. Но выход нашлся. Партизаны подтащили к реке два бревна, к концам которых привязали веревки. Чтобы бревна в воде не переворачивались, поперек бревен привязали несколько дощечек или палок, на них мог лечь человек в одежде с оружием. Бревна затем нужно было подтянуть к противоположному берегу за конец веревки.

Но чтобы наладить переправу, сначала требовалось одному человеку переплыть на другой берег с концом веревки. С этой задачей успешно справился Калиник Басий, парень сильный, смелый, рослый и плечистый. Немецкого капитана пришлось привязать к бревну и таким образом переправить на другой берег. Маленький паром бесшумно скользил по воде.

Капитана и документы, захваченные у немцев, группа Максима доставила на партизанскую базу. Когда разобрались в документах, нашли среди них карты и схемы укреплений нужного района.

Однажды партизанам нашего соединения выпала честь принять и отправить через линию фронта польскую делегацию во главе с генералом Михалом Роля-Жимерским. Это было в конце июня и начале июля и происходило все уже в Польше — в лесах около Радома. Эта операция тоже далась нам нелегко. Ответственность за нее была возложена на командира отряда подполковника В. Пелиха и его заместителя майора В. Маланина. Они должны были связаться с польским партизанским отрядом Граба (поручик Ян Быдерковский), в лагере которого находились делегаты, подыскать посадочную площадку, принять самолет с Большой земли и отправить с ним делегатов — все это в полной тайне от немцев.

Когда Маланин с группой в сорок человек явился в лагерь Граба, генерал проводил смотр польским партизанам. Маланин и своих бойцов построил тут же и, подав команду «смирно», официально доложил генералу, с какой целью они явились. Ролля-Жимерский, как бы продолжая смотр, обошел строй мала-нинской группы, пожал руку каждому из наших партизан и в заключение сказал, улыбаясь:

— А теперь я в вашем распоряжении.

Познакомились наши ребята и с другими делегатами и вместе с ним вернулись в лагерь Пелиха.

Посадочная площадка была выбрана, ориентиры ее и система сигнализации сообщены в Москву — оставалось ждать самолета. Но тут вот и начались трудности. Польских гостей надо было кормить, а у наших партизан в это время с продуктами было трудно. Им уже давно не присылали ничего с Большой земли, а в ближайших населенных пунктах стояли немецкие гарнизоны. Питались партизаны грибами, ягодами да болтушкой из муки, которой, кстати сказать, тоже оставалось немного — приходилось экономить. Держать польских гостей на таком рационе было неудобно. Поначалу Игорь Козырев (он работал у Пелиха начальником радиоузла) выдумал замешивать в котелке жидкое тесто и печь из него блины на обыкновенной лопате. Получалось неплохо, но это был не выход из положения.

Тогда Маланин вызвал неразлучных друзей Аркадия Дмитриева (бывшего моего адъютанта) и Калиника Басия.

— Надо во что бы то ни стало раздобыть продовольствие. Забирайте у немцев или покупайте у крестьян, как сумеете. Вот вам злотые, вот вам марки, вот вам доллары. Возьмите человек десять бойцов, три подводы — и отправляйтесь.

Дмитриев, посоветовавшись с Басием, включил в свою группу нескольких поляков — местных жителей. Они все тут знали и могли узнать при необходимости еще больше от своих родных и знакомых. Именно они и узнали, что в самом Радоме — в казарме — осталось всего два десятка немцев. Очевидно, начальство надеялось, что здесь — в тылу — ничего не случится. Но сами-то солдаты побаивались: днем они не показывали носа из казармы, а на ночь даже залезали в бункер. «Подходящий случай!» — решил Дмитриев.

И вот среди бела дня в Радом с трех сторон ворвались три фурманки с партизанами. Партизаны мчались к казарме, подняв беспорядочную стрельбу. Ошеломленные немцы не оказали сопротивления. Рядом с казармой находилась столовая и продовольственный склад. Все это было уже известно партизанам, а сбить замок со складских дверей и нагрузить фурманки — дело

недолгое. Тем же скорым аллюром, каким и приехали, вырвались партизаны из города, и только подъезжая к лесу, услышали позади стрельбу слохватившихся фашистов.

Так разрешен был продовольственный вопрос. Но главное было впереди — принять самолет. Из Центра сообщили, чтобы мы его ждали 28—29 июня и еще раз проверили место посадки. Маланин и бывший польский летчик Роман снова обошли площадку, расставили охрану, организовали радиосвязь охраны с площадкой. В ночь на 30 июня появился долгожданный самолет. Обменялись сигнальными ракетами, запылали смоляные факелы в руках партизан, обозначающих границы посадочной площадки.

С тяжелым гулом громоздкий транспортный самолет СИ-47 развернулся над поляной, пошел на посадку, подпрыгнул раз другой на земле и — это ведь не легонький «кукурузник»! — беспомощно завяз в ней. Моторы взревели и начали глохнуть.

Из кабины вылез разъяренный летчик — тот самый Степан Римар, с которым в сентябре 1943 года я и Маланин летели на Ровенщину. Увидев Маланина в колеблющемся свете факелов, он не выдержал.

— Ну, паря... в душу!.. растак!.. Кто выбирал площадку?

— Я выбирал. С польским летчиком Романом.

— Сразу видно, что ничего не понимаете в авиации. Это грунт — для «кукурузника», а не для тяжелой машины... Что теперь делать?

— Будем вытаскивать самолет на дорогу. Мы ведь так и рассчитывали, что он на дорогу сядет, а ты взял немного вправо.

— Легко сказать — вытаскивать! Таковую-то громадину!

Это казалось делом трудным, почти невозможным, тем более что ночи в июне короткие, а немецкий гарнизон находился всего в восьми километрах, и там, безусловно, слышали гул мотора. Но партизаны научились преодолевать любые трудности, а крестьяне поработенной Польши в большинстве своем сочувственно относились к партизанам и активно помогали им. Маланин сразу же послал за помощью в ближнее село Зулька-Щацка и, несмотря на ночное время, оттуда явились крестьяне с лошадьми, веревками, досками и жердями. Привязали веревки к шасси самолета, впрягли лошадей, полсотни партизан, как муравьи, облепили шасси — было бы только во что упереться.

— А ну, взяли!

Крылатая машина качнулась и поползла.

— А ну, еще!.. Еще!..

И вот уж самолет твердо стал на дорогу всеми своими колесами.

Римар запустил мотор

— Загружай!

Первыми, как водится, внесли тяжелораненых, и среди них нашего разведчика Николая Матеюка (Капитана Кольку), который первым установил связь с делегатами Крайовой Рады Народовой, его радистку Людмилу Орлеанскую, прозванную у поляков Вевьюркой — Белочкой. Потом вошли Роля-Жимерский, его спутники, и двери закрылись.

Моторы заработали на полную мощность. Машина начала разбег, оторвалась от земли, повисла в воздухе и вдруг начала падать. Падает прямо в рожь, неуклюже накренившись на бок.

Переполох. Все бегут к самолету.

— В чем дело? Все ли целы?

— Люди целы, только ушибы получили, а вот самолет... На высоте в двадцать метров отказали рули. Шасси сломано. Ремонтировать некогда — на востоке, над кромок лес, забрезжил рассвет.

— Разгружай!

Как ни горько сознавать, прахом пошли все труды этой ночи. Разгруженный самолет пришлось взорвать и тотчас же сообщить об этом в Москву.

Как и предполагали партизаны, утром к месту посадки подкатили на машинах фашисты, осмотрели сожженный самолет и, очевидно, успокоились.

А партизанам надо было выбрать новую более надежную посадочную площадку. Нашли ее километрах в восьми от прежней, и в ночь с 4 на 5 июля на ней приземлился самолет Ли-2, пилотируемый майором Пуцаевым и штурманом Беловым. На этот раз обошлось благополучно, хотя для облегчения самолета Пуцаеву пришлось слить лишний бензин, оставить в лагере двух человек из своего экипажа. В конце короткой июльской ночи самолет сделал прощальный круг над поляной и взял курс на восток. А на следующий день мы получили радиogramму из Центра, в которой всему личному составу отряда была объявлена благодарность за выполнение важного правительственного задания.

Эти случаи и вспомнил майор Маланин, когда встал вопрос, кого послать в Чехословакию. Согласились, что выполнение этой задачи можно поручить Максиму. Максима выввали, рассказали, какая перед ним стоит задача, и разрешили ему самому подобрать помощника. Он попросил, чтобы ему дали Казака.

...И вот самолет не вернулся.

В первых числах ноября мы получили радиogramму из московского Центра, в которой сообщалось, что на участке 2-го Украинского фронта через линию фронта на нашу сторону пере-

шел один человек, назвал себя сержантом Владимиром Моисеенко и доложил, что якобы он и еще трое партизан были посланы нашим хозяйством в Чехословакию.

Мы поняли, что это был наш Володька Моисеенко-Казак, сразу передали ответ и просили, чтобы его направили в город Кобрин, где тогда находилась оперативная группа нашего хозяйства. Эта радостная весть быстро облетела наших людей. С нетерпением ждали прибытия Казака, чтобы узнать, как все произошло, где сейчас Максим, где Аня, что с ними.

Через несколько дней прибыл Казак. Он хромал, ходил, опираясь на палочку, сильно похудел, говорил медленно, и уже не было в нем его буйной шутливости. От него мы узнали, что их самолет сбили немецкие истребители недалеко от Кракова, пришлось прыгать на парашютах. Первой выпрыгнула Аня, потом Максим и бортмеханик. Моисеенко покидал самолет последним и видел, как падал их самолет, объятый пламенем.

Володька упал в какой-то ров и сломал ногу. Несмотря на сильную боль он быстро освободился от парашюта, собрал его и присыпал землей.

Ночь была темная, к тому же стоял густой туман. Кругом шла сильная стрельба, до Казака долетали звуки немецкой речи. Ему стало ясно, что он среди врагов, которые загонят его в лагерь. Опять неволя, унижения, побои... «Нет, лучше смерть, чем плен. Пока силы есть, буду пробираться к своим, на восток, через линию фронта». Посмотрел на компас и пополз на восток.

Несколько раз ему пришлось переползать через ямы, окопы. Больная нога не позволяла двигаться быстро, от острой боли бросало в пот, но он продолжал ползти на четвереньках. «На восток, только на восток, к своим...»

Выбившись из сил, он залег в большой и глубокой яме, на дне которой оказалась вода. С жадностью напился и решил немного отдохнуть, собраться с силами.

Здесь застал его день. Оглядевшись, он понял, что находится в большой воронке от авиабомбы, и по всему видно было, что бомба взорвалась недавно, глина и песок были свежи и пахли гарью от взрывчатки. Недалеко от воронки разорвался снаряд, куски глины залетели сюда, Казак осторожно высунул голову из ямы, но в это время над головой просвистели пули, а вскоре он услышал родные русские слова:

— Браток, кто ты будешь?

— Я русский, из Дона-Морозовской, — изо всех сил выкрикнул Володька.

— Держись, мы к тебе немца не допустим, а ночью добираться к нам.

Казак понял, что он находится между линиями фронта, на ничейной земле.

Двое суток пришлось пролежать ему в этой яме. Немцы все время держали его под обстрелом, хотели взять, но наши, в свою очередь, обстреливали немцев, а ночью освещали местность, не допуская их к Казаку.

Нога сильно ныла, хотелось есть, а тут еще с низкого облачного неба принялся безостановочно сеять мелкий холодный дождик. Одежда на Володьке промокла. Ему вспомнился разговор с партизаном Даулеткановым, который говорил, что мусульманам запрещено говорить о погоде, потому что это считается критикой аллаха, но как умолчать, если ты лежишь мокрый, продрогший. Эх, и попало же тогда этому аллаху от нашего Володьки!

Только на третью ночь ему удалось добраться к своим...

О судьбе остальных товарищей он ничего не знал.

Время шло. Красная Армия освободила польскую землю и вела бои на вражеской земле, приближаясь к Берлину.

О Максиме и Ане по-прежнему не было известий. Неужели погибли? Неужели только воспоминания остались об этих народных героях да еще догадки о их гибели?

В первых числах апреля 1945 года письмоносец принес мне почту. Писем было много. Перебираю обычные фронтовые треугольники с номерами полевой почты, с маленькой печатью и штампом «просмотрено военной цензурой». На одном смотрю— фамилия Дмитриева! Неужели от нашего Максима? Торопливо разворачиваю треугольник, читаю. Он, Максим!

Вот что он мне писал:

«Добрый день! Здравствуйте, многоуважаемый дядя Петя!

Сообщаю вам, что я жив и здоров. В настоящее время нахожусь в Советской Армии на 4-м Украинском фронте. Вы, наверно, знаете об аварии самолета, на котором я и Володька Моисеенко вылетели 15 октября 1944 года. Наш самолет сгорел, а меня ранило в обе руки и ногу. Я и сейчас удивляюсь, как тогда остался жив. Пришлось перенести столько, что трудно описать. Когда встретимся, все подробно расскажу.

В настоящее время живу хорошо, все в порядке, правда, пальцы на руке не гнутся, но это ерунда. Скорее бы добить фашистов и поехать домой.

Жму крепко руку. С приветом и почтением ваш Максим.

1/IV-45 г.»

Вот и все письмо.

Каким чудом он остался жив? Что пришлось ему перенести? Об этом ни слова.

Радостную весть, что Максим жив, я сообщил друзьям, а Максиму написал, что жду от него подробностей.

Вскоре он прислал подробное письмо, а после войны даже побывал у меня и своим рассказом дополнил то, что меня интересовало и чего не было в письме.

Вот что я узнал из второго письма и из его рассказа.

Они летели недалеко от Кракова. Вдруг самолет бросило в сторону и охватило пламенем, командир подал команду прыгать.

Открыли двери. Первой прыгнула Аня, за ней Максим, бортмеханик и Моисеенко. И когда раскрылся парашют, Максим видел, как падая горящий самолет. На земле шла стрельба, то и дело ослепительно вспыхивали ракеты. Еще находясь в воздухе, Максим почувствовал, что пули прошли ему руки и ногу. Как только приземлился, его сразу схватили немцы. Отобрали оружие, вещевой мешок, полевую сумку с картой Чехословакии, привели в землянку, и начался так называемый предварительный допрос. Раны не перевязали, просто замотали тряпками, чтобы не капала кровь.

Утром посадили Дмитриева в машину и привезли в какую-то деревню. Когда его ввели во двор, он заметил, что перед сараем стоит Аня, окруженная немецкой охраной. Его подвели к ней, но немецкий переводчик предупредил:

— Если ты этой девушке скажешь хоть слово, будешь расстрелян.

Переводчик и немецкий офицер ушли в хату.

Выждав удобный момент, Максим тихо сказал Ане:

— При первой возможности убегу, если не успеют расстрелять.

Аня кивнула и зашептала:

— Если доберешься к своим, передай подполковнику, который провожал меня на аэродром, что я постараюсь работать у немцев, но буду выполнять то, зачем летела.

Максима опять бросили в машину и повезли в другой населенный пункт, а там впихнули в каменный погреб и оставили без пищи и без медицинской помощи. И только на третьи сутки его привели на допрос.

Немецкий офицер, свободно говоривший по-русски, схватил Максима за ордена на его гимнастерке.

— Прошу не трогать! — твердо сказал Максим. — Наши не снимают с ваших солдат знаки боевых заслуг. Пусть я умру с ними.

После допроса вывели его на улицу к машине. Возле нее стоял бортмеханик с подбитого самолета.

— Знаешь его? — спросил офицер.

Максим хотел сказать, что не знает, но бортмеханик сам предупредил его:

— Знает.

Пришлось подтвердить. Больше никаких вопросов не задавали. Опять отвели в погреб. Это был настоящий каменный гроб, охраняемый часовыми. Лежит Максим на сыром полу, раны ноют, голод терзает. А как хотелось закурить! И ведь в кармане лежат папиросы, хотя поломанные, но все же папиросы. Вот только спичек нет. Впрочем, если бы и были спички, все равно не мог бы закурить. Ведь руки-то забинтованы!

Начал дремать. Чувствует, что-то скользит по ногам. Пригляделся—крысы грызут его ватные брюки, пропитанные кровью. Даже в озноб бросило. Стал кое-как здоровой ногой отгонять крыс, но они не особенно путались. Тогда он с трудом поднялся, прислонился к стене, изрешеченной пулями, залитой кровью и исписанной на разных языках. Пожалуй, впервые за всю войну ему стало жутко.

Допросы продолжались каждый день, били чем попало и куда попало. Когда терял сознание, обливали водой и опять бросали в погреб... И так десять суток находился он в этом подземелье. Приходилось, чтобы не загрызли крысы, спать стоя. Много передумал он за эти страшные десять суток, но мысли о победе не покидали его ни на одно мгновение.

Дмитриев до того был истерзан пытками, что не мог ни говорить, ни ходить. Иногда думалось: «Уж лучше бы расстреляли».

Полуживого привезли его в город Бжеск и положили в госпиталь, размещавшийся в школе. Здесь уже лежал бортмеханик, он был тоже ранен. В палате, куда положили Максима, лежали русские и поляки. Максима раздели, вымыли, накормили. Обе руки у него были забинтованы, сам он не мог есть. Когда ему стало лучше, он попросил товарищей вынуть из его ватных брюк спрятанную орденскую книжку, вырвать первый листок, на котором написаны его имя, отчество, фамилия, номера орденов, а остальное сжечь. Максим полагал, что если его расстреляют, то такие рваные и окровавленные брюки немцы снимать не будут, а когда придут наши, то по этому уцелевшему листу узнают, кто он.

В госпитале Дмитриев пролежал восемь суток. Стал чувствовать себя лучше. Шестого ноября приехали гестаповцы и приказали ему собираться. Товарищи одели его. После очередного допроса в гестапо Максима бросили в тот же самый погреб. И вот, скорчившись, лежит он на сыром полу, одинокий, беспомощный, обреченный.

Ночью с седьмого на восьмое ноября со скрежетом распахнулась дверь подвала. Вошел переводчик, а за ним два солдата с автоматами.

— Собирайся! — сказал переводчик.

— На вопрос?

— Нет, совсем...

— Ну что ж, — сказал Дмитриев. — Пришла и моя очередь умирать за Родину. Но и вам недолго осталось жить.

— Быстрее собирайся! — закричал переводчик.

Вывели Максима во двор. Возле машины стояли четыре гестаповца. Потом привели черноволосую девушку в плюшевом пальто. Посадили в машину, по бокам сели гестаповцы с автоматами, а переводчик — с шофером. Машина тронулась, выехали за город. В голове упорно бьется одна и та же мысль: «Неужели настал твой черед, Максим? Жил, работал честно, воевал, как подобает солдату. Сейчас оборвется твоя жизнь. Ну что ж, если умирать, то гордо».

Девушка в плюшевом пальто все жмется к нему. Несмотря на шум мотора, Максиму кажется, что он слышит биение ее сердца. Она держит себя мужественно, не слышно ни единого ее вздоха.

Ехали больше получаса, завернули в лес, машина остановилась.

— Слезай! — подал команду переводчик.

Слезли. Немцы разделились по два и встали возле них.

Два гестаповца повели вправо от машины девушку, а двое других — Максима в противоположную сторону. Переводчик и водитель остались возле машины.

И вдруг девушка закричала. Немец, сопровождавший Максима, что-то сказал своему напарнику и побежал на крик девушки. Оставшийся немец скомандовал:

— Ложись!

И такая тут злость охватила Максима. Он быстро повернулся к фашисту.

— Стреляй, гад! Советский солдат стоя умирает. — И в это время здоровой ногой со всей силой ударил немца в живот. Тот упал. Максим побежал между деревьями, по лесу, слабо освещенному неполной луной. Вслед раздалась длинная очередь из автомата. Пули просвистели над головой. Максим продолжал бежать. Еще и еще раздавались автоматные очереди, но они становились все глуше и глуше...

Наконец остановился, чтобы перевести дыхание, увидел, что во время бега один сапог потерял, сбросил и второй и снова побежал по лесу, не чувствуя ни корней, ни сучков, ни сосновых

шишек, ни даже боли в раненой ноге. Показалась поляна, перебежал ее и снова очутился в лесу. Остановился, прислушался. Кругом тишина. И снова бежал по густому лесу. На рассвете очутился на опушке, огляделся. Впереди сквозь туман тускло замерцал огонек, чуть виднелись черные контуры деревенских строений и высокий купол костела.

Послышалось пение петуха, какие-то стуки, скрипы. Начался ранний день в деревне.

Теперь привожу страничку из письма Максима:

«Я задумался. От смерти убежал. А куда сейчас податься с забинтованными негнушимися руками, с больной ногой, в которой застряла пуля, голодному, обессилевшему, в чужой стране, языка которой я не знал? Я лег на холодную землю, чтобы немного отдышаться перед тем как дальше идти по лесу: может, встретятся в лесу польские партизаны или хороший человек, который поможет связаться с ними.

Лежал я недолго, услышал голоса, поднял голову, увидел, что по дороге идут два человека в штатской одежде. «Неужели это смерть? — пронеслось в голове. — Что делать? Убежать?» А сил-то нет, трудно подняться.

Смотрю, они спокойно идут себе и разговаривают. Нет, не буду убегать, пойду им навстречу...

Увидев меня, они даже растерялись, но я, как мог, стал объяснять им, кто я. Как после я узнал, одного из них, молодого поляка, звали Виктором. Он меня отвел к своему другу Марьяну на хутор возле деревни Окончи-Горны.

Марьян вымыл меня, дал ботинки и накормил как маленького ребенка, после чего спрятал на чердак. Обещал в этот же день привести из города Бжеска доктора, чтобы тот посмотрел мои раны. Я сказал, что сегодня этого делать нельзя, потому что немцы будут меня искать. Действительно, скоро в селе появились немцы. Они собрали крестьян и объявили, что ночью удрал из-под расстрела крупный большевик. Предупредили, что, если у кого найдут его, то вся семья будет расстреляна, а имущество конфисковано. А кто сообщит, где находится русский, получит награду. На этом собрании присутствовали Виктор и Марьян. После собрания немцы начали искать по дворам в селе, а потом на хуторе.

Когда фашисты искали меня на хуторе, я притаился недалеко от хутора во рву, заросшем кустарником. Немцы ходили возле рва, я их видел.

После того как немцы ушли, я вернулся к Марьяну. Вечером прибыл молодой поляк из Бжеска. Это был доктор. Он осмотрел мои раны, сделал перевязку,

После этого я попросил Марьяна, чтобы он увел меня в большой лес, а там я встречу с партизанами.

Марьян ответил, что сейчас это пока невозможно, потому что я больной. Так в этой семье я находился четверо суток. А после Марьян отвел меня на другой хутор к своему другу Владиславу, который жил возле леса вместе с матерью, шурином и двумя племянницами.

Эта семья больше месяца меня скрывала, лечила, постоянно приходил доктор из Бжеска.

Эти люди, рискуя своей жизнью, спасали жизнь мне — русско-му солдату. А когда я встал на ноги, меня отвели в польский партизанский отряд. В этом отряде я находился недолго. Вскоре в этих местах появился наш советский партизанский отряд, и я перешел в него».

Вот так Максим остался жив.

Война закончилась.

Солдаты возвращались домой, брались за восстановление разрушенных городов, заводов и сел. Вернулся в свой родной Смоленск и Аркадий Максимович Дмитриев. После долгих лет службы в армии, госпиталей и всякого рода приключений вернулся с искалеченными руками, но зато с большим житейским опытом, солдатской закалкой.

Встал вопрос: что делать дальше?

За время службы в армии он научился разбирать, собирать и ремонтировать оружие, неплохо владеть им. Научился рыть окопы, строить землянки, взрывать вражеские поезда, подбивать машины. Теперь нужно было сменить ремесло солдата на мирное ремесло. Надо было заставить и искалеченные руки работать.

«Выйду, посмотрю туда-сюда — кругом развалины и никакого порядка», — писал мне Дмитриев из Смоленска. И вот он в солдатской форме пришел на льнокомбинат. Встал к токарному станку. Долго не ладилось, выскакивали из непослушных пальцев детали. Трудно было поначалу. Но партизанская закалка, сила воли и мужество победили. Аркадий Максимович стал мастером и норму выполнял на сто пятьдесят — двести процентов.

В жизни каждого человека есть события, которые никогда не сглаживаются в памяти. Сколько бы ни прошло времени, где бы ни был, что бы ни делал, но эти события всегда помнятся до мельчайших деталей.

Вот таким памятным событием для Аркадия Дмитриева явилось спасение его польскими крестьянами. Он всегда с глубокой признательностью вспоминал о них. Ему хотелось отблагод-

рить их, но как было это сделать? Он знал имена спасителей, но не знал ни одной фамилии.

Я предложил ему написать в Советское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Он последовал моему совету. Вскоре получил из Москвы ответ:

«Дорогой товарищ Дмитриев!

Ваше письмо представляет большой интерес. Это яркое свидетельство братской дружбы польских людей с нашими советскими людьми.

Я думаю, что мы сделаем так. В Польше выходит советский журнал на польском языке «Страна Советов». Направим Ваше письмо в редакцию и попросим товарищей опубликовать его в журнале. Если кто-либо из Ваших друзей жив, они обязательно откликнутся. О результатах мы Вам сообщим.

С дружеским приветом П. Пронин, заведующий отделом социалистических стран Европы».

А вот ответ, полученный Аркадием из Польши.

«Товарищ Дмитриев!

Ваше письмо мы опубликовали в 15-м номере «Страны Советов». Вот что нам удалось узнать. Вас спасли Млечко Марьян, Серафима, Владислав и семья Струся Франчишка. Они просят связать их с Вами. Они также приглашают Вас к ним в гости...»

Между ними установилась переписка.

Конечно, им надо было встретиться. Но как? Я обратился в Советский комитет ветеранов войны. Там сочувственно отнеслись к моей просьбе. Весной 1961 года мы с Дмитриевым отправились в Польскую Народную Республику в составе делегации Советского комитета защиты мира.

Из Кракова мы на автомашине приехали в небольшой городок Бжеск. О нашем приезде Аркадий Максимович заранее уведомил Марьяна Млечко. Когда машина подошла к райкому партии, Дмитриев вышел из машины и бросился к мужчине, стоявшему у подъезда. Это и был Марьян Млечко. Они долго держали друг друга в объятиях, а рядом стояла молодая женщина, улыбающаяся сквозь слезы радости — его сестра.

Подошел секретарь райкома Юзеф Дусько. Вместе с ними мы потом ходили по городу. Зашли в помещение, где во время оккупации находилось гестапо. Теперь тут больница. Посмотрели камеру, в которой крысы одолевали Аркадия. Маленькая, узкая, как гроб, комната под лестницей, без окон, совершенно темная. Сейчас тут хранят аккумуляторы. Посмотрели и другие комнаты, служившие во время гитлеровской оккупации камерами. До сих пор в некоторых из них сохранились на стенах надписи. Они сделаны карандашом, углем, выцарапаны ногтями: «Тут перед

смертью ночевал Слободян Олекса из Галиции с повета Рогатин деревня Стасева Воля 20 февраля 1944 року». Много надписей на польском и еврейском языках.

Больницу нам показывал главный врач. Мы побывали в тех комнатах, где допрашивали Дмитриева. Теперь в них палаты для больных, операционные, аппаратные. Врач знакомил нас с условиями, в которых находятся больные, показал палаты, оборудование, инструменты. Среди них мы увидели и инструменты, изготовленные в СССР, в Павлове на Оке.

Наш приезд вызвал большой интерес жителей Бжеска. Возле больницы собралось много людей, каждому хотелось посмотреть на русского героя Дмитриева, ушедшего из-под расстрела и спасенного поляками. Начались беседы о минувшей войне, о зверствах немецких фашистов.

— Вот, проше поглядеть, — сказал один пожилой поляк. — Тут в ликарне людей спасают, щобы жили, а при германе тут убивали людей.

Ездили мы и в лес, который местные жители называют Горбатка, куда гестаповцы увезли Дмитриева на расстрел. От пивзавода «Окоцим» поднимались все выше и выше. Горбатка — обширная возвышенность, покрытая смешанным лесом. Теперь это место отдыха горожан. Недалеко от проселочной дороги при въезде в лес протянулась небольшая ложина, окруженная с трех сторон горами. Это место и выбрали фашисты для расстрелов. Сюда были привезены на расстрел Дмитриев и девушка в плюшевом пальто.

К нам подошли три женщины, дома которых находятся около леса, возле Горбатки, и показали, где похоронена расстрелянная девушка. Под высоким дубом — маленький холмик, на котором растет пушистая елочка.

На этой могиле нет никаких надписей. Но эта одинокая могила дорога каждому сердцу. По нашей просьбе секретарь райкома обещал перенести останки неизвестной героини на городское кладбище.

Дмитриева польские друзья приняли как самого близкого, как самого дорогого гостя. Сколько было сказано польскими товарищами хороших, теплых слов о нашей дружбе!

Выступил и Аркадий Максимович.

Я знал, что он не любит говорить долго. И на этот раз он говорил мало. Но глубоко тронула всех его короткая речь, которую он закончил словами:

— Всех нас спаяла боевая дружба в борьбе с немецким фашизмом, а крепче боевой дружбы нет ничего на свете. Пусть эта дружба сохранится навеки!



НА СТОХОДЕ

Холодная февральская ночь 1943 года. Мы возвращаемся с задания. Перед рассветом подъехали к реке Стоход. Ездовой со вздохом произнес:

— Эх, Стоход, Стоход, непутевая река, не могла найти себе повыше берега.

— Здорово сказано. Готовая частушка, Сами выдумали? — спросил Картухин.

— Нет. Это слова Терпливого. Он песню поет, как Стоход несет свои воды в Черное море...

Переехали Стоход. Не случайно она называется Стоходом — сто ходов, не поймешь, где главное русло.

На Полесье вообще реки с низкими берегами, а Стоход в этом отношении особая река. Она сильно разливается весной, осенью и даже в дождливую погоду. Но для нас река Стоход является еще партизанской границей. На правом берегу в селах стоят партизанские заставы, и немцы с малыми силами боятся в этих местах показываться, а националисты даже выпустили листовку, в которой писали: «Стоход для красных партизан — не граница, Езерцы — не столица». Езерцы — это село, расположенное в глубине лесов за Стоходом.

За Стоходом начиналась партизанская зона. Мы свернули на нашу дорогу. Ехавший впереди Петр Василенко остановился, прошелся по дороге, осветил ее фонариком. А затем подошел к нашим саням.

— На дороге свежие следы, не менее десяти саней ехали в сторону наших лагерей. Следов немецких сапог нет. Выслал разведку вперед.

Мы уже хорошо научились опознавать и различать следы немецких сапог. К ним подбивали подошву железными гвоздями с большой головкой, и они оставляли четкий отпечаток на дороге, в поле, лесу.

— Не думаю, чтобы немцы или полицаи осмелились ночью разъезжать по этой дороге, — сказал Картухин.

— Все может быть. На этой же дороге вам устроили ловушку как на «заведующего Советской властью за Стоходом».

— Вообще-то да! — Георгий Митрофанович улыбнулся. — Береженого и бог бережет, говорят люди.

— А Суворов своих солдат поучал, что храбрость и осторожность ездят на одной лошади.

— Это точно.

Тут необходимо сделать маленькое уточнение. Несколько дней назад священник из Червища передал Картухину письмо, в котором было написано: «Заведующему Советской властью за Стоходом майору Картухину. Пишет Вам брат коменданта обзырской полиции. Он поручил мне договориться с Вами о переходе полиции на сторону партизан. Укажите место встречи и время...»

С этим письмом Георгий Митрофанович пришел ко мне. Мы подготовили ответ, указали место встречи, сколько должно присутствовать человек.

Может возникнуть вопрос: «Почему обращались к Картухину?» Во-первых, потому что его хорошо знали на Волыни, Ровенщине и Пинщине. Ему часто приходилось встречаться по нашему поручению с разного рода представителями: с интеллигенцией, помещиками, духовенством, полициями и т. д.

Он больше других подходил по своим данным и умению вести переговоры. Человек видный, сильный, красивый, волевой. Одет всегда аккуратно. Подтянут по-военному. Кожаная куртка красиво лежала на его мощной фигуре, перекрещенная ремнями маузера в деревянной колодке и командирской планшетки. На голове тоже кожаная фуражка. Голос у него властный, говорит коротко и точно. Совсем как комиссар времен гражданской войны.

Обзырская полиция знала майора Картухина еще и потому, что он дважды гонял ее. Конечно, к тому, что комендант полиции просит встречу, мы отнеслись настороженно. Может, немцы с полицией готовят ловушку. Еще бы! Поймать такого видного партизанского командира — давняя мечта гитлеровцев.

Накануне мы взяли под наблюдение место встречи. К утру прибыли немцы и полиция. Они устроили засаду. Хитрость врагов была разгадана. Начался бой. Гитлеровцы, оказавшись под огнем картухинцев, поняли, что их перехитрили партизаны, и отошли за Стоход.

Я вспоминал этот случай, товарищи разговаривали, курили. Прискакал разведчик и доложил, что впереди колонна старшины максовского отряда Терпливого. Везут снаряды. Все стало ясно. А через несколько минут мы догнали эту колонну.

К нам подошел Терпливый с двенадцатилетним Гришкой Неродой, доложил, что везут более сотни неразорвавшихся снарядов с павурского полигона.

— Вторые сутки добираемся... Трудно было собирать снаряды под снегом. Пришлось Гришке бежать в село, просить помощи у крестьян. Спасибо, помогли. Везут на своих лошадях. И дnevать пришлось в лесу, а то по дорогам разъезжают фрицы.

— Мы договорились, что крестьяне довезут снаряды к заставе на Созанке, сгрузят и возвратятся домой.

Подошел Макс. Он обрадованно сказал:

— Здорово, Гришка! — протянул ему руку. — Ты замерз? Садись в мои сани, и скоро будем на базе. Отогреешься, помоешься, а то грязный как трубочист.

— Нет... Я буду с дядьком Федором. Я не замерз. Он поправил на голове ушанку и отвернулся.

— А чего губы синие?

— Мне не холодно.

— О, вижу характер неродовский, — улыбнулся Макс и прижал к себе Гришку.

Я знаю, Макс любит его как родного сына, называя его своим адъютантом. Берет на задания как настоящего партизана. Я глядел на белобрысого, круглолицего коренастого мальчишку

с посиневшими губами и усталыми глазами. Вспомнил своих детей, о судьбе которых ничего не знал с начала войны. Мои мысли от семьи и Гришки Нероды перешли на Терпливого — человека необыкновенного, вышедшего из могилы после расстрела.

Я познакомился с Терпливым в начале декабря 1942 года. Теплым днем, напоминавшим скорее раннюю осень, чем зиму, ехали мы лесной тропой в лагерь отряда Николая Конищука. Туманы вставали над болотами, клубились над лесом, и солнце уже не могло пробиться сквозь их пелену. На голых деревьях трепетали редкие желтые листья, и только ели стали как будто еще гуще, еще зеленее. Лес бесшумен и спокоен. И человек в такое время тоже спокоен. Мы молчим. Только копыта лошадей мягко стучат по дороге.

Моя гнедая Ванка насторожила уши и чуть-чуть убавила шаг. Это предупреждение. Животное слышит лучше, чем человек.

Я придерживаю лошадь, ехавшие за мной тоже останавливаются. И тогда слышится далекий человеческий голос.

— Кто-то плачет, — сказал Анищенко. — Но кто может быть в этой трущобе?

— Посмотрим.

Я пустил лошадь рысью. Вскоре даже через топот копыт стало ясно, что это не плач, а песня.

— Да ведь это Терпливый, — узнал Василенко.

Выехали на высотку, на открытое место. Туман здесь был пореже, и сквозь него мы увидели лошадь, привязанную к дереву, и самого певца, стоявшего с обнаженной головой над могильным холмиком. Мягкий и звучный тенор его выводил грустную, берушую за душу мелодию.

Мы как по команде сняли шапки, но не подъехали, не осмелились нарушить его одиночество... Что он пел до этого, мы не знали, но теперь ясно слышались слова...

Сонце сходьть — я журюся,
А заходьть — плачу,
Що я тебе, мий братьку,
Бильше вже не бачу.

И не бачу, и не чую
Твий голос миленький,
Як ты клыкав быты нимців
За край наш ридненький.

Прощай, братэ Иванэ,
Згынув ты героем,
И згадають тэбэ люды
Добрым, щырым словом...

Мы проехали дальше, так и не окликнув, не потревожив певца. Василенко вполголоса сказал:

— Он тут схоронил побратимов: Ивана Нероду и Франека Мазурека. Они погибли при ликвидации партизанами фашистского гарнизона в местечке Карасина... Иван, тяжело раненный, лежа на подводе, перед смертью попросил Терпливого:

— Дядьку Федор! Спойте мне песню, мне умереть легче будет и в земле лежать легче... — Терпливый пел. И вот теперь поет. Эту песню после Ивановой смерти он сам сочинил. О Франеке тоже поет.

Глухо стучали копыта лошадей, а за нашими спинами лилась уже другая песня, и дрожали в ней слезы великой любви и великого горя. Терпливый пел не только для своих погибших друзей и не только о них. Он пел обо всем народе, о его бедствиях и надеждах.

Ехавший со мной рядом Сильвестр Миткалик сказал:

— А вы знаете, что Федор вылез из могилы?

— Как вылез из могилы?

— Это длинная история.

На следующий день в отряде Макса я познакомился с Федором Карпенко — Терпливым и узнал, что в селе Гуливка Маневичского района на Волини жили два соседа: украинец Федор Карпенко и поляк Франек Мазурек. Оба молодые, сильные. Федор среднего роста, коренастый, с добрым улыбающимся лицом, любитель поговорить, пошутить и особенно попеть, а песен знал он множество. Франек высокий, широкоплечий, с крупными чертами лица, черноглазый, молчаливый, задумчивый, бесстрашный и тоже большой любитель песен, хотя голосом был небогат. Каждый имел небольшое хозяйство, которое не могло обеспечить их семьи. Вместе им приходилось ходить на заработки к помещикам и на лесоразработки. Вместе боролись они против польских помещиков и богатеев. Вместе стали коммунистами: Карпенко членом Коммунистической партии Западной Украины, а Мазурек — Польской коммунистической партии. А после освобождения Западной Украины вместе создавали колхоз, оба были членами правления и оба нажили себе врагов среди богатеев, особенно в лице голливского попа Пестрака и его сына Андрея-семинариста, который готовился к вступлению в «святую сан». Когда распределяли помещичью землю, отрезали порядочный кусок и у священника Пестрака.

Конечно, ни старый Пестрак, ни его сын Андрей не хотели смириться с новой жизнью, они боролись против нее, используя при этом проверенный иезуитский метод: говорили одно, а делали другое. Попович Андрей «включился» в общественную рабо-

ту, участвовал в самодеятельности, выступал с докладами перед молодежью, помогал участковому милиционеру Николаю Кольченко в борьбе с нарушителями общественного порядка, являлся правой рукой заведующего клубом Петра Ковальчука.

А через некоторое время в Маневичском районе заговорили о зверском убийстве милиционера Николая Кольченко. Убийцами оказались попович Андрей Пестрак и Петр Ковальчук — члены организации украинских националистов.

Это было только началом их преступлений. Когда немцы оккупировали Волынь, Андрей Пестрак дал клятву на верность служения гитлеровцам в борьбе с коммунизмом. Его назначили комендантом голивской полиции. Вместе с отцом они расправились в Гуливке с теми, кто боролся за новую жизнь, кто отбирал землю, создавал колхоз, они убивали коммунистов, советских активистов, воинов Красной Армии, выходящих из окружения, раненых, не успевших эвакуироваться. Не было дня, чтобы не разносились плач, крики по селу от бесчинства поповича и его банды — полицейских.

Хотя Пестраки и ненавидели Франека Мазурека и Федора Карпенко, но пока трогать их боялись. Они знали, что с этими мужественными людьми не так легко расправиться, и ждали удобного случая.

Однажды приехали в Гуливку за продуктами пять немецких жандармов. Жандармов пригласил к себе на обед поп. Во время обеда он восхвалял гитлеровский «новый порядок». На обеде присутствовал и его сын Андрей Пестрак. Он тоже хвалил немцев, но пожаловался, как ему трудно выполнять приказы немецких властей. В селе есть люди, которые не хотят признавать «новый порядок», особенно активно сопротивляются два коммуниста: Карпенко и Мазурек. Попович рассчитывал, что жандармы арестуют их. Но немцы начали упрекать коменданта полиции, почему он до сих пор не арестовал коммунистов и не отправил их в ковельское гестапо. Потребовали, чтобы он сейчас же привел их сюда.

Андрей Пестрак взял с собой двух полицейских и направился к дому Франека Мазурека. Но Франек был начеку, он знал, что рано или поздно за ним придут, поэтому приберег автомат и гранаты. Заметив Пестрака с полицейскими, он выскочил из хаты во двор и скрылся в риге. Залез на самый верх, под крышу, на необмолоченный ячмень, и стал наблюдать за происходящим на улице в щель. Он видел, как полицейские зашли в хату, потом начали искать в сарае, во дворе, зашли в ригу: перевернули мешки, бочки, разбросали солому, но их поиски были безрезультатны. Тогда комендант приказал одному полицейскому подняться на самый

верх ячменной кучи. Полицай поставил лестницу и начал медленно подниматься наверх, держа в одной руке пистолет, и... вдруг полетел вниз.

— Он тут сидит!

Франеку приказали слезть, угрожая в противном случае открыть огонь. Мазурек молчал, он не собирался сдаваться. Сколько ни уговаривали полицай, но Франек продолжал молчать. Тогда Пестрак приказал полицаям лезть за «преступником». Полицай полезли вверх по лестнице, а Пестрак с автоматом стоял внизу. И вдруг раздалась автоматная очередь. Полицай полетели вниз, Пестрак и полицейский выскочили из риги и бросились бежать. Франек дал еще одну очередь по бегущим. Полицай растянулся на земле, а Пестрак захромал и скрылся в хате Федора Карпенко.

— Дядьку Карпенко, — заголосил он, — не пускайте в хату Мазурека, он убьет меня.

Федор вышел во двор, начал уговаривать Франека, чтобы тот оставил в покое поповича. Тут же выбежала с плачем жена Франека, сестры, стали умолять его успокоиться, пожалеть их и детей. Мазурек с обидой взглянул на своего друга Федора.

— Гадюку ховаешь в хате, жалеешь... Знай, что предателю и гадюке верить нельзя... Запомни мои слова!

После этого Мазурек направился к дому попа. Стрельба всполошила пьяных жандармов и полицаяев. Они выбежали на улицу, но, увидев идущего с автоматом Мазурека, скрылись, потом немцы сели в машину и укатили в Павурск.

Для Франека Мазурека было неожиданностью, что в селе немцы. Он собрал родственников полицаяев, попа, старосту и предупредил: если что случится с его семьей, пусть пеняют на себя, пощады не будет. Затем вернулся домой, попрощался с семьей, взял хлеба и ушел в лес.

Франек был прав. Через несколько дней Пестрак арестовал Федора Карпенко и отправил его в ковельскую тюрьму. Жена Федора несколько раз ходила к Пестракам с просьбой об освобождении мужа из тюрьмы, напоминала обещание молодого Пестрака, который клялся, что никогда не забудет того, кто спас ему жизнь и перевязывал рану.

— Немецкий суд справедлив, разберется, — отвечал комендант Пестрак, а старый Пестрак все валил на бога.

— Господь бог милостив, во всем его божья воля,

Фашистский суд недолгий. Федора Карпенко приговорили к расстрелу. Его и несколько человек, осужденных на казнь, загнули в крытую машину и вывезли за город Ковель в урочище

Горка. Там уже группа военнопленных копала яму. Гитлеровцы с собаками окружили смертников. Когда ров был готов, подвели первую партию приговоренных. Их было около тридцати человек. Построили лицом к яме, руки приказали держать сзади. Вторая партия, куда входил Федор Карпенко, стояла в стороне, наблюдала, как будут убивать их товарищей. На вышке, возле триангуляционной вышки, стояли родные и близкие приговоренных к смерти. Среди них Федор видел свою жену,

— Файер! — крикнул немецкий офицер.

Раздался треск автоматной очереди, и люди свалились в яму. К ним никто не подходил, а сразу подвели вторую группу. Федор видел, как в яме умирали люди: стонали, шевелились. И тут у него возникла мысль, а что, если свалиться в яму в тот момент, как только офицер крикнет «файер». Он так и сделал. Услышав команду, Федор свалился в яму на трупы. Никто этого не заметил, да и трудно было заметить: разница была в какой-нибудь доле секунды. И все же одна пуля обожгла шею, к счастью, не повредив крупных кровеносных сосудов.

Федор прополз по трупам к самой стенке рва и затаился неподвижно. Наверху стреляли. Он слышал выстрелы, крики, стоны. Его придавило мертвыми телами. Он чувствовал, как по его лицу, рукам текла теплая кровь. Потом посыпалась земля, песок. Дышать стало тяжело, и он потерял сознание.

Карпенко пришел в себя. Он дрожал. Яркой вспышкой в памяти возникло все, что с ним произошло. Он в могиле! Сердце забилось сильными напряженными толчками: жив! Он напрягает руки — целы руки! Упирается ногами — целы ноги! Расправляет плечи. Тяжелый, холодный груз поддается. Немного приподнялся, отодвинулся от стенки. Еще немного... еще... еще...

Сверху осыпается земля. Воздуха становится больше. Федор приподнимается, разгребает землю, протискивается кверху, к воздуху! Вот голова Федора высунулась из могилы, и он открывает глаза. Стоит тихая ночь: все небо усеяно яркими звездами, луна освещает поле. Федор видит горку и вышку, под которой они стояли перед расстрелом. Дышать стало легче, но в голове стучит тупая, ноющая боль. Земля все еще держит, как будто смерть не хочет выпустить свою жертву. Федор с трудом освобождает одну, другую руку, упирается в землю, освобождает плечи.

Песок осыпается. Вот уже и грудь на свободе...

Выбрался Федор из могилы, прислушался — кругом тишина, только на станции Ковель раздавались паровозные гудки, а где-то далеко завывала собака. Это были единственно живые голоса среди мертвой ночной тишины.

Доброел Федор до ближайшей деревни, постучался в знакомую хату. Женский голос окликнул из-за двери:

— Кто там?

— Я, Федор Карпенко.

Хозяйка не поверила. Она уже слышала, что его расстреляли. А когда открыла дверь, то испугалась еще больше. Федор стоял весь в крови, в земле. Как вошел в хату, так и рухнул у порога.

— Это я... Я — живой.

И рассказал женщине обо всем, что с ним произошло.

— Ой, терпеливый же ты, Федор, — охала хозяйка.

На вторую ночь Карпенко, крадучись за деревьями, строениями, по огородам подошел к своему дому. Осторожно, тихо, как это делал обычно, постучал в окно. Жена подошла к сенным дверям, притаилась.

— Открывай. Это я — Федор!

— Какой Федор?

— Муж твой. Открывай!

Но жена быстро возвратилась в хату, и Федор услышал, как закрылась на замок комнатная дверь. Он опять постучал в окно, но дверь не открывалась. Не верит, что он жив. Пойти к Мазу-рекам? На его стук подошла к окну жена Франека.

Когда он назвался, она отбежала от окна и больше не отзывалась.

Карпенко не знал, что ему делать: идти к другим соседям — опасно, могут заметить его и донести в полицию, а там опять арест, гестапо, тюрьмы... Нет. Он больше не собирается попадать в грязные лапы гестапо.

Зашел в сарай к корове, погладил ее, она ответила мягким «му-у» и лизнула руку шершавым языком. Признала хозяина. Даже легче стало на сердце. Решил ждать в сарае до утра. Нашупал лопату в углу. Под кормушкой откопал винтовку с патронами, которую он припрятал в начале войны. «Теперь так вы меня не возьмете, научили!» Он присел в угол возле дверей, начал дремать, но, услышав что кто-то крадется по двору, тихонько взял железные вилы, подошел к щели и в темноте увидел знакомую фигуру Франека с автоматом.

— Франек!

— Кто это?

— Федор!

— Какой Федор?

— Сосед твой, Карпенко.

— Карпенко расстреляли.

— Нет. Я живой. Я вышел из могилы. Смотри! Жена тоже не верит, не пускает в хату.

По просьбе Франека жена Федора открыла дверь, но, увидав мужа, ойкнула; зашаталась и потеряла сознание. Привели ее в чувство. Но времени на разговоры не было.

— Надо спешить, — сказал Франек.

Жена быстро собрала в дорогу торбу с едой, и к рассвету они уже были в лесу. Так возникла партизанская группа Франека Мазурека, которая позже присоединилась к отряду Макса. У Федора Карпенко появилась партизанская кличка Терпливый.

В отряде Макса Терпливому приходилось выполнять разные обязанности: он был рядовым, потом командиром диверсионно-разведывательной группы, а теперь — старшина отряда. Но всегда он оставался таким же спокойным, жизнерадостным, мягким, сердечным и внимательным к людям. К порученному делу относился со всей серьезностью, можно сказать, с любовью. По-прежнему любил песни.

Мне не раз приходилось быть свидетелем такой картины. Землянка. Тускло горят масляные светлячки в снарядных гильзах. В железной печке потрескивают дрова. Партизаны кто лежит на нарах в раздумье, заложив руки за голову, кто чистит оружие или чинит свою одежду. Терпливый подходит к печке, бросает в нее несколько поленьев. Садится на нары и тихо начинает какую-нибудь песню. К нему подсаживается Макс, страстный любитель пения. Подходят другие партизаны. Поют вполголоса, но так красиво и душевно, что заслушаешься. А пели разные песни: от наших партизанских, лирических, до частушек. Но у каждого из поющих была своя любимая песня. У Терпливого вот эта:

Сонце низенько, вечер близенько,
Спишу до тебе, мое серденько.

Он пел не хуже Козловского и так, что сразу возникали воспоминания о встречах с любимой в молодости.

Макс обязательно пел:

За золото счастье не купишь,
А серденько можно сгубить.

Василий Рыбалко не уйдет до тех пор, пока не споет:

По-пид гаем зелененьким,
Брала вдова лени дрибенький.

На нарах двенадцатилетний Гришка Нерода свернулся калачиком, похрапывает. Я знаю, что ему утром вместе с дядьком Терпливым надо ехать за снарядами. Он — правая рука старшины, можно сказать даже — главный разведчик. Подъезжают партизаны к населенному пункту и не знают, есть в нем

противник или путь свободен, можно ехать дальше. Нужна разведка. И Гришка на одноконке с сеном или хворостом едет в село как обыкновенный сельский хлопчик. Если нет противника, он подает условный сигнал — путь свободен, и партизаны продолжают движение. А если грозит опасность, он тоже сигнализирует, и тогда приходится объезжать этот населенный пункт.

Так было и на этот раз, в воскресный день конца февраля 1943 года. Терпливый возвращался с подводами, груженными снарядами. Миновали все опасные места. Добрались до села Лищевки, которое находилось в партизанской зоне. Но застав в селе не было, они стояли рядом в селе Гриве и на Созанке.

День был теплый, солнечный. В селе справляли две свадьбы. Играла музыка. Подвода, на которой сидели Терпливый, Гришка и два партизана — Маломедик и Морозов, — замыкала колонну. Проезжали по улице в то время, когда из церкви повалил народ. Лищевский священник увидел Терпливого:

— Здравствуй, Федор! — Они знали друг друга. — Почему не заходишь к нам?

Слово за слово, хитрый батюшка пригласил партизан в гости. Терпливый, ничего не подозревая, отправил колонну со снарядами, а сам вместе с Маломедиком и Гришкой пошли к попу.

Поп рассыпался мелким бесом, вспоминая, с каким наслаждением он слушал голос Терпливого, когда тот пел в церковном хоре. Пригласил пообедать, а когда партизаны сели за стол, хозяин послал своего человека в трояновскую полицию.

Обед кончился, а поп все еще занимал Терпливого разговорами, все задерживал его под разными предлогами. Маломедик вышел на крыльцо, Морозов и Гришка пошли к лошадям. В это время более двадцати переодетых полицейских подоברались к поповскому дому. На крыльце схватились с Маломедиком четыре полицейских, и он был убит выстрелом в спину. Терпливый выскочил во двор, был ранен, и, видя, что ему не отбиться от врагов, взорвал себя гранатой.

Стрельбу слышали на нашей заставе в Созанке. Борис Гиндин со взводом партизан через полчаса был в Лещевке и все-таки опоздал. Навстречу ему на повозке везли два трупа. Полицейских в Лещевке уже не застали. Сделав свое черное дело, они сразу же уехали в Трояновку, а с ними вместе и предатель-поп. Но люди показали на парня, который привел полицию. Он как ни в чем не бывало гулял на свадьбе.

Борис Гиндин собрал людей, объявил приговор, и тут же предатель был расстрелян.

Терпливого хоронили с воинскими почестями. И у меня не выходил из головы образ человека, вышедшего из могилы, мно-

го перестрадавшего, но сохранившего столько любви к людям, человека с детским сердцем. Горько терять боевых друзей, очень тяжело и горько, но вдвойне горше сознавать, что погибли они по неосторожности, по доверчивости.

Прозвучали выстрелы салюта. Партизаны стояли возле свежей могилы, и вдруг раздался голос Макса, он запел песню Терпливого:

На просторах Полесья, Воляни
Загорелась красная звезда,
Подымайтесь, други, громадой
Против царства фашистского зла...

С тяжелой грустью уходили партизаны от братской могилы Федора Карпенко-Терпливого и Иосифа Маломедика. С поникшей головой возвращался Гришка Нерода. Он навсегда расстался с дядькой Федором.

Рядом со мной шел Макс. Он снял черную кепку, пятерней пригладил свою русую шевелюру, надел кепку, вздохнул и обратился ко мне:

— Дядя Петя! Я должен сказать, что нашему Гришке везет, и на этот раз остался жив... Чудо... Счастливый!

— Учиться бы ему, ходить в школу, беззаботно играть с такими же ребятами, а ему приходится переносить тяжести партизанской жизни, подвергаться опасностям, ходить в разведку, на диверсии. Беречь надо мальчика.

— Вы же знаете характер Неродов — они упрямы. Не так-то легко уговорить Гришку. Пристанет и будет ходить за мной. До слез будет твердить одно и то же: «Пошлите на задание». Вот и сегодня напросился идти с группой Земскова. — Макс взглянул на меня.

— Имею ли я моральное право отказывать Гришке? Вы же знаете о судьбе семьи Неродов.

Макс тяжело вздохнул. Вынул кисет с самосадом и протянул мне. Мы свернули цыгарки и закурили. Макс глубоко затянулся дымом, закашлялся, вытер слезы и сказал:

— Хочу рассказать вам один случай. Я сам повел группу на задание, взял с собой Гришку. На перегоне Павурск—Маневичи мы с Гришкой заложили под рельсы мину, замаскировали, отошли в кусты, лежим и ждем поезда. Гришка рядом со мной, он будет тянуть за шнур. Ждать пришлось недолго. Показался поезд на Ясную Хомру с пассажирскими вагонами и платформами, закрытыми брезентом. Знаете сами, какое бывает в таких случаях состояние: сердце застучало, дышится тяжело, на лбу появился пот. Я гляжу на Гришку. Он спокоен, рот раскрыт,

а глазенки так и блестят. Вот паровоз уже на mine. «Тяни!» — команду.

Он сильно дернул шнур. Раздался взрыв. Паровоз повалился на бок, вагоны и платформы с танками полетели под откос. Гришка вскочил на ноги, крича: «Это вам, гады, за маму!»

Знаете, он это так сильно сказал, что его голос долго не выходил из моей головы. На базу возвращался Гришка вдохновенный, гордый. Мне показалось, что и походка у него изменилась. Он лихо сдвинул фуражку набок, лицо его сияло. Чувствовалось, что он доволен тем, что сумел отомстить врагу за то горе и страдания, которые принесли фашисты его родным и ему. Гришка после этой операции повзрослел, стал серьезней.

Макс опять вынул кисет. Мы закурили. Он сказал:

— Да, ясна холера... Вообще все наши ребята бедовые...

— Согласен с вами. Мальчишки — загадочный народ, с ними надо ухо держать востро, — поддержал я Макса. — Мне один такой же мальчишка, как Гришка, преподавал урок гражданственности. Между прочим, во многом даже похож на Гришку, такой же круглолицый, белобрысый, голубоглазый, такой же упрямый, только курносый, и все лицо усыпано веснушками.

Было это осенью 1941 года в дождливый ненастный день, на партизанскую заставу пришел весь промокший одиннадцатилетний мальчик. Он назвался Ваней Ковалевым и заявил, что пришел в партизаны. Я сказал Ване, что детей не берем в отряд. Война — это не детское дело, и посоветовал ему идти домой. Мальчик мои слова принял с обидой и, смело глядя мне в глаза, ответил: «По-вашему, Родину защищать должны только взрослые, а не все? Я же пионер!»

— И мне, как бывшему комиссару, стало неудобно: как я мог забыть самое главное, что защита Отечества — дело всех граждан. И вот Ваня Ковалев напомнил мне об этом. Взяли мы Ваню в отряд и не ошиблись, и, знаешь, он оказался дельным, сообразительным, наблюдательным разведчиком, а память у него была отменная. Он был связным между нами. Ваня по заданию партизан переходил линию фронта и возвращался обратно. Вот вам пионер Ваня Ковалев.

— Где теперь он? — спросил Макс.

— В мае 1942 года мы из Витебщины решили выйти в Полесье, ближе к важнейшим железнодорожным узлам — Барановичскому, Брестскому и Лунинскому. Взять Ваню в этот трудный рейд мы не решились, к тому же он заболел. Оставили Ваню в отрядах Константина Заслонова.

— Выходит, что мы не всегда понимаем детей. Мне кажется, что зрелость — это не только возрастное понятие. Обстановка

и среда делают и детей взрослыми. Вот наш Гришка в свои двенадцать лет пережил столько, что хватило бы на всю жизнь.— Макс замолчал.

— Вы правы. Не зря на войне один год приравнивается к трем годам, а партизаны в гражданскую войну засчитывали один год за четыре.

— Значит, нашему Гришке уже почти семнадцать лет. Парубок,— Макс улыбнулся. — А все говорите, чтобы я не посылал его на задания. Однажды он пожаловался, что не знает немецкого языка: «Вот знал бы я немецкий, сколько можно разузнать их тайн», — сказал он. Я посоветовал ему садиться за учебник. Но Гришка серьезно взглянул на меня:

— Теперь нет времени. Надо бить гадов. Они насолили мне вот! — Он провел рукой над головой. — Бешеные собаки!

— Да. Неродам они действительно насолили,— сказал я.

— Вообще, дядя Петя, Гришка у нас герой. Он и разведчик, и подрывник. Участвовал в подрыве четырех эшелонов и двух железнодорожных мостов. Он любимец у партизан. Они берегут его, — закончил Макс.

После похорон боевых товарищей я остался в отряде Макса заночевать и был свидетелем того, что вечером, когда солнце скрылось за лесом, группа партизан под командой Василия Земскова уходила на задание. Они построились перед штабной землянкой — семь человек с вещмешками, на левом фланге Гришка Нерода тоже с вещевым мешком за плечами, у каждого мина в вещмешке, у Гришки самая маленькая — пятикилограммовая.

Старший сержант Земсков, бывший пограничник, доложил Максиму о готовности группы к выполнению боевого задания. Краткий инструктаж, прощание — и группа двинулась по лесной дороге, впереди с автоматом на груди Земсков, замыкающим Гришка. Я стоял на дороге до тех пор, пока партизаны не свернули в сторону и не скрылись в темноте леса.

Вернулся я в землянку. Лег на нары рядом с Максом. Он быстро захрапел. А у меня перед глазами все стояло усталое, загрубевшее от ветра лицо Гришки. Вспомнились его рассказы о своих родителях.

— У нас была большая и дружная семья: семь братьев и две сестры. Отец мой украинец, а мать полька. Жили бедно, но честно. Своей земли было мало, приходилось подрабатывать то у помещика, то у кулака, то на лесоразработках. Жили мы в селе Набруски Камень-Каширского района. Мы настоящие полищуки...

Из рассказов мне было ясно, что Нероды никогда не были покорными рабами. Они не мирились ни с помещичьей кабалой,

ни с белопольской оккупацией Западной Украины. Старшие братья Гришки — Никита и Максим — были членами Коммунистической партии Украины, Александр, Владимир и Иван — комсомольцами.

А когда в сентябре 1939 года Западная Украина была освобождена Красной Армией от белопольской оккупации, установилась там Советская власть. Она принесла Неродам счастье. Борис, Гришка пошли в школу учиться, надели красные галстуки.

Нероды были инициаторами создания в Набрусках колхоза. Председателем избрали Никиту, Максим стал лесником, Александр выучился на шофера, Владимира призвали в Красную Армию. Остальные работали в колхозе. Радовались новой жизни, готовились собирать хороший урожай.

Но вот пришли немецкие захватчики. Они вместе с предателями-националистами начали расправляться с коммунистами, советскими активистами и их семьями. Нероды были занесены в черный список первыми, фашистские прихвостни ждали лишь удобного момента, чтобы сразу всех схватить. С первых же дней гитлеровской оккупации Максим, Никита, Александр и Иван перешли на нелегальное положение. И остальные члены семьи были настороже.

Полиции арестовали Ивана и Максима. Владимир вернулся домой после побега из плена, в который попал под Орлом тяжело раненным. Продолжал лечиться дома.

Александр удалось освободить Ивана. Он загримировался, достал поддельные документы и зашел в обзырскую полицию, где сидел Иван, в такое время, когда полиция уходила на обед и в полицейском участке оставался только один дежурный. Подойдя к дежурному, он сказал:

— Я к коменданту полиции, вот мой документ.

Дежурный полицейский нагнулся, начал глядеть в документ, Александр так стукнул его, что тот сразу оказался без сознания на полу. Александр быстро открыл ящик, взял ключи, открыл камеру, где находился Иван, они вместе затащили полицейского в камеру, всунули ему тряпку в рот, связали руки, взяли пистолет, закрыли на замок камеру и скрылись.

Но вскоре дом Неродов был окружен обзырской полицией. Полиция все перевернула в хате и во дворе. Ничего не найдя, начали допрашивать родителей. Как этот допрос проходил, нам рассказал Гришка, он был свидетелем.

— Куда дели Ивана? — спросил комендант полиции отца.

— Не знаю. Он у вас сидит в тюрьме, — ответил отец. Он и в самом деле ничего не знал и теперь только догадывался, что он убежал.

— И про Александра ничего не знаешь?
— Знаю, он служит в Ровно шофером.
— Когда приходил домой?
— Он не приходил. Вы же знаете, что он живет отдельно с женой.

Не добившись ничего, комендант стал бить отца. Коменданту помогали полицейши. Мать подняла крик:

— Что вы делаете, ироды проклятые!

Гришка тоже бросился к отцу, но его схватил за шиворот полицейши и отбросил в сторону.

После допроса отца, мать и братьев Максима и Владимира увезли в Обзыр. Дома остался один Гришка. Видимо, оставили его для приманки. Но этого тогда Гришка не мог знать. Все хозяйство лежало на нем. Он ухаживал за лошастью, коровой, поросятами и домашней птицей, навещал родителей, возил передачи им. И самому спать в хате было страшновато, но он не расставался со своим другом Равчиком, собакой, которая не отходила от Гришки, как бы понимала то горе, что выпало на долю Неродов. Они ласкали его, баловали, поощряли куском хлеба, мясной косточкой, а теперь остался один Гришка, гладит, разговаривает с ним, в хату пускает. Равчик сопровождает Гришку, лижет ему руки. А оставшись один, садится возле дверей хаты и воет.

На второй день после ареста родителей Иван передал через одного мальчишку, чтобы Гришка приехал в лес в урочище Гай за хворостом и захватил хлеба, сала и его пиджак.

Гришка побывал в лесу, встретился с Иваном. Тот рассказал ему, как себя вести, ничего никому не говорить. На ночь брать в хату Равчика, закрывать двери на засов. Назначил место следующей встречи, но велел быть осторожным, чтобы не выследили предатели, куда он ходит и ездит. Гришка внимательно слушал брата и молчал.

— Чего ты молчишь? — не выдержал Иван.

— А что говорить. Не маленький, сам понимаю...

Почти каждый день Гришка доставлял передачи родителям и братьям. Первые дни полицейши брал узелки от Гришки, просматривал и уносил, к родителям не пропускал. Однажды Гришку полицейши встретил «приветливо», как старого знакомого и спросил:

— Как живешь один, не страшно?

Полицейши начал расспрашивать, кто помогает ему, когда виделся с Иваном. Не желает ли встретиться с отцом, матерью и разрешил Гришке зайти в камеру. Мать, увидав сына, бросилась к нему, прижала к груди и горько заплакала.

— Ой, дитятко мое!..

Отец лежал на полу, не поднимался, только тяжело вздохнул и тихо сказал:

— Не плачь, мать, не надо. Дитя не слез твоих ждет... Возьми корзинку.

Мать взяла корзинку, вынула кастрюльки, развязала узелок с хлебом, начала кормить отца. Он с трудом ел.

— Вот что эти проклятые ироды сделали с ним, чтоб их гром побил...

Гришка глядел на отца, сильно постаревшего, с синяками на лице, с опухшими губами, выбитыми зубами. Он спросил Гришку о хозяйстве, о том, был ли Иван, что слышно про Александра...

Больше часа находился Гришка с родителями. Открылась дверь и полицейский сказал, что время свидания кончилось. Мать обняла сына, обливаясь слезами:

— Чует мое сердце, что не увижу своих деток.

Отец молчал, Гришка наклонился к нему, поцеловал руку, отец мягко погладил его по русой голове. Гришка вышел из камеры.

— Пошли к пану коменданту, — сказал полицейский.

Зашли в комнату, за столом сидел комендант, тот самый, что приезжал арестовывать родителей.

— Видел родителей? — спросил комендант.

— Видел.

— О чем говорили, что тебя спрашивали?

— Говорили о хозяйстве, спрашивали, как я живу.

— Про Ивана спрашивали или ты сам рассказал им, что встречался с ним?

— Я не видел Ивана, он не приходил домой. Он сидит у вас в тюрьме.

— Не хитри. Знаешь же, что Иван сбежал. За что и арестовали родителей. Ты хочешь, чтобы они вернулись домой?

— Хочу.

— Вот придет Иван сюда в полицию, и мы выпустим родителей.

— Добре. Как увижу Ивана, скажу ему.

— А где твоя сестра Мелания и Борис?

— Не знаю. Они домой не приходили.

— А не хитришь ты, паренек?

— Вот крест святой, что нет...

— Верю тебе.

Комендант вынул из ящика кусок шоколада, дал Гришке, посочувствовал, что ему, малышу, приходится страдать за необдуманный поступок Ивана...

Посадил Гришку возле себя и ласково говорил с ним. Но Гришка уже знал «полицейские ласки». Он только что видел избитого отца и держал в руке шоколадку, которая становилась мягкой, ее так и хотелось выбросить и помыть руки. Наконец комендант сказал:

— Итак, мы договорились с тобой, что ты скажешь, где находится Иван...

Гришка вышел от коменданта, сел на воз, вытер руку от шоколада и поехал домой. На лесной дороге его ждал Иван. Выслушав Гришкин рассказ о родителях и разговоре с комендантом, сказал:

— Будь осторожен, не проговорись. Предателям верить нельзя.

Гришка обиженно сказал:

— Что я, дурак! Сам понимаю, куда они гнут.

Ночью Гришка спал в хате с Равчиком, а возле себя положил топор. Когда Равчик начинал лаять, Гришка брал топор, становился под стенку возле окна, готовый к отражению нападения. Никто не лез, но слышно было, что кто-то ходит во дворе. Следят. Один из друзей сказал Гришке, что за его хатой следят сын старосты и лесник.

Деревенские ребята помогали Гришке. Когда он возил передачи или ездил в лес за хворостом, они смотрели за его коровой, за домом. Ездить приходилось часто, потому что надо было встречаться с Иваном, передавать ему продукты.

Однажды Гришка приехал в урочище Гай, оставил повозку, а сам пошел на встречу с Иваном. А когда возвратился, увидел, что возле его повозки стоит лесник.

— Хворост собираешь? — спросил лесник.

— Собираю. На зиму.

— А где ты так долго пропадал? С Иваном встречался?

— Нет, птичье гнездо нашел. Глядел на него. На поляне ягоды собирал.

— Ивана давно не видал?

— Давно. До ареста.

— Ходят слухи, что в наших лесах находятся партизаны Франека Мазурека — брата твоей мамы — и с ними Иван.

— Не знаю. Иван не приходил домой. Дядьку Франека не видал.

— Зря Иван скрывается. Пошел бы в полицию с повинной, рассказал бы все и простили бы ему. Я сам поговорю с комендантом полиции.

Лесник посочувствовал Гришке, что ему так тяжело одному вести хозяйство, запастись дрова на зиму...

— Знаешь что, давай навалим на воз вот этих дров, — показал лесник на аккуратно сложенные штабеля.

— Нельзя. Это для немцев.

— Я же лесник, лучше тебя знаю, что можно, а чего нельзя. — И тут же начал грузить дрова на подводу.

— Когда ты повезешь передачу родителям?

Гришка ответил, что завтра.

— Я тебе сала и пирогов принесу для стариков.

Гришка слушал лесника так же, как и коменданта. Притворился, что не все понимает... На все «готов», но чувствовал его подлую хитрость, обман. А ночью заметил, как лесник прислушивался и заглядывал в окно. Понятно, проверяет, не пришел ли Иван.

Через два дня после разговора с лесником Гришка повез передачу. Возле полицейского участка стояли немецкие машины. Полицай, к которому он обратился за разрешением зайти к родителям в камеру, сразу взял у него узелок и кошелку, все проверил, положил на пол возле стенки, а Гришку повел к коменданту. В комнате находились немцы. Комендант увидел мальчика, обрадованно спросил:

— Встречался с Иваном?

— Нет, он не приходил.

— Вот он, самый младший выродок Неродов.

Стоявший в очках сухопарый немец сказал по-своему немцу, сидевшему за столом. Тот что-то гаркнул, и сухопарый стал переводить. Немцы спрашивали об Иване, Александре, Никите, о Борисе и Мелании, но Гришка повторял одно и то же: «Не знаю».

— Врешь. Все, собака, знаешь, — комендант схватил Гришку за грудки, начал трясти, затем ударил головой об стенку, мальчик упал. Он бил его ногами. — Говори, гаденыш, а то убью...

Но Гришка молчал.

— К стенке! — кричал комендант.

Полицай схватил Гришку за рубашу, поставил его к стенке. Комендант вынул пистолет, подошел к мальчику, ткнул ему под нос пистолет.

— Говори, а то убью как собаку.

Гришка молчал. Немцы глядели, курили и о чем-то говорили, смеялись. Комендант бесился, выказывая свое рвение перед гитлеровцами, ожидая их похвалы. Потом отошел от Гришки на середину комнаты, направил на него пистолет.

— Крестись, сукин сын!

Мальчик молчал, раздалось три выстрела, пули ударились в стенку, над головой посыпалась штукатурка, запахло горелым

порохом. Гришка продолжал стоять, никак не реагируя, немцы хохотали. Комендант схватил парнишку за шиворот, начал бить головой об стенку, а затем сильно толкнул в дверь.

Гришка открыл глаза. В голове шумело, тело болело. Понял, что лежит возле полицейского участка. Немецких машин не было, только стояла его лошадка. Он с трудом поднялся, сел в повозку. Лошадка побежала по накатанной дороге. Гришка вспомнил, что произошло с ним. Хотелось прижаться к маме, рассказать ей, как издевался над ним комендант полиции.

Но мама в тюрьме. А вот Ивану он пожалуется, а может, встретит дядю Франека, который с партизанами находится в их лесу.

Проезжая тот участок дороги, где всегда ждал его Иван, Гришка громко кричал на лошадь, даже запел: «Ой вы, хлопцы, славы молодцы». Оглядывался. Остановил лошадь, зашел в лес, но Иван не появлялся. Мальчика мучили мысли: «Что же случилось?»

С тяжелыми думами приехал он домой. Возле ворот с визгом бросился к нему Равчик. Он скулил, прыгал на грудь, лизал руки.

Гришка распряг лошадь, бросил ей сена, принес воды. Сел возле сарая и дал волю слезам. Пришла сестра Ксения, чтобы узнать новые вести о родителях и подоить корову. Успокоила брата.

На второй день выпустили из тюрьмы больную мать. Она рассказала, что отца и Владимира увезли из Обзыра в Камень-Каширскую тюрьму.

Вернулась домой Мелания. Гришке стало легче. Многие делали по хозяйству Мелания, мама, а он почти каждый день ездил в лес за хворостом в надежде встретить Ивана или дядю Франека. Обшарил все места, где раньше встречался, но никаких признаков пребывания Ивана не нашел. Как под землю провалились. Ни слуху ни духу.

Дома было тоскливо. Мать не переставала горевать о детях, об отце. Она собрала передачу, и Гришка поехал в Камень-Каширск. Хотя это было не близко (более сорока километров), но его не страшила ни дальняя лесная дорога, ни встреча с гитлеровцами.

Передачу у Гришки не взяли. Он долго крутился возле тюремной проходной. Хотел узнать, почему не берут передачу. Тюремщик со смехом ответил:

— Они уже на том свете. Туда и неси передачу...

Гришка понял, что отца и Владимира расстреляли.

Поздно ночью Гришка привез домой эту тяжелую весть. Всю ночь проплакали. А на второй день немцы и полицаи окружили

село, нагрянули в дом Неродов, убили мать, над Меланией издевались, а затем задушили. Гришке удалось убежать в лес. Предатели-националисты разорили весь двор Неродов...

Ночью в село пришли партизаны отряда Макса, среди них были Никита, Александр и Иван Нерода. На второй день к ним присоединился и Гришка.

Так Гришка стал партизаном.



ПАРТИЗАНСКИЙ КУРЬЕР

Шел декабрь 1942 года. Я тогда был командиром первой партизанской бригады особого назначения и с группой партизан приехал в один из наших отрядов, которым командовал Николай Конишук. Отряд располагался в лесу, недалеко от села Грива, на реке Гривка.

День был теплый, солнце встало над лесом ясное-ясное. Таял туман по низинам. Похоже было, что это вовсе не зима, не декабрь, а ранняя осень.

На базе конишуковского отряда у штабной землянки мы обратили внимание на подростка лет пятнадцати-шестнадцати, небольшого роста, в кое-как залатанном, местами рваном пиджач-

ке. Прищури́в глаза, к чему-то прислушиваясь, он пристально смотрел в густые разлапистые ветки большой ели. Я тоже посмотрел в ту сторону: на елке с ветки на ветку прыгала белка.

— Это откуда ты, хлопчик, появился? — спросил я мальчика.

Он повернулся ко мне, и я увидел большие серые беспокойные и усталые глаза, лицо, усеянное веснушками. Мальчик сморщил курносый нос, сжал губы. Лицо его было строгим и серьезным.

— Я только что пришел из Торчина, — тихо ответил он и смущенно замолчал.

— Ну и как тебя зовут?

— Спиридоном.

— Это наш курьер. Он сегодня привел людей, — пояснил подошедший командир отряда.

О Спиридоне я уже знал из рассказов партизан. Он не однажды приводил в отряд тех, кому угрожала смерть, и я представил себе, сколько людей обязаны этому простому пареньку, как он много сделал в свои пятнадцать лет.

У нас много было юных связных — верных помощников партизан, но Спиридон по-особому заинтересовал меня острым не по годам умом, своим знанием обстановки, серьезностью, ненавистью к врагам и готовностью делать все, чтобы ускорить освобождение родной земли от чужеземцев.

— И не страшно тебе ходить на такое расстояние? — спросил я, зная, что до Торчина нужно пройти более ста километров.

— А чего бояться, не впервые, уже привык, — в глазах вспыхнули озорные искорки. — Волков бояться — в лес не ходить, — ответил он без всякого смущения.

— Орел, — одобрительно подмигнул ему Конищук.

— Надо одеть парня, а то ходит каким-то оборванцем! — сказал я командиру отряда.

— Так нужно, я вам после объясню, — ответил тот. — Это очень интересный хлопец, связным давно работает.

Вот об этом юном патриоте я и хочу рассказать.

В июле 1941 года в Торчин, уже оккупированный немцами, прибыла одна семья и поселилась в полуразрушенном темном помещении, где до войны находился пункт по приему молока. Переселенцы быстро восстановили помещение, побелили, вставили окна, двери, сложили печь. В селе не могли не обратить внимания на то, что эта семья была очень дружной и работающей.

Глава семьи, с которым я познакомился позже, был слегка сутуловатый мужчина лет за пятьдесят, степенный, рассудительный, осторожный в разговорах. Он не сразу открывал свою душу, старался больше слушать, чем говорить, а если невыгодно было отвечать, то делал вид, что не понял вопроса, чтобы выиг-

рать время для обдумывания ответа. В общем, человек с хитринкой. В Торчине никто не знал, откуда эта семья прибыла сюда. Мало ли было тогда приبلудных людей—война. Семью эту просто называли эвакуированными полищуками, а остальным не интересно. Далеко не все знали, что их фамилия Гнатюки.

По соседству с этой семьей жил вместе с родителями учитель Павел Иосифович Каспрук. До войны он работал директором школы в соседнем районе. Учитель познакомился с Гнатюками, но больше всех его заинтересовал самый младший из них — Спиридон, который в то время уже работал пастухом у зажиточного крестьянина.

Возможно, Спиридон привлек к себе внимание учителя тем, что в свободное время читал или сидел над книгой в глубоком раздумье.

В одну из таких минут учитель подошел к Спиридону и увидел в его руках «Кобзаря» Тараса Шевченко.

— Ты что читаешь?

— «Тарасову нить», — ответил Спиридон и встал перед учителем.

— Садись! — сказал учитель и сам сел. — Ну как, понравилась тебе «Тарасова нить»?

— Еще бы! — восторженно ответил мальчик, глаза его вспыхнули и, оглянувшись, он тихо добавил: — Вот бы фашистам устроить такую ночь!

— А чем они тебе насолили, почему собираешься устраивать им «Тарасову нить»?

— Они не только мне насолили, а всем людям нет жизни от них. Вот в Буяновском лесу замордовали людей и еще каких! Мы ходили туда смотреть...

— Ты стихи любишь читать? — учитель перевел разговор на другую тему.

— Люблю, — Спиридон почему-то смутился, опустил глаза.

— А может, и сам пробуешь писать?

— Пробовал.

— Ну и что?

— Плохо получается.

— А ты приходи ко мне, может, кое в чем помогу тебе.

После этого разговора учитель и Спиридон подружились, часто встречались. Спиридон брал книги у учителя, читал ему свои стихи, рассказывал, что видел или слышал. Мальчик обладал такой наблюдательностью, что ни одна мелочь не ускользала от него.

— Ну и глазастый ты, Спиридон, — не раз говорил ему учитель.

В своих рассказах Спиридон умел ярко нарисовать то, что видел, а когда говорил, то как-то по-особому поворачивал голову влево и смотрел в землю, сильно прищулив левый глаз. Создавалось такое впечатление, будто он там видел то, о чем рассказывал...

Хозяину Спиридона не нравилось, что тот много читает. Однажды он вырвал из рук мальчика книгу и ударил его книгой по голове.

— Ты лучше за скотиной смотри, а не в книгу!

А отца Спиридона упрекнул:

— Ты скажи Спиридону, что я пастуха нанимал, а не книжника.

Неодобрительно относился хозяин и к тому, что его пастух ходит к учителю. Он не раз говорил Спиридону:

— Ты бы поменьше заглядывал к Каспрукам: они коммунисты.

— Не знаю, коммунисты или нет, а люди хорошие, — хмуро отвечал Спиридон. Предупреждение хозяина вызвало у Спиридона еще больший интерес к семье Каспруков.

Учитель заметил, что Спиридона что-то сильно волнует, чего-то он не договаривает, что-то скрывает от него.

Однажды в воскресенье, под вечер, Спиридон зашел к учителю. Они вышли в садик, сели на траву. Спиридон прочитал свои стихи, учитель объяснил, как исправить их, и в заключение с чувством прочитал отрывок из поэмы «Гайдамаки».

Закончив читать, Каспрук заметил, что глаза мальчика полны слез.

— Хорошо, верно?

— Очень.

Оба помолчали, а потом разговорились.

— Почему вас зовут полищуками? — спросил учитель.

Спиридон рассказал, что они действительно из Полесья, жили там в селе Грива недалеко от Стохода, имели только гектар земли, а в семье-то десять человек, поэтому приходилось батрачить. Два брата Спиридона — Михаил и Александр — были членами Коммунистической партии Западной Украины, несколько раз их арестовывали, они сидели в тюрьмах. Перед войной вся семья переехала в другой район и трудились в колхозе, а Михаил работал заведующим клубом.

Когда пришли немцы, они начали вылавливать коммунистов и комсомольцев. Схватили и расстреляли Михаила, а два брата комсомольца скрылись. Семья переехала в другое место. Возвращаться в Гриву было нельзя. Немцы могли узнать о том, что отец Спиридона в 1939 году был председателем сельсовета.

Когда Спиридон заговорил о расстрелянном Михаиле, голос его стал приглушенным.

— Хуже зверей всяких эти фашисты, — вздохнул он.

— Ты любил брата? — спросил учитель.

— А как же — очень! Я за него не знаю что бы сделал фашистам. Своей головы бы не пожалел, — в глазах мальчика сверкала совсем не детская решимость и ненависть.

— Голову отдать не диво, — осторожно сказал учитель. — Тут, друже, надо думать. Чтобы бороться с врагом, требуется большая выдержка, сила воли, смекалка и храбрость. А голову надо сохранить. Понимаешь, друже?

Учитель говорил медленно, и каждое его слово таило в себе какой-то особый глубокий смысл.

Спиридон долго сидел с опущенными глазами, что-то обдумывал.

— Ты что, обиделся? — спросил учитель.

— Ни, вы правду сказали, я понял. А верно, что вы были революционером и тоже в тюрьме сидели? — спросил он тихим голосом.

— От кого ты слышал? — настороженно спросил учитель.

— Брат Александр как-то рассказывал... Вы можете не беспокоиться, ведь я об этом никому не скажу.

— Знаю, что не скажешь, — улыбнулся учитель. — Иначе бы и не подружился с тобой... А что касается тюрьмы, — доверчиво положил он руку на плечо Спиридона, — то, наверно, и сейчас сидел бы в ней. Спасибо Красной Армии. Не только меня и твоего Александра, но и всех революционеров в 1939 году от цепей выволила.

— Ваша жена тоже сидела в тюрьме?

Учитель вздохнул.

— Сидела. Ей много пришлось перенести всяких испытаний, обо всем и не рассказать.

— А вы расскажите. Пожалуйста! Прошу вас!

Павел Иосифович неторопливо начал рассказывать о гнете и унижениях в панской Польше и о том, как революционеры боролись против панов, против бесправия...

Но Спиридона это не удовлетворяло.

— Вы же ничего не говорите ни о себе, ни о Вере Александровне!

И подчиняясь настойчивым просьбам мальчика, Павел Иосифович поведал, что они с Верой Александровной — ровесники, с 1916 года, родились на Холмщине Люблинской губернии, в Польше. Сам он — сын батрака, а жена — дочь деревенского плотника. Хоть в разных деревнях они жили, но судьба у них

складывалась одинаково. Оба с детских лет видели бесправие и нищету своего народа, на себе испытали презрение шляхты и жестокость законов панской Польши. Учились, как говорится, на медные деньги — с большим трудом, урывками.

К ним в руки попадали запрещенные книги, листовки, в которых говорилось о революции, о Ленине, о Советской стране, где рабочие и крестьяне сами себе хозяева. И Павел, и Вера жадно читали об этом, тайком рассказывали другим ребятам о прочитанном. Иногда им доверяли подпольщики и серьезные задания.

А вскоре они вступили в Коммунистическую партию Западной Украины. Павел был секретарем райкома комсомола, а Вера — секретарем комсомольской ячейки.

Спиридон, широко раскрыв глаза, молча слушал учителя, но тут не выдержал:

— Сколько же вам тогда было лет?

— Чуть больше, чем тебе сейчас — семнадцать. В 1934 году меня впервые осудили на год за распространение листовок. А через год уже десять лет дали — за принадлежность к КПЗУ и за организацию забастовки бедняков.

Павел Иосифович сидел в знаменитой жестокими пытками Картуз-Березской тюрьме. Потом его перевели в Тарновскую тюрьму, но в ней оказалось немногим лучше. И несмотря на ужасные условия, Павел и в тюрьме учился — вместе с другими в камере были образованные люди и они помогли ему.

Вера тоже была арестована в 1936 году. Ее осудили на пять лет, да еще на столько же — поражение в правах. «Обвинение» сходное: за принадлежность к КПЗУ, за то, что руководила комсомольской ячейкой.

Она прошла и через Тарновскую, и Холмскую, и Люблинскую тюрьмы. Везде — одиночные камеры и холодные карцеры, средневековая пытка водой, и так называемый «кафтан беспеченьства». Кафтан надевали на узника, сильно оттягивали ему руки назад и оставляли в таком положении на несколько дней.

Все это пришлось испытать ей.

Учитель вздохнул, задумался.

— Это, мой друже, самое жестокое время было в польских тюрьмах. Напуганные ростом революционного движения, паны усилили репрессии, не гнушались никакими мерами — лишь бы сломить непокорных, чтобы мы — революционеры — отказались от своих убеждений. Но пока хватит, в следующий раз продолжим.

— А как вы оказались в Торчине? — спросил Спиридон.

— Когда я вышел из Тарновской тюрьмы, тут же встретился с сестрой Надей. Надя и познакомила меня с Верой. Они вместе

сидели в тюрьме в одной камере. Мы решили не возвращаться на Холмщину, которая была оккупирована немцами, а ушли на Восток — на освобожденную Волинь. А вскоре из-за Буга переехали в эти места и мои родители. Вот так мы оказались в этих краях.

Каспрук неторопливо и скупое рассказывал мальчику не столько о себе, сколько о своих товарищах, которые боролись за счастье народа. Многие из них погибли в застенках.

Мальчик слушал Каспрука, стараясь не пропустить ни единого слова.

— А мне можно помогать таким людям? — поднял он умоляющие глаза на учителя.

— Тебе? — учитель доверчиво положил руку на мальчишеские плечи. — А выдержишь?

— А вы попробуйте!

Прошло несколько дней. Однажды учитель попросил Спиридона сходить в село Буяны.

— Передай моему знакомому Ивану Куцу, — сказал учитель, — что его просит зайти вуйко* Степан из Торчина. Да и сам познакомься с Иваном: он тебя обязательно квасом угостит. И вообще, хороший он человек...

Спиридон уже бывал в Буянах и по рассказу Каспрука представил, где стоит хата Ивана.

— Знаю хату Ивана, возле нее криница. Мы пили из нее воду. Очень вкусная.

Учитель заставил Спиридона несколько раз повторить сказанную им фразу.

— Ты только не перепутай, точно все передай, — напутствовал он Спиридона.

Мальчик ни о чем не переспросил учителя, но догадался, что эти слова имеют какой-то особый смысл.

..Спиридон без труда нашел двор Куца и застал Ивана дома. Это был молодой, коренастый парень с приятным открытым лицом. Он сидел под деревом и чинил ботинки.

— Вас просил зайти вуйко Степан из Торчина, — сказал Спиридон.

Иван спокойно оглядел паренька внимательными глазами, неторопливо положил на табурет ботинок и сказал:

— А ты присядь, отдохни. Может быть, квасу хочешь? — и не дожидаясь ответа, медленно поднялся и не спеша направился в хату.

Вскоре он появился в дверях с большой белой кружкой.

* Вуйко — дядя (укр.).

— На, пей, настоящий квас. — И сел на свое место. Мальчик прильнул к кружке. Иван незаметно поглядывал, словно изучал Спиридона.

— Говоришь, надо сходить к дядьке Степану? — переспросил он.

— Да, — кивнул головой Спиридон.

— А я тебя знаю, ты в субботу у учителя стихи свои читал, — улыбнулся Иван.

— Да, я был у учителя, но вас не видел, — с удивлением сказал он.

— Давай будем на «ты», я ведь еще не женат и, значит, не старик.

Между ними завязалась непринужденная беседа. Иван интересовался, какие книги читал Спиридон, слушал внимательно и сам много рассказывал.

Под конец Иван обратился к Спиридону:

— Не знаешь сказку, как мужик учил болтливую жену держать язык за зубами?

— Нет, не знаю, — улыбнулся Спиридон.

— Ну, тогда послушай, — и Иван начал свой рассказ.

Спиридон слушал и от всей души смеялся шуткам и островам Ивана. Сначала он не понял, к чему Иван вел этот рассказ, но вдруг перестал смеяться, нахмурил брови и с обидой в голосе спросил:

— Ты что, не меня ли за болтливую бабу считаешь? — и поднялся, чтобы уйти.

— Вижу характер, — с улыбкой сказал Иван. — Вот что, друже, тебя никто за болтливую бабу не принял, но предупредить на будущее, чтобы ты держал язык за зубами, не лишнее, а ты сам помозгуй и поймешь... Обижаться не стоит...

После этого знакомства Спиридон по заданию учителя часто ходил к Ивану, передавал ему записки, свертки. И Спиридон любил Ивана за его спокойный характер, за какую-то особую простоту, за его интересные и остроумные рассказы.

— Ну и здорово у тебя получается, как у настоящего артиста, с тобой скучно не бывает, — не раз с восхищением говорил Спиридон.

Он уже понимал, что Иван и учитель делают что-то большое, важное. Хотя они ничего ему о своих тайных делах не говорили, но мальчик догадывался, что это против фашистов. Поэтому любое задание он выполнял с особой охотой.

Теперь ему приходилось ходить не только в ближайшие населенные пункты, но даже в Луцк, Владимир-Волянский, и вскоре Спиридон зарекомендовал себя способным и опытным

связным. Он уже не был пастухом: хозяин уволил его «за плохую службу».

Однажды Спиридон возвратился из Торчина и рассказал учителю, что слышал от знакомых ребят о том, что торчинская полиция ездила на Стоход для борьбы с партизанами, что за Ковелем и на Стоходе полно партизан и они разбили немцев и полицию.

— Вот жил бы я в Гриве, обязательно ушел бы в партизаны, — закончил свой рассказ Спиридон.

Он тогда еще не знал, что учитель руководит подпольной организацией, имеет сведения о партизанах и уже послал человека, чтобы установить с ними связь, но прошло больше месяца, а связной все еще не вернулся. Нужно было подобрать другого, такого, который меньше всего мог бы вызывать подозрения полицейских и немцев.

— А ты дорогу в Гриву знаешь? — неожиданно спросил учитель.

— А как же, знаю! Сам из Гривы, хорошо знаю дороги и села вокруг Гривы.

— Как ты смотришь, если тебя послать на Стоход? — спросил учитель.

— Пойду, хоть сейчас. Не бойтесь, я все сбролю. — Он схватил учителя за руку, глаза его заблестели. — Хоть в огонь пойду.

— Ты только не горячись, дорога далекая, больше полутораста километров.

Для большей уверенности торчинские подпольщики решили послать не одного, а двух курьеров. Спиридона и Ивана Куца.

Снабдили обоих подпольщиков документами. Спиридону дали справку о том, что он служил пастухом у гражданина Ивана Куца и после расчета возвращается в село Гриву по месту жительства родителей.

Ивану Куцу выдали документы о том, что у него служил батрак из Маневичского района села Лишневка, который обворовал его и скрылся, поэтому Куц направляется в Маневичский район для поисков похитителя. В справке обращались к местным властям с просьбой оказывать помощь в задержании преступника. Кроме справок, им вручили письма к партизанам.

Справку Спиридону выдали на руки, а письмо, написанное на шелковом полотне, учитель зашил в рукав ватника так аккуратно, что его трудно было обнаружить при ощупывании. Куц и Спиридон должны были добираться разными маршрутами: Иван — на Рожище, Колки, Маневичи, а Спиридон — на Ковель, Камень-Каширский, Гриву.

В ранний августовский день, когда звезды еще не начали бледнеть, а село было погружено во тьму, Спиридон, попрощавшись с учителем, вышел на дорогу с палкой и ватником подмышкой. Он спешил, чтобы пораньше добраться до села Переспа, которое стоит на самой оживленной магистрали Луцк—Брест, проходящей через Ковель. Может, в Переспе удастся сесть на какой-нибудь транспорт и подъехать до Ковеля.

В Переспу Спиридон пришел во второй половине дня. По дороге его дважды останавливали полицаи, проверяли документы и обыскивали, но все обошлось хорошо.

Еще солнце не зашло, как Спиридон был в Ковеле. Даже не верилось, что все складывалось так хорошо, что до цели оставалось не так уж много.

Приближалась ночь. Спиридон вспомнил, что, когда перед самой войной он приезжал сюда с братом Михаилом, то они останавливались у знакомого железнодорожника.

К нему он и направился переночевать. Железнодорожник тепло принял Спиридона, а узнав о смерти Михаила, искренне огорчился. Спиридону он посоветовал добраться по железной дороге до станции Трояновка, а там и до Гривы рукой подать. Утром он отвел Спиридона на вокзал и посадил в поезд, идущий на Сарны.

Но поезд не остановился в Трояновке, а довез его до Маневичей. Не успел Спиридон сойти с поезда, как его задержали полицейские. Они прочитали его справку, обыскали.

— К партизанам идешь, чертов лазутчик? Что? Знаем вас, как вы своих родителей навещаете,— зло закричал сиплым, севшим от постоянных пьянок голосом полицей с черными, закрученными вверх усами.

Спиридон клялся, что никаких партизан не знает и что ему нет до них никакого дела.

— Пойдем в участок, там разберутся.

В задымленной комнате полицейского участка, на кушетке, сидела молодая женщина в порванной кофточке, с синяками под глазами и плакала. Перед ней, яростно размахивая кулаками, расхаживал полицей средних лет, в нижней рубаше с засученными рукавами и растрепанными волосами. К нему и подошел усатый полицей, поднял руку, стукнул каблуками.

— Тут, господин комендант, парень подозрительный. В Гриву идет,— доложил он. — Вот его документы.

Комендант взял справку, прочитал, долго держал в руках и вдруг схватил за шиворот Спиридона.

— К коммунистам пробираешься! — со злостью прошипел он и выругался.

— До дому иду, никаких партизан я не знаю.

— Почему в Трояновке не сошел?

— Поезд там не остановился.

Полицай, не сводя взгляда со Спиридона, поднял трубку, позвонил начальнику станции и спросил, останавливался ли пассажирский поезд, который прибыл в двенадцать часов, на станции Трояновка.

Получив отрицательный ответ, он постоял, подумал, еще раз брезгливо смерил Спиридона взглядом с головы до ног и со злостью толкнул его в спину.

— Обыскан?

— Не совсем, — ответил усатый полицай и начал еще раз обыскивать, выворачивать карманы, ощупывать все швы в одежде. Снял фуражку. Отпорол подкладку, проверил козырек — не двойной ли и отдал обратно Спиридону. Последним стал прощупывать ватник.

У Спиридона екнуло сердце, в глазах потемнело. «Найдут, гады, и тогда все пропало», — с тоской подумал он.

Полицай еще немного подержал ватник в руке и бросил его на кушетку возле женщины.

Комендант вернул справку. Спиридон обрадовался, сунул справку в карман и схватил с кушетки свой ватник.

— Оставь! Куда берешь? — прокричал полицай с усами. Он вырвал из рук Спиридона ватник и бросил его обратно на кушетку.

— Дяденька, отдайте ватник, — взмолился Спиридон, — у меня ведь больше нечего одеть.

— Ах ты, бисов сын, еще разговаривать будешь, — набросился на Спиридона пьяный полицай и, ударив его плеткой, вытолкнул из комнаты.

Долго стоял мальчик возле полицейского участка в раздумье: «Что теперь делать? Куда идти? Какая неудача! На первом же задании провалился. А еще заверял, что выполню. Кто без письма теперь поверит, что меня прислали подпольщики».

Вышел полицай с усами.

— Дяденька, отдайте ватник, — снова обратился к нему Спиридон.

— А ты, щенок, еще тут! — замахнулся он плеткой. Спиридон отбежал.

«Нечего и думать, не отдадут. Надо уходить, как бы еще хуже не было», — подумал Спиридон. Правда, была у него мысль вернуться обратно в Верхи, чтобы учитель написал второе пись-

мо. Но это же позор, что подумает учитель! И Спиридон решил идти в Гриву и рассказать партизанам все, что с ним случилось, а там — как хотят.

Перед заходом солнца он подошел к селу Карасин, предполагая переночевать здесь и поесть, а то сегодня он ничего и в рот не брал. Был кусок хлеба, но его полицаи при обыске раскрошили и выбросили.

Но только перешел он узкоколейку возле Карасина, как перед ним неожиданно появилось два вооруженных человека.

— Стой, малец, куда идешь?

— Куда нужно, туда и иду — ответил Спиридон. — Что, даже и ходить нельзя?

Он уже успел заметить, что у них на шапках красные полосы со звездочками. «Значит, партизаны, — подумал он, — а может не те, что из Гривы».

— Ну иду в Гриву, домой.

— А ты, хлопец, не очень храбрись, пойдем-ка с нами.

Спиридона привели на партизанскую заставу, где он рассказал, зачем прибыл и что с ним случилось в маневичской полиции. Сообщил и о том, что к партизанам направлен еще один курьер.

Партизаны мальчика накормили, а утром повезли в отряд, чтобы проверить правильность сказанного.

Здесь Спиридону просто повезло. Проезжая село Лишневку (что в пяти километрах от Гривы), он увидел возле одного дома много людей и среди них заметил своего односельчанина, соседа Николая Парамоновича Конищука, который вместе с отцом работал в сельсовете, а с братом Михаилом сидел в тюрьме за революционную деятельность.

— Вуйку Мыкола! — обрадованно воскликнул Спиридон.

Конищук подошел к подводе.

— Старик! Ты откуда взялся? Каким чудом?

— Товарищ командир, так вы этого хлопца знаете? — спросил партизан, сопровождавший Спиридона.

— А как же! Знаю, хорошо знаю, это ведь младший сын Гнатьюков, Спиридон. Этого Старика у нас все село знает.

Партизан засмеялся.

— Какой же он старик, когда у него и усы не растут.

— Дело не в усах, а в голове, — ответил Конищук. — Это мудрый парень, его с малолетства прозвали Стариком.

— Вуйку Мыкола, так вы партизанский командир? — изумленно и обрадованно воскликнул Спиридон.

— Да, Старик, командир, — улыбнулся Конищук.

— Вот как хорошо, что вас встретил! А то я боялся, что партизаны мне не поверят.

— Чему не поверят?

И Спиридон рассказал, зачем он пришел, что случилось с ним на станции и как полиция забрала его ватник.

— Наверно, ватник новый был? — рассмеялся Конищук.

— Не совсем новый, но еще хороший.

— Эх ты, курьер. Кто же теперь ходит в хорошем? Все равно сдерут, если не немцы, то полицаи. Не тужи, найдем тебе такой пиджак, что никто на него не позарится. Едем на базу, там разберемся!

Для Спиридона слово «база» было новое, но он понял, что это место расположения партизан. Ему хотелось все посмотреть, все узнать, чтобы после рассказать подпольщикам, как живут партизаны.

Спиридон многое слышал о жизни партизан, но среди рассказчиков были и такие, что выдумывали всякие небылицы. Так, например, говорили, что партизаны живут в лесу под открытым небом: зимой возле костров, а летом — по пословице — каждый кустик ночевать пустит.

Конечно, далеко не все верили этому. Слабо представлял себе, как живут партизаны, и Спиридон. И вот наконец ему посчастливилось первому из торчинских подпольщиков познакомиться с их жизнью.

На партизанскую базу Спиридон ехал на бричке вместе с командиром отряда. Дорога была знакомой, много раз он по ней ходил и ездил в Лишневку, Карасин и даже Маневичи. Ему хотелось проехать через свое родное село Грива, покинутое три года тому назад, посмотреть на знакомые места, встретиться с родными и с ребятами.

Сколько там друзей, с которыми он рос! Вот бы они увидели, с кем теперь едет их атаман, организатор шумливых сборищ, буйных ватаг, которые проносились по улицам, поднимая босыми ногами дорожную пыль, оставляя за собой длинную завесу. А потом всей гурьбой шли на Гривку купаться. А когда нельзя было купаться, направлялись к хутору Сазанка, расположенному возле леса, где еще сохранились окопы от первой мировой войны, чтобы там играть в войну.

Он вспомнил, с каким трудом приходилось уговаривать некоторых ребят, чтобы они были «немцами», дело доходило до плача, никто не хотел быть «германом».

Дети знали от стариков о жестокости немцев. И, кроме того, они знали, что немцы должны быть разбиты русскими, а быть побежденными никто не хотел.

Тогда это были только игры и разговоры, а теперь он этих «германов» сам видит и чувствует их жестокость.

Конечно, было бы лучше всего приехать в Гриву настоящим партизаном, с оружием и в кубанке с красной полоской, как у вуйка Мыколы.

К великому огорчению Спиридона, ездовой свернул на дорогу в сторону Сазанки.

— А в Гриву не заедем? — растерянно спросил Спиридон.

— Нам там делать нечего, а тебе нельзя показываться знакомым, не забывай — ты партизанский курьер, — ответил командир, как бы прочитав его мысли. Спиридон даже покраснел, как он сам не мог этого понять. А все-таки так хотелось бы...

Вот тропка, ведущая к самой Гривке. Сколько воспоминаний! Летом и зимой он любил бывать на речке. Летом хорошо в ней купаться, часами просиживать в воде — до тех пор, пока кожа не посинеет и не покроется пупырышками, плавать с ребятами наперегонки или нырять с камнем — кто дольше просидит на дне, а потом долго валяться на теплом песке. Плохо, что комары не давали лежать спокойно, и приходилось березовой веткой отбиваться от них или раскладывать костер из еловых шишек. Зимой ходил ловить рыбу в прорубях.

Выехали из леса на большую поляну. Это были пахотные земли гривских крестьян. Недалеко от дороги Спиридон узнал полоску своего отца, единственная, она заросла бурьяном и стояла как горькая сирота.

У Спиридона защемило сердце. Вот она, родная маленькая нивка! Сколько над ней трудилась семья, старательно ухаживая, удобряя, оберегая от сорняков, ожидая скромного урожая. И вот она сейчас лежит перед ним такая родная и такая чужая.

Спиридон вспомнил, как он помогал пахать Михаилу и Александру. Осенью они пекли картошку в золе, и такой вкусной картошки, как на их ниве, он, кажется, никогда не едал. И, конечно, вспомнил мать — она приносила им обед, а они ели и отдыхали вот под этой большой березой, что стоит одиноко при дороге.

Перед лесом на бугре стояло три больших дуба, которые как бы сторожили вход в лес. Здесь у ребят, когда они играли в войну, был наблюдательный пункт, наблюдатель смотрел, как от Гривы появлялся «противник». По всему пригорку протянулись цепочкой осыпавшиеся окопы. В этих окопах в первую мировую войну сидели русские солдаты. Времени прошло много, окопы заросли бурьяном, кустарником, но они были вполне подходящим местом для ребячьих игр.

Когда подъехали ближе, Спиридон заметил, что под знакомыми дубами стоит группа людей. Мальчик вопросительно взглянул на командира. Как бы отвечая на его вопрос, тот сказал:

— Наша партизанская застава.

Скоро подвода остановилась. Подошел партизан, одетый в ватник, с автоматом на груди и с маузером в деревянной колодке. Он доложил командиру, что на заставе все спокойно. Спиридон заметил замаскированный пулемет, а на среднем дубе наблюдателя с биноклем. Стало приятно, что партизаны выбрали именно их наблюдательный пункт, именно тот дуб, на котором много раз сидел он сам.

Лес, где располагался отряд Конищука, был хорошо знаком Спиридону.

Вот направо большое болото. Оно тянется на несколько километров — до самого озера Родич. Это болото даже зимой в сильные морозы не замерзает. Нигде не было столько клюквы, как на нем, местами все моховые кочки были усеяны красными ягодами. Спиридон хорошо знал все ягодные места на болоте.

Когда свернули с лесной дороги на тропу, где стоял партизанский пост, Спиридон заметил между деревьями дымок, а скоро показались и землянки, возле которых ходили люди. От зоркого глаза Спиридона не ускользнуло и то, что за землянками, на небольшой площадке под дубом, стояло два стола, на них партизаны чистили оружие. А в стороне, под навесом суетилось несколько женщин. Оттуда шел приятный запах поджаренной муки, — наверно, там располагалась кухня.

— Вот и приехали, — сказал ездовой.

— Моисей, иди сюда, — позвал командир.

Сидящий на бревне подросток с густой шапкой вьющихся каштановых волос поднялся и бегом направился к ним.

— Товарищ командир, по вашему приказанию прибыл! — доложил он.

— Знакомься с моим земляком!

Ребята нерешительно подали друг другу руки и назвали свои имена.

— Своди Спиридона в баню и смотри, чтобы хорошо помылся и одежду прожарил. А потом ознакомь его с нашей жизнью. Понял? — приказал командир.

— Есть, товарищ командир, все понял, — четко ответил Моисей и с любопытством оглядел своего нового знакомого.

— Пошли, — коротко бросил он и повел Спиридона к землянке, стоящей между пятью большими елями и окруженной густым кустарником.

— Откуда ты? — спросил Моисей.

— Из... — Спиридон замялся.

— Насовсем к нам?

— Нет.

— Эх, жалко... Есть хочешь?
— Дуже хочу.
— Вот помоешься, покормим, — покровительственно сказал Моисей.

Землянка, к которой мальчики подошли, была почти незаметна. Лишь струя дыма и запах прелых березовых веников говорили о том, что здесь баня. Моисей приоткрыл дверь и первым вошел в предбанник.

— Раздевайся, — предложил Моисей.

— А ты не будешь?

— Вчера только мылись.

На Спиридона дохнуло приятное тепло деревенской бани. В печь были вмурованы два котла. На полу стояла большая деревянная бочка с холодной водой и деревянные самодельные шайки для мытья. За печкой — маленький закуток, где Моисей предложил повесить одежду на жерди.

— Это настоящая баня! — обрадованно воскликнул Спиридон. — Давненько в такой не мылся. Знаю, что вуйко Мыкола любит париться. У него и в Гриве была хорошая баня, только эта лучше — настоящая.

— Такой бани, как у нас, ни в одном отряде не сыщешь, — не без гордости сказал Моисей.

Когда подростки вышли из бани, Спиридон увидел, что возле одной землянки построились партизаны с оружием и вещевыми мешками. Перед ними стоял вуйко Мыкола и что-то говорил.

— На задание отправляются, — сказал Моисей.

На партизанской базе для Спиридона было все новым, интересным, многое — непонятным. Он с восхищением смотрел на партизан, этих мужественных людей. Ему нравилось, когда они строились с оружием перед уходом на боевое задание, как докладывали дежурные и командиры групп дяде Мыколе. Даже обычный картофельный суп здесь казался необычно вкусным. Но немецкое обмундирование, в которое были одеты некоторые партизаны, вызвало у Спиридона отвращение. Об этом Спиридон откровенно и сказал Моисею.

— Нам самим не нравится, но носить-то нечего, поэтому приходится одевать трофейное, — ответил Моисей.

Спиридону больше всего нравились партизаны, которые носили кубанки с красной ленточкой, лихо сдвинутые набок, как делали конные разведчики. Среди них он заметил паренька таких же, как он, лет, а от Моисея узнал, что его зовут Платоном. Платон как-то по-особому носил черную кубанку с красным донышком и красной лентой. У него была красивая рыжая лошадь, настоящее седло и автомат.

Спиридону хотелось ближе познакомиться с Платоном, но тот редко бывал на базе, больше находился в разъездах. Возможно, поэтому Спиридон особенно подружился с Моисеем. Они спали вместе в одной землянке, ходили по лагерю, в лес, и Моисей знакомил его с партизанской жизнью. А знал он много, сам ходил на боевые задания, взрывал железнодорожные поезда. Один раз лично поставил мину, на которой взорвался поезд с немецкими танками. Спиридон даже не поверил, что Моисей сам ставил мины, но скоро убедился, прочитав об этом в стенной газете. Кроме того, он видел, что взрослые партизаны относились к Моисею, как к равному.

— Ты умеешь двигаться бесшумно и быстро? — как-то раз спросил Моисей.

— Это пустяки, умею! — уверенно ответил Спиридон.

— А ну, покажи!

Спиридон прошелся на носках бесшумно, но медленно.

— Э, брат, подрывники не ходят так. Вот смотри, как надо ступать на неполную ступню: сперва на каблук, мягко, затем перекачивай ногу на носок, вот так.

Моисей прошелся — и действительно, шаг у него был совершенно неслышный, быстрый.

— Этому меня научили, когда я первый раз собирался на боевое задание — взрывать поезд.

Потом Моисей показал, как ползать по-пластунски...

Спиридон убеждался, что Моисей — настоящий знаток партизанских дел, и это его еще больше привязало к сверстнику. Спиридон не раз с восхищением смотрел на Моисея, по-хорошему завидуя тому, что у него на поясе всегда висит настоящий пистолет в брезентовой кобуре. Мальчик никогда, даже ночью, не расставался с ним. Ложась спать, он не снимал, а только ослаблял пояс и передвигал пистолет на живот.

— Покажи свой пистолет, — попросил он как-то Моисея.

— Это не пистолет, а наган, — назидательно ответил тот. Расстегнув кобуру, он вынул наган, отвернулся в сторону, присел на корточки, снял фуражку и стал из барабана выбрасывать в нее патроны. Когда все патроны были выброшены, он еще немного покрутил барабан и, убедившись, что патронов не осталось, подал наган Спиридону.

— На, гляди!

Спиридон бережно взял в руки револьвер.

— А стрелять умеешь? — спросил Спиридон.

— А то как же. Если бы не умел, мне бы не дали наган. У нас порядки такие...

— Покажи, как стрелять?

Моисей объяснил как мог.

— Давай стрельнем? — предложил Спиридон.

— Ты что, в лагере? Тут нельзя, ругать будут.

— Тогда пойдем дальше от базы, там стрельнем.

Моисей знал, что стрелять без нужды строго запрещено. Но мальчишеское желание порисоваться перед Спиридоном взяло верх.

— Ну, пойдем.

Мальчишки ушли в лес, выбрали место для стрельбы, прикрепили белую тряпицу, которая заменила мишень, к стволу дуба. Моисей отсчитал двадцать пять шагов, вынул наган, прицелился и выстрелил. Пуля попала почти в самый центр мишени.

— Дай я стрельну.

Моисей дал наган, еще раз напомнил, как нужно целиться. Спиридон выстрелил, а когда подошли к мишени, пробойны не было.

— Пустил в белый свет как в копейку, — смеялся Моисей.

— Дай попробую еще раз.

И второй раз Спиридон не попал. Он хотел выстрелить еще раз, но в этот момент прибежали два партизана. Отругав их, повели к командиру отряда. Попало обоим здорово, Моисею, конечно, больше. Командир даже хотел наган у него отобрать.

— Ты знал, что без разрешения нельзя стрелять?

— Знал, только я хотел вашему земляку показать, как надо стрелять. Он теперь наш партизан и должен уметь владеть оружием.

— Ось полюбуйтеся, який учитель найшовся. Ну ладно, — уже по-начальнически сказал он, переходя на русскую речь. — Добре, наган оставлю, но чтобы это было последний раз. Идите!

Случай со стрельбой еще больше сблизил мальчишек, они стали неразлучными, часто ходили на моховое болото собирать ягоды. Вот уж тут первенство принадлежало Спиридону. Его котелок так быстро заполнялся, что Моисей только удивлялся, как это у него получается. А потом кипятили чай в настоящем солдатском котелке, который Спиридону лично подарил командир отряда. В кияток кидали малиновые ветки. Хотя чай был не сладким, но зато пахучим и кисленьким.

— Вот бы сахару немного, — вздыхал Моисей. — Из самовара чай не такой вкусный, как в котелке. Мой отец любил чай с грушевым вареньем, а я с сахаром, сладкий-сладкий.

Моисею явно не хватало сладкого.

— А где твои родители? — спросил Спиридон.

Вопрос был неожиданным, Моисей даже вздрогнул. Нехотя он рассказал, что до войны жил с родителями в Луцке. Отец его

был портным, и к этому ремеслу приучал сына. Мальчик учился, закончил не пять, как Спиридон, а шесть классов. Потом война. Они не успели покинуть город, и, когда пришли немцы, их загнали в гетто. Через некоторое время евреев повели расстреливать. Они шли по городу Луцку, их окружала немецкая охрана с собаками. На тротуарах стояли люди и смотрели на шедших. Моисей шел рядом с отцом и матерью, которая несла на руках маленькую годовалую сестренку и брата трех лет. Как только завернули за угол, где стояло много людей, Моисея неожиданно за руку схватила какая-то женщина-украинка и так быстро потянула к себе, что он сразу очутился среди людей, стоявших на тротуаре. Фашисты этого не заметили. Через несколько дней его привез в Павурск незнакомый железнодорожник, отсюда переправили в отряд Конищука.

Молча, нахмутив чистый мальчишеский лоб, слушал его Спиридон, все больше росла и крепла в нем лютая ненависть к зверям фашистам...

■ ■ ■

На четвертые сутки на базу пришел Иван Куц. Встретив Спиридона, он искренне обрадовался ему.

Они уселись под дубом возле землянки, и Иван засыпал мальчика вопросами. После этого сам поведал ему о своихключениях.

— Решил я зайти к старому знакомому Никите Герасимовичу. При поляках мы оба состояли в комсомоле, оба работали курьерами. За время войны не приходилось встречаться с ним. Думаю, найду и прощупаю — как он? Ну и с обстановкой познакомлюсь. Время идет, люди могут меняться, кто его знает, как он себя ведет. С этими мыслями я и зашел к Никите. Поздоровались, замечаю, что Никита очень подозрительно смотрит на мою одежду.

— Ты не удивляйся, — говорю я ему, — что я такой оборванный. Меня, говорю, обворовали. Служил у меня пастух из Маневичского района, воспользовался случаем, когда никого не было дома, забрал мои вещи и скрылся, вот иду искать его. — Вижу, что Никита мне не очень-то верит.

— Мели Емеля, твоя неделя. Не здорово ты придумал.

— Не веришь? Вот, говорю, документы!

— Спрячь, — ответил он, — документы для других пригодятся. А ты лучше скажи, как с партизанами связаться?

Ну и я не сдаюсь, спрашиваю:

— У тебя переночевать можно?

— Нет, говорит, будешь ночевать у «ридной маты», а у нас опасно.

«Ридну маты» я хорошо знал. Так еще при панах подпольщики называли Ирину Мельничук. Она и ее муж были старыми подпольщиками. Двор их находился на отлете, вблизи густого лозняка. Знал я и о том, что в их дворе была вырыта тайная землянка, вход в которую был устроен в колодце. В землянке можно было надежно укрыться. Там я и ночевал.

— Когда вернемся в Верхи, я тебе обязательно покажу явочную квартиру «ридной маты», она еще нам пригодится, — закончил свой рассказ Иван.

Спиридону не хотелось уходить из отряда.

— Вуйку Мыкола! Оставьте меня в отряде, я тоже буду ходить на боевые задания, как Моисей. Я сумею, — умолял он командира.

Тот обнял Спиридона.

— Милый друже, не могу оставить тебя в отряде, не имею права, понимаешь? Ты подчиняешься подпольному комитету. Разве ты не понимаешь, что ты уже не просто хлопец Спиридон, ты — курьер, а без них и мы не сумеем действовать. Словом, связь — это самая ответственная боевая работа, а ты к тому же еще и главный партизанский курьер, и работы у тебя ой как много. Через два дня тебе нужно будет собираться в обратный путь. До Ковеля тебя проведет группа партизан.

В последние дни Моисей не отходил от Спиридона: видно было, что он очень привязался к нему, и ему жаль было расставаться с другом. То же самое испытывал и Спиридон. Но дело требовало, чтобы он покинул базу.

— Я тебя провожу до Сазанки, командир разрешил, — сказал Моисей.

— Ой, как хорошо!

И вот Сазанка осталась далеко позади, а Моисей все шел рядом, и так они дошли до сломанной березы, что стояла возле поля отца Спиридона.

— Это была наша земля! — показал Спиридон на заросшую бурьяном полоску. — Ну что же, давай прощаться, — отвел глаза Спиридон. — Тебе пора на базу, и я спешу...

Моисей вынул складной ножик с белой полоской и протянул его Спиридону.

— На, возьми, пригодится.

— Давай... на память... — и они пожали друг другу руки.

Спиридон побежал, чтобы догнать сопровождавшую его группу. Он оглядывался несколько раз, а Моисей продолжал стоять и махать своей фуражкой, пока Спиридон не скрылся в лесу...

■ ■ ■

В первом письме, доставленном Спиридоном подпольщикам, были со всеми подробностями изложены указания, что делать, как держать с партизанами связь. Партизаны особенно настойчиво просили подпольщиков помочь им медикаментами и направить в отряд врача, потому что в отряде есть больные и раненые.

Учитель прочитал письмо и задумался: как выполнить просьбу партизан? Где взять врача?

Подпольщик Андрей Чичолик вспомнил, что еще до войны в Торчине работал врач Бурц. Это был всеми уважаемый человек. Он любил свою профессию, часто ездил по селам к больным. Люди с большим уважением относились к этому худенькому энергичному доктору, немного рассеянному, но всегда готовому оказать помощь больному.

Когда пришли фашисты, его забрали в гетто и должны были расстрелять. Но буквально накануне расстрела врач сумел бесследно скрыться из гетто.

Немецкое начальство развесило по городу объявление, в котором говорилось: кто укажет, где находится Бурц, получит награду, а тот, кто укрывает, будет расстрелян не только сам, но и его семья, а имущество конфисковано.

Полиция с ног сбилась в поисках Бурца, но безрезультатно.

Подпольщики, знавшие Бурца, говорили:

— Вот кого бы направить в отряд. Бурц хорошо свое дело знает.

Но никто не мог сказать, где находится врач.

— А что, если ты, Спиридон, попробуешь через ребят найти врача? Только будь осторожен, — напутствовал учитель.

Долго Спиридон размышлял, как осторожно и точно выполнить задание, и придумал...

Беседуя с пастушками, он, между прочим, сказал, что в Буяновском лесу лежит тяжело раненный партизан, которому угрожает смерть, лекарства нигде нет, а в город везти его нельзя.

Судьба партизана в Буяновском лесу сильно взволновала ребят. Но Спиридон, как ни надеялся на них, все же никак не ожидал, что Бурц найдется так быстро. Совершенно неожиданно для него на второй же день к Спиридону в Торчин пришел паренек и тихонько сообщил, что Бурц находится у одного крестьянина в селе Ульяники.

Спиридон тут же направился к учителю и рассказал ему об этом. А в эту же ночь он отнес доктору записку от подпольного комитета.

Бурц без колебаний дал согласие переправиться к партиза-

нам. Но встал вопрос — как вывезти его из Ульяновков, чтобы сохранить все в тайне, не выдавая семью, скрывавшую доктора?

Учитель поручил привести врача одной из подпольщиц — Антонине Гучко. Та наложила на воз коноплю, сверху борону, а под коноплей и бороной лежал доктор.

На дороге подводу остановил полицай.

— Что везешь? — спросил он.

Антонина была женщина, как говорится, с перцем, за словом в карман не лезла, со злостью посмотрела на пьяного полицай.

— Не видишь, что коноплю! Эх ты, налил глаза самогоном. Вам везде пулеметы да бомбы мерещатся.

Ее спокойствие и дерзкий ответ произвели нужное впечатление, и полицай не стал проверять воз Антонины.

— Поезжай, — безразлично махнул он рукой.

Так до Верхов был благополучно доставлен врач, а через несколько дней Спиридон вел в отряд доктора Бурца.

Путь был трудный, шли только ночью, обходили немецкие гарнизоны, полицейские участки и населенные пункты, но дошли благополучно. Спиридон с гордостью докладывал командиру отряда Конищуку, что доктора нашел он.

Теперь и подпольщики и партизаны окончательно убедились, что в лице Спиридона они имеют надежного и способного курьера, на которого можно положиться.

Спиридону часто приходилось ходить на задание вместе с Иваном Куцем. Они так были дружны, что один от другого ничего не таили. А партизаны, завидев их вместе, обычно шутили: «хозяин» и «пастух».

Иван даже свои донесения подписывал: Хозяин.

Неоднократно участвуя с Иваном в операциях, Спиридон все больше проникался уважением к этому высокому, черноголовому, остроглазому человеку, восхищался выдержкой, самообладанием и находчивостью Ивана. Старался на него быть похожим.

— Помни, — не раз говорил Иван мальчику, — что для курьера самое важное: осторожность, спокойствие, находчивость, выдержка и наблюдательность.

Спиридон не раз восторженно рассказывал об Иване Моисею.

— Ты не можешь себе представить, какой смелый и находчивый наш Иван. Вот однажды был такой случай.

И Спиридон с подъемом рассказал о том, как они с Иваном шли в Луцк, несли магнитные мины для подпольщиков. В руках у них были корзины с влечиком сметаны, кринкой молока, луком, самогонкой: вроде бы они идут в гости к своим знакомым. А мины (небольшие, похожие на мыльницы) были подшиты

в ватниках. И если немцы обнаружат их, то все было готово к тому, чтобы взорваться вместе с врагами — партизан живым не сдается.

Уже недалеко от Луцка они заметили немецкий пост. Обойти уже нельзя, местность вокруг открытая. Что делать?

— Не робей, Старик, держись веселее. А ну-ка давай глотнем для запаха, — и Иван не спеша вынул бутылку самогонки, закрытую кукурузным огрызком, глотнул и передал ее Спиридону. Потом они скрутили по сигарке, и не прикуривая, шумно разговаривая, смело направились к посту.

— Пан офицер, запалки есть? — обратился Иван к нему, показывая на самокрутку. Немец, подозрительно приглядываясь, протянул спички, а почувствовав запах спиртного, закричал:

— Шнапс! Бандит! — но, схватив бутылку, сразу успокоился и разрешающе махнул в сторону города.

Курьеры благополучно добрались до места.

— Вот еще один случай. Хочешь? — разговорившись, спросил Спиридон.

— Рассказывай, заинтересуешь, может.

— Я с Иваном и учителем возвращался в отряд после выполнения задания. Нас заметили фашисты и стали преследовать. Я уж думал — пропали, а Иван поторапливает меня и одно говорит: «Только бы до «ридной маты» добраться, а там нам и черт не страшен».

К вечеру мы добрались до лозняка, который был рядом с двором Мельничуков, а из лозняка Иван привел нас к «ридной маты», прямо в колодец полез и нас манит.

Залезли туда, сидим, а во дворе стрельба и крики. Слышим, какой-то полицейский кричит:

— Окружайте лозняк и двор, некуда им уйти.

Они окружили двор и кустарник, ищут, рыщут, а мы сидим под самым их носом — ждем, когда уйдут.

— Не могли же они под землю скрыться! — кричит начальник полиции, — продолжайте поиски!

Всю ночь охраняли они окруженный двор и лозняк. То и дело подходили к колодцу, брали воду, чертыхались и уходили ни с чем и, наконец, совсем ушли, а ночью мы вылезли из колодца и благополучно добрались до отряда. Если бы не Иван, нам бы не жить.

Но особенно любил Спиридон рассказывать о том, как Иван еще при белополяках помог односельчанам отпраздновать Первое мая. Польские власти запретили отмечать этот праздник, везде развесили устрашающие распоряжения. А буяновские комсомольцы решили по-своему — над селом в этот славный день

должен висеть красный флаг. Самым подходящим местом была школа — она стоит на видном месте, флаг будет замечен издали. Но на школу не повесишь — сразу снимут, а вот если бы удалось водрузить флаг на грушу-дичку, что растет возле школы, вот это было бы здорово, на ней столько колючек... Иван Куц вызвался повесить флаг. Как он это сумел сделать — неизвестно, однако утром Первого мая над грушей гордо развевался красный флаг с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Новость быстро пронеслась по селу, передавалась из хаты в хату. Люди, стоя на своих дворах, молча смотрели на флаг. На дороге Владимир-Волынский—Луцк даже образовался затор — крестьяне, ехавшие на базар, останавливали подводы и тоже смотрели в сторону школы. Еще бы — там развевался красный флаг, которого так боялись польские паны!

Конечно же, к старой груше прибежали и полицейские, но взобраться на нее, чтобы снять флаг, никто не мог. Не нашлось охотников и среди крестьян, которые подошли поближе посмотреть, что полиция будет делать.

Хитрые мужики своими подчеркнуто серьезными советами старались сделать так, чтобы полицейские подольше провозились возле груши.

Директор школы спилить дичку не разрешил, и пришлось полициям вкапывать рядом с деревом столб, взбираться по нему и с него уже снимать красный флаг.

Почти до полудня развевался Первого мая в Буянах красный флаг, вывешенный Иваном Куцем по заданию местных комсомольцев. Не было ни митинга, ни собрания, не произносились речи, призывающие к борьбе за свободу, но гордый флаг звал народ на борьбу. Долго еще об этом говорили в окрестных селах.

■ ■ ■

Времени прошло порядочно, в отряде уже забыли случай со Спиридоновским ватником. Сам хозяин ватника стал настоящим партизанским курьером, выполнял важные задания, пользовался у партизан и подпольщиков не только уважением, но и любовью. И никому в голову не приходило, что Спиридон никак не может забыть свою первую неудачу и злополучный ватник.

Стоило Спиридону встретиться с человеком, одетым в ватник, как он приглядывался — не его ли. Даже на партизанской базе, увидев у кого-нибудь ватник, он его осматривал. Командир отряда обратил на это внимание.

— Ты что так присматриваешься? Думаешь, свой ватник найти?

— Да, я хочу найти и вам письмо показать.

— Кому оно нужно? Связь с партизанами установлена, ты свое задание выполнил, и твой учитель — автор письма. — находится вместе с семьей в отряде. Так что не беспокойся.

Но эти слова командира не успокоили Спиридона, он продолжал поиски.

И вот уже весной 1943 года, возвращаясь из Торчина с группой партизан, недалеко от Павурска они встретили женщину, которая шла со станции. Спиридон узнал ее: это была та самая женщина, которая плакала при нем в полицейском участке. Она тоже признала Спиридона. В разговоре выяснилось, что эта женщина приехала из Донбасса, где она работала учительницей. Ее везли в Германию, но на станции Киверцы один железнодорожник помог ей сбежать. Он посоветовал ей добраться до Маневичского района, где много партизан. Недалеко от Маневичей ее задержал староста одного из сел и доставил в полицию. Пришлось посидеть в полиции, откуда ее отправили в имение батрачить.

— Вот там всю зиму проработала, а сейчас иду из Павурска, ходила к подруге.

— И нравится вам батрачить? — спросили ее партизаны.

— А что же делать? Все же лучше на своей земле батрачить, чем в Германии, — ответила женщина.

— Немцев надо бить, гнать их отсюда, а вы — учительница — спрашиваете, что делать, — продолжали партизаны.

— Я же с поезда сбежала, чтобы вступить в партизаны, а получилось...

— А сейчас почему не идете к партизанам?

— С удовольствием, если возьмете.

— Придется взять.

— А вы не знаете, куда девали полицаи мой ватник? — спросил Спиридон.

Женщина рассказала, что полицаи ватник променял на самогон и его носит ездовой в том имении, где она работала. Имение было недалеко по пути, и партизаны зашли туда.

Действительно, спиридоновский ватник носил один из работников имения. Он без сопротивления возвратил его хозяину.

Спиридон схватил свой ватник, распорол левый рукав и вынул небольшой шелковый платок, исписанный химическим карандашом. Но времени прошло много, ватник пребывал не под одним дождем, все размокло, расплзлось и представляло почти сплошное фиолетовое пятно.

Лишь с большим трудом удалось разобрать отдельные слова
«На курьер... связь партизанами...»

— Ну вот, ватник нашел, теперь осталось поймать полиция,
который отобрал у тебя его, — шутил Конишук.

■ ■ ■

Через несколько дней ранним солнечным весенним утром возвращался я на центральную базу из Картухинского отряда. Дозорный вдруг доложил, что по лесной дороге движется группа вооруженных людей.

— Кажется, с ними идет Спиридон, — успокоил меня партизан.

Я поручил ему уточнить, что это за люди, а сам с сопровождавшим приготовился к бою. Вскоре дозорный прискакал назад и доложил, что Спиридон ведет группу Сокола на базу Конишука. Мы поехали им навстречу.

Еще издали я заметил рядом со Спиридоном среднего роста мужчину с немецким автоматом на груди. Это и был политрук Соколов, или Сокол, о котором Спиридон мне сообщил еще в декабре 1942 года.

О Соколове я хочу рассказать особо, так как его история характеризует ту атмосферу всенародного сочувствия, которая способствовала разрастанию партизанского движения.

Николай Соколов был танкистом и вступил в войну с самого ее начала. Тяжело раненный, остался он на поле боя и несколько дней пролежал во ржи, в полусознательном состоянии, обессиленный от потери крови. Там и нашел его какой-то крестьянин и помог ему добраться до хаты в селе Маньково. Хозяева — как позже узнал Соколов — Зиновий Сергеевич и Анна Ивановна Иванчуки — ни о чем не спрашивали, принялись ухаживать за раненым, а когда подняли его на ноги, Анна Ивановна первым делом спросила:

— Откуда сам родом?

— С Орловщины, — ответил Соколов.

— Теперь ты будешь нашим сыном. Наш Коленька потерялся еще в царскую войну — мы тогда бежали с Волыни в Россию. Так ты и говори: Николай Зиновьевич Иванчук. Разыскал родителей и вернулся домой. И не обижайся — так надо. Проклятая немчура везде разыскивает красноармейцев. Их бы еще можно обвести вокруг пальца, если бы не свои иуды-предатели. Они любого продадут — лишь бы выслужиться перед начальством. А нашего Коленьку они не помнят. Но ты все-таки будь поосторожнее. Первое время и не показывайся.

Нелегко и не сразу, но старикам все же удалось преодолеть недоверие соседей и подозрительность старосты: Николай был признан их возвратившимся сыном и даже получил от оккупационных властей паспорт на имя Николая Зиновьевича Иванчука.

Разумеется, он не собирался жить «под немцами» тихо и мирно. Как только окреп да обзавелся документами, начал ходить по лесам и селам, осторожно выискивая себе подходящих товарищей и собирая оружие. Старик Зиновий увидел его однажды, когда тот снимал пулемет с подбитого танка.

— Что ты делаешь, сынку?

— Пригодится, папа... А вы бы захватили вот эти ленты с патронами.

— Так, так, сыику. Не жить нам под германом.

В скором времени в этих местах начала действовать партизанская группа Сокола. Подрывались на дорогах фашистские машины, горели склады, обрывались линии связи. Работой группы заинтересовались торчинские подпольщики, и руководителю их Иосифу Каспруку удалось разыскать Сокола и установить с ним постоянную связь.

Но делами Сокола заинтересовались и враги — маньковские националисты. Как-то ранним утром в хату Иванчуков явился полицейай, встал возле двери и, угрожая автоматом, скомандовал Николаю:

— Ни с места, большевистский агитатор! Стреляю я метко. Пойдешь со мной!

Анна Ивановна всполошилась, пыталась уговаривать, но полицейай был неумолим. Тогда она ухватила за последнее средство.

— Ну, пан шуцман, дай ты ему хоть покушать в последний раз в родительской хате. Куда он пойдет голодный?

— Ладно. Ставь на стол. Пускай садится.

На столе появились горячий борщ, хлеб, сало, несколько луковиц и — само собой — бутылка самогона.

— Садитесь с нами, пан шуцман.

Полицейай бросил оружие на кровать и уселся за стол. Налили ему стакан самогону, а потом и другой, Николай молча жевал, но уловил момент, когда самогон расслабил бдительного полицейая, вскочил и схватил его автомат. Вскочил и полицейай, но Николай, не выпуская автомата, остановил его.

— Садись. Ешь, пей и молчи. Ты меня не видал, и смотри, моих стариков не тронь, а не то... Прощайте, мамо!

И покинул хату своих спасителей.

Вот с этим самым Соколовым мы и встретились...

Однажды Спиридон привел группу людей из Луцка. По лицам пришедших было видно, что переход был нелегким. Спиридон похудел, глаза ввалились, губы потрескались до крови, а нос с веснушками еще больше заострился. Бывало, как только Спиридон приходил на базу, он бежал к командиру или учителю, а потом уходил с Моисеем в лес. На этот раз он отошел от группы, сел под дуб возле землянки и сидя уснул.

— Устал малец, почти трое суток не отдыхал, — сказал один из прибывших.

К группе подошел Каспрук. Увидев спящего Спиридона, он снял свой пиджак, расстелил на земле и уложил на него Спиридона.

Спиридон и Иван отвечали за связь с луцкими подпольщиками. Больше приходилось ходить в Луцк Спиридону, там его познакомили с подпольщиками, установили явки, пароли, почтовые ящики. Одной из таких явок была квартира Данилы Доли. Он вместе с женой работал в одной подпольной группе. Спиридон много раз бывал у Данилы, отводил подготовленных им людей в партизанские отряды, передавал ему листовки, сводки Совинформбюро, письма от Конищука, мины.

Однажды Данила познакомил Спиридона со своим другом, как он его отрекомендовал. Но этот подпольщик почему-то сразу не понравился Спиридону и даже вызвал у него подозрение. Очень уж он многим интересовался, подробно спрашивал Спиридона о партизанах, по какому маршруту он проводит людей, кто они такие. Кроме всего, друг Данилы любил выпивать.

Данило даже обиделся, когда Спиридон поделился своими подозрениями.

— Если ты ему не доверяешь, значит, не доверяешь и мне. Это наш старый друг, подпольщик.

Спиридон свои подозрения высказал Ивану Куцу, и тот, напомним, что Доля — опытный подпольщик, все же посоветовал Спиридону быть поосторожней с его другом. А сам Иван решил поговорить с Долей, узнать, что это за «друг».

В середине лета 1943 года Спиридон доставил луцким подпольщикам сводки Совинформбюро и мины. На обратном пути он должен был вести людей из Луцка в партизанский отряд. Все было подготовлено. Первую группу — семь вооруженных человек — он вывел из города и оставил на сборном пункте, а сам вернулся за второй группой.

Но второй раз на сборный пункт Спиридон уже не прибыл. Людей привел другой связной, но он не знал, что случилось со Спиридоном.

Так прошло несколько тревожных дней.

И вот глубокой ночью ко мне в землянку почти ворвались Конищук и Каспрук. Оба были мокрые от дождя и взволнованные. Не говоря ни слова, Конищук подошел к столу, на котором горела лампа без стекла, открыл свою желтую полевую сумку, вынул маленький кусок белой тряпицы и подал мне.

Это было донесение от нашего человека в Луцке, он сообщал:

«В Луцке, на перекрестке Владимирской и Львовской улиц, арестован наш курьер Старик, сейчас он находится в гестапо». Под письмом стояла подпись — Вусатый.

— Как это получилось? Какие дополнительные сведения имеются от торчинских подпольщиков?

На мой вопрос ни Конищук, ни Каспрук ничего не могли ответить. Кроме полученного донесения, другими сведениями они не располагали.

— Надо принять все возможные меры, чтобы вырвать Спиридона из лап гестапо. Предупредить об этом торчинских и луцких подпольщиков. Наверно, туда следует отправиться вам, Павел Иосифович, — обратился я к Каспруку.

— Да, я сегодня же пойду туда.

— Езжайте на базу и готовьте людей в Луцк. Утром я буду у вас.

Мы вышли. Возле землянки уже стоял, придерживая лошадей, Моисей.

Они вскочили на лошадей и тут же скрылись в темноте ночи и леса, и до меня только доносился стук копыт. Я еще долго стоял возле землянки, думая над тем, что можно предпринять, чтобы вырвать из лап фашистов Спиридона — этого славного юного патриота, нашего Старика.

Ко мне подошел Магомет — начальник разведки, одновременно исполнявший обязанности комиссара нашей бригады.

— В Луцке гестапо арестовало Спиридона, — сказал я ему.

— Откуда сведения? — так же коротко спросил Магомет.

— Только что были Конищук и Каспрук. Подумайте, как спасти парня. Я поручил это дело Каспруку, обеспечьте его отpravку в Луцк.

— Сегодня должна вернуться из Торшка с группой Надя Полищук, вы ее знаете — комсорг конищуковского отряда. Может быть, она принесет какие-нибудь сведения о Спиридоне...

Как и предполагал Магомет, к утру пришла Надя с группой подпольщиков. Она еще ничего не знала об аресте Спиридона, но сообщила очень неприятную новость.

Когда она пришла на явочную квартиру Андрея Сафроновича Чичолика, хозяин сказал, что ее второй день ждет на чердаке

связной из Луцка, присланный Спиридоном. Пароль связной знает.

Вскоре перед Надей стоял молодой человек среднего роста с веснушками. Она спросила его:

— Вы на чем добрались?

— На велосипеде, — ответил парень.

— Номер велосипеда?

Парень точно назвал те цифры, которые входили в пароль. Сомнения не было, что парень прислан Спиридоном.

При разговорах парень с веснушками не понравился Наде, он был очень болтлив и многим интересовался. Спрашивал, когда она вышла из отряда, где останавливалась, кого знает из связанных в Торчине, а то-де, может, и ему придется добираться к партизанам.

Когда парень ушел, Надя сказала Андрею Сафроновичу, что прибывший связной ей не понравился, что-то хитрит. Но Чичолик, которому парень тоже не очень понравился, успокоил ее — ведь пароль-то знает. Надя все же для безопасности покинула дом Чичоликов — вместе с их десятилетней дочкой ушла на хутор Городики, что в трех километрах от Верхов, заночевала там.

Утром в Верхи нагрянуло гестапо. Гестаповцы схватили Чичоликов, стали допрашивать их, пытались выяснить, где та девушка, что пришла от партизан. Но не добились ничего, полиция и веснушчатый парень начали искать ее. Не найдя партизанки, они сильно избили Чичоликов, связали и бросили их в машину. Фашисты из другой машины окружили дом родителей Спиридона, схватили его отца Федора Евтиховича и брата Александра. Остальные члены семьи успели скрыться. Всех арестованных увезли в Луцк.

На Каспрука мы возлагали большие надежды, зная его опыт подпольщика и большие связи в Луцке и вокруг него. Павла Иосифовича сопровождала группа партизан во главе с опытным командиром Николаем Буликом.

Но вскоре прибыла связь от Булика, и мы узнали, что во время одного из ночных переходов партизаны напоролись в лесу на засаду националистов, завязался бой. Силы были неравные. Бандиты попытались окружить партизан, и после непродолжительного боя партизаны вынуждены были отойти.

И лишь только когда из Луцка прибыл Вусатый, мы узнали, что произошло со Спиридоном.

Дело было так. Спиридон со сборного пункта пришел на квартиру Вусатого, где получил указания: куда ему прибыть за людьми, кто его будет сопровождать до сборного пункта, что передать Конищуку. Пообедали.

— Ложись, отдохни, — посоветовал Вусатый.

— До вечера времени много, успею отдохнуть, а пока я хочу пройтись по городу, посмотреть.

— Лучше не надо. Чего ты не видел: полуразрушенные дома и несчастных людей. Не ходи.

— Вы не знаете, сколько вопросов задают партизаны, когда я возвращаюсь, хотят знать, что делается в городе. А еще меня просили посмотреть один дом на улице Львовской.

И Вусатый, опытный подпольщик, нарушая правила предосторожности, отпустил Спиридона, который страстно хотел рассказать по приходе на базу о всем том, что он увидел в городе.

Спиридон ушел и больше не явился на квартиру. Решили, что он пошел на партизанский сборный пункт, но и там его не было. Куда же мог деваться? И только на второй день одна подпольщица рассказала Вусатому, что видела, как на перекрестке улиц Владимирской и Львовской остановилась машина гестапо, из которой выскочили три фашиста. Они подбежали к Спиридону, схватили его, скрутили ему руки, надели наручники и бросили в машину.

— Просили же его не ходить, — сокрушался Вусатый. — На что там смотреть, что теперь можно увидеть в городе, кроме людского горя и фашистов, будь они прокляты, чтоб на них людские глаза не смотрели, чтоб их гром побил...

Мы не утешали Вусатого, слишком очевидна и слишком велика была его вина.

С нетерпением мы ждали известий от Ивана Куца, который ушел в Луцк и пропал: ни слуху ни духу. Но мы верили, что Иван не возвратится до тех пор, пока не узнает все о судьбе Спиридона.

И вот наконец-то появился Иван с множеством новостей. Ему удалось узнать, что Спиридона перевели из гестапо в тюрьму и поместили в отдельную камеру. Отец Спиридона и брат Александр сидят вдвоем в отдельной камере, а Андрея Чичолки с сыном держат в общей.

Иван рассказал, что в Луцке арестованы Данила Доля, его жена и еще несколько человек, работавших на военном складе вместе с Данилой. Но после допросов шесть человек освободили из тюрьмы. Ивану удалось поговорить с одним. Тот рассказал, что однажды в их камеру гестаповцы приволокли избитого мальчика и бросили на пол. Позже мы узнали, что мальчика зовут Спиридон. Он был весь мокрый, лицо залито кровью, выбит правый глаз, сломана левая рука, волосы на голове слиплись.казалось, что в этом изувеченном теле не за что держаться жизни, но редкие стоны говорили, что он жив.

Сидевшие в камере заключенные положили Спиридона на нары, дали ему воды, вытерли с лица кровь, которая продолжала сочиться из выбитого глаза, приложили мокрую тряпку к голове. Мальчик открыл глаз, взглянул на потолок, опять закрыл его.

— Пить хочешь?

Он медленно провел кончиком языка по губам. Ему поднесли кружку с водой. Он с трудом сделал несколько глотков, глубоко вздохнул, что-то тихо сказал и замолчал.

Вскоре приволокли в камеру Данилу Бондарчука — Долю. Он тоже жестоко был избит. Когда гестаповцы вышли и закрыли дверь, Данила попросил пить.

Придя на второй день в чувство, он рассказал, что присутствовал на допросе и пытках Спиридона. Сначала гестаповец-следователь спокойно спросил Спиридона:

— Ты хочешь жить?

— Хочу...Очень хочу.

— Вот и хорошо. Скажи, что бы ты делал при Советах?

— Вам это неинтересно.

— А все же скажи, только правду.

Спиридон задумался.

— Я бы учился, стихи писал, песни пел бы...

— Для кого бы ты строил эту жизнь?

— Ясно, для людей.

— Вижу, романтик ты. Знаешь ли ты, что мы не дарим жизнь своим врагам бесплатно. А ты наш враг.

Спиридон молчал. Следователь закурил, взял плетку со стола, прошелся по комнате.

— Расскажи, что знаешь о партизанах, подпольщиках, с кем встречался?

— Я никого не знаю, ни партизан, ни подпольщиков.

— А вот этого хлопца знаешь?—следователь показал на Данилу.

— Совсем не знаю.

— И ты никогда не встречался с ним?

— Нет.

— Когда ты был в Гриве? Вспомни...

— Я не был в Гриве. Я работал пастухом в Верхах.

Мы тяжело переживали арест Спиридона и других наших товарищей. Придумывали разные варианты спасения, пытались использовать подкуп или организовать побег, но пока ничего не получалось.

Как только на базе появлялись Иван Куц, Надя Полищук или другие связанные из Луцка и Торщка, их сразу окружали пар-

тизаны и засыпали вопросами о Спиридоне. Обычно раньше всех связных встречал Моисей. Он старался побольше узнать о своем друге. Несколько раз Моисей обращался к командиру с просьбой, чтобы его послали на боевое задание — он должен мстить фашистам за Спиридона.

Время шло, но все наши попытки получить достоверные сведения о Спиридоне кончались неудачей.

И только осенью Конищук передал мне, что в его отряде находится брат Спиридона — Александр.

Это было полной неожиданностью. Откуда он явился? Что он знает о судьбе Спиридона?

Вот что рассказал нам Александр.

На второй день, после того как Спиридона схватили фашисты, в Верх приехала полевая жандармерия. Александра с отцом арестовали, привезли в луцкую тюрьму, что стоит над рекой Старью, и посадили в камеру в нижнем полуподвальном этаже.

В темной камере из стен просачивалась вода, на окне, кроме решетки, был установлен специальный ковш (ставня) из досок так, что ничего не было видно, что делается во дворе за стеной. Только сверху проникал луч света и был виден кусочек неба, по которому определяли погоду и время суток. В камере ничего не было: голые стены и цементный пол. Все стены и даже пол были исписаны и исцарапаны. Разными почерками и на разных языках люди перед смертью просили отомстить за их муки, страдания и смерть. Были и надписи, сделанные кровью.

— В день ареста, — рассказал Александр, — нас не вызывали на допрос. Вечером мы услышали, что кого-то провели по коридору и против нашей камеры послышался шум, звякнули ключи, открылась и снова закрылась дверь. Как только затих стук сапог тюремщика, напротив в камере кто-то запел. Я приложил ухо к двери и ... узнал голос братишки.

— Тату, говорю, вы чуєте? Це вин спиває, наш Старик.

Затаив дыхание, мы стояли возле дверей камеры, и до нас доносились слова песни:

Каты б'ють мене й мучать,
Думують зломати.
Да нічого у вас не вийде
Вороги прокляти.
Каты мені не страшні,
Знаю, що загину,
За край рідний
світ Радянський.
Рідну Україну.
Почекайте ви, катюги,

Скоро солнце знйде,
И радяньско вийско наше
Сюды, у Луцьк, прийде:
Ой, як придуть наши
И вдарять в гарматы,
Розлетяться тюрмы ваши,
Фашисты прокляти.

— Спиридоне, братику ридный, это ты! — закричал я.

— Я, — ответил Спиридон, — я, братику. Знай, что меня выдал «друг» Данилы. — И как же кляли мы себя, что не обратили никакого внимания на подозрения Спиридона о «друге» Данилы. А братишка продолжал говорить: — Но я от всего отказался. Данилу и его жену арестовали, они тоже отказываются, говорят, что не знают меня. И вы от всего отказывайтесь.

На второй день нас всех поодиночке вызвали на допрос. Спрашивали о связях с партизанами, с кем встречался Спиридон, кто входит в подпольную организацию. И меня и отца заставляли поговорить со Спиридоном, узнать, с кем он был связан, и обещали за это освободить.

В тот же день состоялась моя очная ставка со Спиридоном. В комнату следователя два гестаповца ввели Спиридона. Он был в наручниках, сильно избит. Чувствовалось, что ему трудно стоять, но он держался гордо, смело смотрел на следователя. На все вопросы отвечал, что никаких подпольщиков и партизан не знает.

Допросы продолжались почти каждый день. Кроме следователя, который постоянно допрашивал Спиридона, из Ровно приезжал майор, он пытался узнать, какие связи имел Спиридон. Брата сильно били, но он молчал. У него был выбит глаз и сломана рука. Его все время держали в одиночной камере. Меня не раз водили на расстрел, заставляли себе копать яму или подводили к яме, где лежали расстрелянные — все требовали, чтобы я признался в связи с партизанами. Не добившись своего, вели обратно в камеру.

Однажды Спиридона, отца и меня привели на берег Стирико рву, в котором лежало множество трупов.

Нас поставили перед рвом, завязали глаза. Прозвучало несколько выстрелов. Пули просвистели над головой. После этого подошел следователь с переводчиком, развязали нам глаза. Еще раз предложили мне и отцу уговорить Спиридона, чтобы он рассказал, с кем был связан из подпольщиков, и тогда нас всех освободят.

— Ничего я вам не скажу, бешеные собаки, — стреляйте! — крикнул Спиридон.

Следователь набросился на Спиридо́на и стал его избивать. Когда тот потерял сознание, следователь приказал бросить его в яму на трупы, а меня и отца заставили стоять над ямой и смотреть, как Спиридон будет умирать. Он не стонал, а только тяжело дышал. Больше он ни слова не произнес. Мы с отцом стояли и молчали, а следователь сидел на стуле в стороне, прищутив глаза, и наблюдал, как мы переносим предсмертные страдания Спиридо́на.



После гибели Спиридо́на старого Гнатюка стали брать на разного рода работы. Вначале он работал внутри тюрьмы, но потом его начали посылать в город. Здесь при помощи подпольщиков ему удалось бежать, он прибыл в отряд Конищука, где уже находились остальные члены его семьи, в том числе и Александр, который только накануне еле живой добрался в партизанский район.

Как же Александру удалось вырваться из лап фашистов? Его с группой арестованных из луцкой тюрьмы везли в Германию. Их вагон сопровождали четыре немца. Вагон был не специально тюремный, а пассажирский, только в окнах были вделаны прочные решетки.

— Меня не покидали мысли о побеге, — рассказывал Александр. — Доехали до Буга. Далее везли по польской земле. Недалеко от Люблина в жаркую сентябрьскую ночь три пьяных охранника спали, а четвертый открыл дверь в тамбуре вагона и прохладился. Я подкрался, сбросил фашиста из вагона и на полном ходу выпрыгнул сам.

С большим трудом добрался до Западного Буга, переплыл его и дошел до отряда Конищука.



Время идет, все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. Но никогда не забудется мужество и героизм советского народа, вышедшего победителем в смертельной схватке с немецким фашизмом.

Мне захотелось снова побывать в бывшем партизанском крае, в местах бывших боев. Посмотреть, как залечены раны в народном хозяйстве, встретиться с боевыми друзьями, знакомыми, поклониться братским могилам.

И вот я снова на Во́лыни, в Луцке. Приехал не один, а вместе с сыном Антоном. Пусть он своими глазами увидит, где его

отцу приходилось партизанить, познакомиться с красотами во-
лынской земли, что так обильно полита кровью.

Друзья решили показать мне город. Мы приходили к домам,
где в годы войны были явочные квартиры, рассказывали об их
хозяевах, о том, как происходили встречи, о местах «почтовых
ящиков».

— А вот на том перекрестке — Львовской и Владимирской
улиц — гестаповцы схватили Спиридона, — сказала сопро-
вождавшая меня Евгения Ивановна Шурмей, бывшая развед-
чица-партизанка Жея Маленькая.

Побывали в тюрьме, в камерах, в которых гитлеровцы дер-
жали и пытали Спиридона, Данилу Бондарчука, его товарищей,
Андрея Чичолика, одного из активных организаторов Торчин-
ского подполья.

Затем пошли к тому месту, где умирали наши товарищи
и наш юный патриот — Спиридон. Стояли молча, склонив голо-
вы. У меня першило в горле, слезы катились по лицу... Вспом-
нился декабрь 1942 года, когда я впервые увидел Спиридона
в конищуковском отряде. Вставали перед глазами одна за дру-
гой картины тех тяжелых незабываемых дней борьбы с немец-
кими захватчиками...

Потом опять пошли по городу. Друзья показывали ново-
стройки, с гордостью говорили, что в Луцке построено много
новых предприятий союзного значения, в том числе автомоби-
льный, приборостроительный, электроаппаратный и ряд других за-
водов.

— Луцк изменился, — сказал я.

— Не только Луцк, а вся Волянь теперь неузнаваемая, ста-
ла шахтерским краем. Приезжайте к нам в Нововолынск, город
шахтеров, — пригласил Петр Шпарага, один из организаторов
партизанской борьбы в здешних местах.

— А по пути заезжайте в Торчин, посмотрите наш му-
зей, — сказал учитель Григорий Гуртовой.

В Торчине с первых дней фашистской оккупации активно
действовало партийно-комсомольское подполье, которое своим
влиянием охватило ряд других районов Волини. Руководителем
его был учитель-коммунист Павел Иосифович Каспрук. Ныне
лучшая улица Торчина названа его именем.

Сопровождавший меня учитель Григорий Александрович
Гуртовой рассказывал, что Павла Иосифовича Каспрука навечно
зачислили в состав учительского коллектива и партийной орга-
низации школы. Каждый педсовет и партийное собрание начи-
наются сообщением о том, что Павел Иосифович погиб смертью
героя в борьбе с фашистами.

— А вот наша средняя школа, — сказал Григорий Александрович. — Теперь она именуется Торчинская средняя школа имени Спиридона Гнатюка.

Да. Волыняне много сделали, чтобы сохранить память о народной войне.

Создано три мемориала партизанам и ряд памятников воинам Советской Армии.

Мы зашли в местный народный музей, то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Смело можно назвать его филиалом областного краеведческого музея. Он уже ждет миллионного посетителя.

Стенды пяти его залов рассказывают о борьбе, героике труда тысяч людей разных поколений, живших на этой земле. Но особенно широко показаны война и партизанское движение. И снова вспомнилось все до боли отчетливо и ясно. И 22 июня 1941 года, и первые бои на границе, и первые жертвы, и горечь отступлений, и партизанские тропы, волынское подполье... Как умело оно создавалось такими опытными коммунистами, как Павел Каспрук.

Как ни пытались враги проникнуть к сердцу подполья, но ничего у них не вышло. Подлый предатель сумел завоевать доверие Данилы Бондарчука — Доли, но дальше не прошел. Помогло в этом беспримерное мужество Спиридона.

А боль в сердце будила воспоминание о том, как мы восприняли весть об аресте Спиридона. Мы серьезно опасались, что Спиридон не выдержит жестоких пыток и заговорит! Тогда провалялись десятки явочных квартир, погибнет много патриотов. Но шли дни. Спиридон молчал, подполье действовало. Борьба продолжалась.

Возле портрета Спиридона Гнатюка два галстука — красный и синий. Это пионеры Торчина и пионеры школы № 1 города Ризы Германской Демократической Республики вручили ему посмертно знаки высокой пионерской чести. Тельмановцы борются за право присвоения их школе имени Спиридона Гнатюка.

В музейной витрине — дневник Спиридона. Я с удивлением смотрел на них. Григорий Александрович сразу же понял мое недоумение.

— Да, это дневники с отметками, выставленными и год назад и вчера. Ведь Спиридон навечно зачислен в состав пионерской дружины Торчинской средней школы имени Спиридона Гнатюка. Отвечать урок за Спиридона — это честь, которая выпадает только самым достойным ученикам.

Боевые подвиги юного ленинца, его короткая, но яркая жизнь стали любимой темой школьных сочинений.

«Пионер Спиридон Гнатюк вечно в наших сердцах,— пишет пионерка Светлана Герасимчук.— Он продолжает жить, учиться вместе с нами. Мы свято чтим память героя, ведем дневник, каждый из нас борется за то, чтобы быть достойным отвечать урок за Спиридона, ведь это большая честь. Он для нас всегда одноклассник, мы чувствуем его присутствие, и это воодушевляет нас побеждать все трудности. Он всегда с нами...»

А вот выдержка из сочинения ученицы Марии Маркович.

«Боролись с ненавистным врагом деды и отцы, матери и дети, в первых рядах защищая Отчизну, совершая бессмертные подвиги. В Шепетовке погиб Валя Котик, в тюрьме Белоруссии Марат Казей, в Луцкой же — Спиридон Гнатюк — это имя особенно дорого нам, волянынам, ведь здесь Спиридон жил, здесь учился, ходил теми тропами, что мы ходим, мечтал. Он мог бы быть поэтом, учителем, хлеборобом-механизатором, прекрасным человеком. Он так любил родную землю, людей, жизнь, но война отняла у него детство, жизнь...»

А эти строчки принадлежат Гале Костюк.

«...Спиридон занимает большое место в моей жизни. Он шагает рядом со мной в одном строю, в учебе и труде. Помогает хорошо учиться, активно участвовать в общественной работе... Через всю жизнь пронесу в своем сердце имя Спиридона Гнатюка...»

Юные экскурсоводы рассказывают, что целый ряд пионерских отрядов, дружин на Украине и в других республиках страны названы именем Гнатюка.

Торчинские школьники в своих письмах рассказали о партизанском курьере пионерам Чехословакии, Болгарии, Польши, Югославии. В торчинскую школу идут письма с разных мест нашей Великой Родины — с Кавказа и Закавказья, с Волги, Севера и Урала, из Прибалтики и Белоруссии с просьбой рассказать о пионере-герое.

На родине юного партизана в поселке Буршитине Ивано-Франковской области уже возвышается памятник Спиридону Гнатюку.

Позже, к 30-летию Победы над фашизмом, торчинские школьники сообщили мне, что 8 мая 1976 года возле школы открыли памятник Спиридону.

А как это происходило, пишет ученица Светлана Кравчук:

«...Весенний ветерок, развевая флаги, влетаясь в верхушки кленов, ласкал белое полотнище, перевязанное красной лентой, будто хотел быстрее открыть лицо волянского Прометея. Волновались ученики, что стояли в почетном карауле возле памятника, волновались седые ветераны. Еще мгновение, и красную лен-

ту разрезает Вера Александровна Каспрук, бывшая подпольщица и партизанка, которой доверено открыть памятник Спиридону Гнатиюку.

Затаив дыхание, собравшиеся на митинг слушали выступление ветеранов, воинов, комсомольцев и пионеров. А затем в синеву весеннего неба взлетают слова песни — песни вечной человеческой благодарности.

Ты не вмер! Твое имя у грудях
Буде бытысь вечным джерелом.
В кожний справи, в пионерськых буднях
Ты живешь, ты диеш, Спиридон!...»

Да, герои не умирают! Они с нами в одном строю...



ДЕВЧОНКА ИЗ МАРЬИНОЙ РОЩИ

I

Бывает так: прочтешь несколько строчек старого письма, несколько фраз, не таящих казалось бы, в себе ничего особенного, и воспоминания — тревожный груз! — долго потом не дают покоя. Люди встают за письмами, время встает за письмами — тяжелое, жестокое и славное время нашей партизанской борьбы. На помятых листочках из школьных тетрадей, на обрывках оберточной бумаги, на каких-нибудь немецких бланках, на страницах польских бухгалтерских книг — торопливые, местами уже стершиеся, но такие знакомые строки...

Некоторые уверяют, что по почерку можно узнать человека. Может, это и не так, но во всяком случае почерк о многом гово-

рит. Вот неровные крупные буквы — их писала рука, привычная не к перу, а к топору или рубанку. А эта — словно мелким бисером унизанная страница написана научным работником, сменившим тишину лабораторий на беспокойное партизанское житье. А эти замысловатые завитушки выводил бывший бухгалтер — ни поспешность, ни условия, в которых писалось письмо, не могли изменить почерка... Разные люди составляли тогда нашу большую дружную партизанскую семью. От некоторых я и теперь получаю письма. С другими связь оборвалась, когда они, окончив войну, разлетелись во все концы Советского Союза. А многих уже нет... Но когда приходят воспоминания, я снова вижу их всех — живых и близких...

В Польше, недалеко от Ченстохова в Люблинском лесу на зеленой поляне — невысокий холмик. Шелестят над ним листья деревьев, поют птицы, и крестьянки соседней деревни приносят цветы на партизанскую могилу.

Они не забудут, кто здесь похоронен... А передо мной — старые письма.

Пожелтевший от времени листочек в клетку. Быстрые, с сильным наклоном вправо, словно бегущие по строке буквы. «Привет, отец!» Да, тогда так и было. Словно дочерью была мне эта девушка, почти девочка, сосредоточенная, по-своему, по-детски серьезная и даже немного нелюдимая — «дутая», как говорили у нас.

«...Сейчас я живу у Сазонова, — пишет она. — Живу хорошо. Ребята хорошие... Если бы вы посмотрели на меня, то не узнали бы. Обязательно спросили бы: «Что с тобой, Наташа?» Я уже не хожу дутая, как у вас. Настроение замечательное. Тем более что есть связь...»

Сазонов — это командир партизанского отряда. А настроение у Наташи замечательное именно потому, что есть связь. Потому, что ее маленькая радиостанция «Северок» работает бесперебойно, хотя налаживать ее было нелегко; потому, что она — Наташа — все быстрее и быстрее выстукивает свои «точки — тире»; потому, что она уже без ошибки зашифровывает и расшифровывает партизанские радиogramмы.

Вот строки из другого письма:

«...Вы не можете представить себе, какая у меня радость, что есть связи! Самый главный вопрос разрешен».

Девушка жила этим. Скрамное участие в борьбе советского народа с фашистскими захватчиками казалось осуществлением мечты всей ее короткой жизни — юношеской мечты о большом и полезном деле, о подвиге во имя Родины. Так ее воспитали. С самого раннего детства — дома, в Москве...

Но как далека теперь Москва! Тысячи километров до нее от Полесья и непроходимая линия фронта... Над партизанской землянкой шумит угрюмый декабрьский лес, замеченный выюгой. В деревнях националисты и полицаи. В городах — гитлеровские гарнизоны. А партизаны — товарищи Наташи, те самые хорошие ребята, о которых она упоминала в письме, — ушли на свою повседневную опасную работу: взрывать поезда, везущие к фронту фашистские пушки и танки. Небольшая группа отправилась для связи на центральную базу: в штаб партизанского соединения. С ней Наташа и послала мне свое письмо о хороших ребятах. В лагере осталась только охрана, повар, человек восемь больных да она — радистка.

Ее очередь говорить с центральной базой в 17.00 — почти час остался, но уже настроилась на прием и слушает потрескивание в наушниках и монотонное татаканье другой станции. «Та-та-та-а та-та-а...» Привычное ухо хотя и не улавливает смысла этих звуков — он зашифрован, но по особенным каким-то приметам, по манере работы узнает радиста. Это передает Нина Кокурина — она в отряде Алексеева. А принимает, наверное, Женя Заговенкова. С ними вместе училась Наташа в Горьком, Москве. И, не переставая прислушиваться, она невольно задумалась...

Вот ребята пошли на задание; полетят под откос немецкие эшелоны, и Наташа, может быть уже завтра, будет выстукивать донесение об этих операциях. На партизанском радиоузле майор Маланин возьмет расшифрованную депешу и скажет с теплой улыбкой: «Это Наташа из Марьиной Рощи».

В тесноватой, но такой родной квартире совсем еще недавно жила девочка Рая. Там она родилась, там росла. Там родилась и детская мечта ее — и тоже росла, обгоняя рост девочки. Сначала мечта манила пионерским галстуком, а время тянулось медленно, так медленно, что казалось, и не наступит никогда этот счастливый день. Но он наступил... Как к нему готовились! Всей семьей. Правда, папа снисходительно посмеивался, мама старалась сделать строгое лицо, но им не удавалось скрыть, что и для них это тоже немалая радость. А бабушка и не скрывала. Первая поверенная всех Райных мыслей и тайн, она беспокоилась, пожалуй, не меньше внучки. Поджав губы и сдвинув на лоб очки, она выслушивала торжественное обещание. Это была репетиция. Девочка, вытянувшись в струнку, как солдат в строю, повторяла твердо заученные слова и, хотя не ошибалась, начинала снова; чтобы звонче получилось. Да разве получится в ма-

ленькой комнате? В школе — в зале — будет, наверное, лучше... И переписывать торжественное обещание она тоже принималась три раза: то слишком пухатым выходило «я», то заглавное «С» изгибалось противным крючком. В конце концов мама сказала: «Хватит. Так ты всю бумагу перепачкаешь без толку».

А вот как было в школе, Рая помнит смутно — должно быть, слишком волновалась тогда... Ну да, в актовом зале алым шелком пылали знамена, ребята стояли в строю. Директор школы выступал, потом учительница. А потом...

— Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик... — начала Рая вместе с другими и не услышала своего голоса в общем хоре. Она даже обрадовалась этому: так лучше — дружнее, сильнее.

Учительница повязала Раю галстук:

— К борьбе за дело Ленина будь готова!

Вот она — самая торжественная минута! В первый раз. И на всю жизнь! У девочки вдруг перехватило горло... С трудом перебив волнение, не сразу, но так звонко, как хотелось, так звонко, как надо было, ответила:

— Всегда готова!

...Какой счастливой и шумливой вернулась она домой! А дома привыкли: то она тихая, смиренная, то вдруг с ней случится что-то, и тогда нет покоя ни бабушке, ни коту Пушке. Бабушка обычно только отмалчивалась да ворчала, а кот степенно уходил в коридор, в темный и теплый уголок за гардеробом. Он был стар, ленив и уже не любил играть. Однако на этот раз ему не удалось улизнуть. Девочка, ворвавшись в комнату, сразу подхватила его за передние лапы и начала танец. Пушка изгибался на сторону, неловко переступая задними лапами, и не мяукал, а как-то кричал: «Ув-ак... уа-ак...»

Бабушка недовольно подняла голову от вязанья.

— Оставь! Опять на тебя накатило, озорница. А еще пионерка!

Это спасло кота, но бабушка не успела снова взяться за спицы, как внучка повисла у нее на шее.

— Бабуля, ты знаешь!..

— Знаю, знаю. Полно-ка ты! Спицу подыми — уронила. И клубок опять укатился... Ну, что это за наказание такое!

Сердитые слова, сердитый голос, но в морщинах около глаз и около рта — радость. Девочка видит это и не знает, что бы ей такое сделать для бабушки. Она сегодня сама, не дожидаясь пока попросят, перемывает всю посуду, отлично выучит все уроки — даже арифметику. Но этого мало. Нужно что-то еще. Необыкновенное!

..Пионерка! Вот чего она ждала, вот о чем она мечтала. Кажалось, весь мир переменится: небо будет другое, солнце будет другое. Вся Москва должна смотреть на ее красный галстук. Но мир не переменился: и небо, и солнце остались такими же.

Москва жила напряженной шумной жизнью, что и вчера, что год назад. По Шереметьевской бежали новые синие автобусы, за углом строили жилые корпуса, в которых будут жить рабочие с папиного завода (девочка бегала смотреть), метро в Сокольниках стало привычным. И даже в этом сравнительно тихом уголке — между домом, школой и детским парком — девочка видела перемены, но они не удивляли. Так надо: растет и хорошеет родная Москва. И девочка, оставаясь все такой же веселой, непоседливой, растет. Давно ли слушала она бабушкины сказки? Папа подолгу задерживался на заводе, мама работала кассиром на вокзале и тоже приходила поздно, а бабушка целый день была дома. И маленькая Рая (совсем еще маленькая!) всюду ходила за бабушкой: и на кухню, и на рынок, и в магазин. Едва бабушка, окончив хлопоты, взденет на нос очки и сядет с вязаньем в старое просиженное кресло, девочка тут как тут:

— Бабуля, расскажи сказку.

И бабушка тихим журчащим говорком рассказывает про Василису Прекрасную, про царевну-лягушку, про солдата, который идет на побывку, про страшного Кощея. Или смешное — про попа и про работника.

А в другой раз внучка начнет:

— Бабуля, а когда ты была пионеркой...

Но и фразы не успеет закончить, как уж бабушка, смеясь, прерывает:

— Я, деточка, не была пионеркой.

— Почему?

— Не было у нас пионеров.

И пойдут рассказы про старое, про такое старое, когда еще папа был маленьким и в России — не в сказке, а на самом деле — был царь. И про то, как царя столкнули. И про то, как дедушка (Рая его не знала, но тогда он был еще живой и молодой) дрался с буржуями на баррикадах. А потом прятался. А потом выгонял буржуев из Кремля. Тогда уж и папа был. Это интереснее всяких сказок. И девочке казалось, что бабушка — одна на свете — все знает и все умеет.

Пионерский лагерь, походы, костры, зовущие звуки горна... Но мечта стремилась вперед: скорее бы стать комсомолкой! А когда приняли в комсомол, ей и этого стало мало; впереди рисовалось окончание школы, институт, большое ответственное взрослое дело...

И вдруг — война. В этот воскресный полдень девушка еще ничего не знала и удивилась тревожным голосам во дворе.

— А вы не слышали?

— Да я что-то не верю. Вам кто сказал?

— По радио. Так и говорят: разбойничье нападение:

— Что же теперь будет?

— А у меня Сергей побежал в военкомат. Вот жду.

— Это им даром не пройдет!

«Что-то случилось», — подумала Рая, но не догадалась и за какими-то пустяковыми делами забыла тревожный разговор. Мама была на дежурстве, папа спозаранку ушел куда-то, бабушка готовила обед.

А вскоре старушка и девушка увидели из окошка толпу, собравшуюся перед репродуктором на улице. Война!

Вся жизнь словно перевернулась. Каждый продолжал делать свое дело, но самым важным стала защита Родины от фашистов, известия с фронта, ради которых в квартирах перестали выключать радио, а на улицах толпами собирались вокруг громкоговорителей. Многие получили повестки из военкомата, а другие явились в военкомат без повесток. И Рая начинала чувствовать себя незаслуженно обойденной и даже как будто лишней среди людей, уходивших на войну или работавших для войны: она не ждала повестки и нигде не работала. Только беспокоилась.

— Мала еще, чтобы беспокоиться, — сердито сказала бабушка. — Да и не женское дело война.

Папа добавил:

— Каждый должен оставаться на своем месте. Тебе учиться надо.

— Да ведь война!

— Война без тебя обойдется. Твое дело в школе.

Возражать было нечего, но в душе девушка не могла согласиться с этим. А папа и сам, как только начали принимать в народное ополчение, записался одним из первых. Едва проводив его, Рая побежала в райком комсомола, потом в военкомат, и везде ей говорили, что она еще мала, что надо учиться. Она это и без них знала, но учиться — потом, учиться она еще успеет после войны. А сейчас ей стыдно быть ни при чем. И вовсе она не мала. Аэростаты противовоздушной обороны обслуживают тоже девушки — и есть среди них не старше Рая. Она тоже готова. Всегда готова!

Москвичи — все, кто мог, — отправлялись за город рыть окопы и противотанковые рвы. И бабушка, и Рая тоже рыли. Девочка уставала, набивала заступом мозоли на непривычных к такой работе руках, но трудилась не хуже других.

А дома, лишь только крикнут: «Рая, тебе сегодня дежурить!» — она уже готова, всегда готова!

И целую ночь, осторожно ступая по гремящим железным листам крыши, девушка слушала прерывистый рокот фашистских самолетов, хлопанье зениток, завывание и разрывы бомб. Пржекторы голубыми столбами бродили по черному небу, красные и серебряные ниточки трассирующих пуль тянулись к невидимому врагу, где-то за крышами розоватыми клубами занимались пожары.

Надо говорить правду: все это было и страшно и трудно. Но Рае казалось, что она еще мало участвует в войне, и она снова приходила в райком, в военкомат, спорила, надоедала. А дома ссорилась с бабушкой. Старушка, хотя и не принимала всерьез намерений внучки, не на шутку сердилась: «Виданное ли это дело? И откуда в тебе столько упрямства! Вся в деда!» А упрямства действительно было много — вот когда сказался характер. Больше года тянулись споры, и в конце концов девушка переупрямила всех.

В июле 1942 года секретарь райкома комсомола сказал ей: — Хорошо. Подожди несколько дней — может быть, мы сумеем что-нибудь сделать. Мы тебя вызовем.

Радость и новая ссора с бабушкой.

Раю вызвали. На этот раз с ней беседовал полковник — немолодой, с синими кавалерийскими петлицами и со звездой Героя на груди. Другие — почти все! — третировали Раю, как девчонку, а полковник говорил с ней серьезно и просто, как со взрослой, и строго.

Ей начало казаться, что она не выдержала испытания. К тому же полковник сказал:

— Нам нужны люди в школу радистов, но туда мы зачисляем только комсомольцев-добровольцев со средним образованием, а у тебя семь классов, и лет тебе маловато.

— Почему маловато? — вспыхнула Рая. — Мне уже исполнилось шестнадцать, это почти что семнадцать. И я комсомолка.

Полковник улыбнулся: знал, что прибавила.

— Все равно маловато и ростом не велика, а радисту, кроме знаний, нужна силенка: носить рацию, питание к ней и, конечно, оружие.

— Я сильная, не бойтесь за меня... Я хочу служить Родине. Пожалуйста, направьте меня на фронт, в партизаны... или — Она запнулась, сжала губы, лицо стало обиженным, глаза наподнились слезами.

Полковник вышел из-за стола и сел рядом с Раей.

— Не обижайся, дочка... Дело серьезное и трудное. Надо

основательно подумать, прежде чем решать. Мы подбираем людей на радистов-разведчиков. Ты, наверное, знаешь, что разведка — это глаза и уши армии. Красная Армия должна знать все о противнике, чтобы быстрее разгромить его.

Девушка опять начала уверять полковника, что она все понимает и готова переносить трудности и лишения, но свой долг перед Родиной выполнит, только просит взять ее в Красную Армию.

Полковник сел за стол, открыл лежащую на столе тетрадь, что-то записал. Еще раз взглянул на девушку, вздохнул:

— Ну что же, характер у тебя есть. Попробуем. Поедешь учиться на радиста-разведчика... Значит, твоя фамилия Майорова, зовут Раиса Алексеевна... А теперь придется на время забыть, кто ты в действительности, расстаться со своим именем, фамилией, и биография у тебя будет другая. Будешь Наташей...

Полковник еще долго беседовал с девушкой. В конце разговора предупредил ее, чтобы все, о чем они говорили, хранила в тайне...

Прощание с затемненной столицей. Ночь в душном вагоне — как плохой сон, с тревогой, с прожекторами, с боем зениток. Утром — как пробуждение — голубой, в легком тумане город над Волгой. Его увидали издалека, а потом уж и некогда было взглянуть: собирались, толкались, укладывали вещи...

А когда Наташа осмотрелась в школе, когда привыкла немного, город казался ей уже не голубым, а золотым от осенних листьев и серым от дождей.

Нелегко было приучаться к строгому воинскому распорядку: к строю, к рапортам, к дневальствам, к дежурствам, к ночным тревогам.

Нелегко было и учиться по предельно сжатой программе военного времени. И опять проявился характер. Без конца сидела девушка над книгами, практиковалась на ключе: «точка — тире, точка — тире». За все время учебы ни с кем не подружилась, и с ней никто не подружился — слишком она была молчалива, серьезна, слишком поглощена учебой. Звали в кино, на танцы, и, конечно, не мешало бы отдохнуть, рассеяться, отвлечься. Но каждый раз приходила в голову мысль: а не лучше ли снова взяться за книгу или за рацию — маленький портативный ящик, — с которой Наташе предстояло вступить в войну, которую она должна была знать как свои пять пальцев.

Зато когда кончилось учение, маленькая, молчаливая и незаметная девчонка удивила экзаменаторов знаниями.

На экзаменах присутствовал уже знакомый полковник с Золотой Звездой. Теперь Наташа знала, что это Знаменский Валерий Сергеевич, а девчонки заочно зовут его «дядя Валерий». Они уважают его, даже любят и с нетерпением ждут его приезда в школу, хотя он строг и требователен к будущим радистам-разведчикам. Он был и внимательным: интересовался не только учебой, но и жизнью своих подопечных.

По его распоряжению девчонкам выдали кроме кирзовых сапог еще и туфли, портные подогнали обмундирование. А Наташе даже перешили шинель: шинели ее размера не было на складе.

И теперь, присутствуя на экзаменах, полковник слушает ответы девушек, следит, как они работают на радиостанциях, как ориентируются на местности по карте, по компасу, по солнцу, звездам, приметам. Как стреляют, бросают гранаты.

После экзаменов зачитали приказ об окончании учебы и присвоении воинских званий. Наташе присвоили звание сержанта. Полковник поздравил ее и спросил, куда она хочет: на фронт или в тыл врага.

— Только в тыл врага, к партизанам!

— Не спеши... Подумай!

— Я уже думала и прошу направить в тыл врага.

Командование разрешило устроить выпускной вечер — скромное торжество военного времени. Принесли патефон, баян. Вот тут-то Наташа удивила товарищей и подруг: ее словно подменили, исчезла напряженность, серьезность. Наташа плясала русскую, пела только что появившуюся, но уже ставшую популярной песню «Бьется в тесной печурке огонь».

Потом, очень ненадолго, Москва. Прощание с мамой и бабушкой. Всплакнули, конечно, но никто уже не пытался удерживать молодую радистку.

— Поезжай, поезжай, — шептала бабушка. — Я бы и сама, кабы не годы...

Никому не сказала девушка, как больно ей было уходить в этот раз из тесной квартирki в Марьиной Роще, только губы поджала, и поперечная складка резче обозначилась на лбу.

Знакомство с новым начальством прошло не совсем гладко. Полковник сам привез Наташу в отряд во время занятий будущих десантников и сказал строгому сухощавому офицеру, который подошел с докладом:

— Вот товарищ капитан, привез радистку.

Капитан оглядел девушку и стал еще строже.

— Куда такого ребенка! Ей в куклы играть.

Наташа не выдержала:

— Сейчас не до кукол!

Она упрямо нагнула голову — «сбычилась», как, бывало, говорила бабушка, — ей бы сейчас поспорить, поссориться.

— Ого! — капитан улыбнулся: — Да вы не сердитесь, у меня дочь такая.

— Ну и что же?

— Не испугаешься? — спросил он сразу переходя на «ты».

— Не испугаюсь.

И полковник подтвердил:

— Не беспокойтесь, товарищ капитан, из одного упрямства не испугается. Мы ее уже знаем... И отличная радистка. Вот увидите.

Наташа не ожидала такой откровенной похвалы. Хотелось тут же поблагодарить полковника. Но она стояла вытянувшись и глядела в лицо капитану. А он продолжал спрашивать:

— Летала?

— Нет.

— Прыгала?

— Нет еще. Я и так прыгну.

— Не испугаешься?

— Нет.

— Ну хорошо.

В этом «хорошо» все еще чувствовалось недоверие, и, должно быть, поэтому капитан показался Наташе на первых порах не-симпатичным. Но что поделаешь? Ведь нельзя самой себе выбирать начальство...

Самолет оторвался от земли. Наташа поняла это, потому что прекратились удары колес о неровности взлетной дорожки, а поле аэродрома, медленно поворачиваясь, начало уходить куда-то вниз...

Сколько раз Наташа говорила: «не боюсь» или «не испугаюсь», говорила искренне и уверенно и даже сердилась на то, что ее спрашивают об этом, но теперь, по правде сказать, стало страшновато. Все заучено, все проверено, но ведь это первый полет и — главное — первый прыжок. А вдруг она не сумеет?

Впереди, под черным крылом самолета, догорала малиновая полоска холодного мартовского заката, а внизу, на затемненной земле, как на карте, можно было различить черные массивы лесов и ленты рек. И даже селения, и даже дороги угадывались в темноте... Изредка вспыхивали отсветы автомобильных фар, костерков где-то в лесу... Как далеко видно огонь ночью!.. А потом начались пожары — то тут, то там. Должно быть, летели над

линией фронта. Вспышки выстрелов... С высоты полета за гулом мотора они казались беззвучными. И еще казалось, что самолет проплывает эту опасную зону слишком медленно.

— А вдруг нас увидят?—крикнула в самое ухо Наташе Женья.

— Нет... темно, — ответила Наташа, хотя и сама побаивалась.

Где-то — и будто бы совсем недалеко — вырос до самого неба молочно-голубой луч прожектора. Наташа невольно отодвинулась от окна. Оглянулась. Мутные отсветы скользили по лицам десантников. Голубой луч отклонился, но с другой стороны прорезал темноту еще один прожектор. Страшно блеснул и хлопнул, заставив всех вздрогнуть, зенитный снаряд.

Увидели!

Но капитан махнул рукой, и что-то успокаивающее было в этом жесте.

Новые разрывы. Поближе... подальше... Должно быть, стреляют вслепую... Самолет вдруг нырнул носом вниз: десантники, не удержавшись, попадали друг на друга. И секундная мысль: «Подбили!» Но самолет выровнялся: просто пилот уходил от обстрела, все в порядке... И линия фронта остается позади, и разрывы остаются позади... После Наташа поняла, что прошло очень немного времени, несколько минут самое большое, а тогда ей думалось, часы...

Снова рокот мотора и темнота. Закат совсем погас. Только в кабине пилота освещены приборы.

— Товарищ капитан, а вдруг нас выбросят не туда? — кричит Женья.

— Он знает, он — опытный, — так же громко отвечает капитан, чтобы все слышали.

— А вдруг...

— Никаких «вдруг».

И снова тревожное молчание и рокот мотора.

— Приближаемся к цели! — кричит из своей кабины пилот.

— Приготовиться!

Десантники зашевелились. У Наташи в мыслях только предстоящий прыжок. Инструктор проверяет что-то, подтягивает какой-то ремешок.

— Помните: парашют — не сразу...

Ну да: она помнит, она все помнит. И все-таки какая-то робость, нерешительность, которую надо преодолевать, закусив губу (как, бывало, перед трудным экзаменом).

— Цели! — доносится голос пилота.

— За мной! — это голос капитана.

И сразу же он проваливается в темноту.

А за ним и Наташа не то прыгнула, не то упала. Кувырком.

Задохнулась, захлебнулась ветром. Свист в ушах. Но страха уже не было, лишь на какую-то коротенькую долю секунды захоло-нуло сердце, когда выдернула кольцо парашюта: показалось, что он не раскрывается. Потом — рывок, даже больно стало подмышками, и девушка повисла в воздухе. Это было очень приятно: вот так и висеть бы и плыть в пустоте! А черная земля надвигалась снизу, и похоже было, что края ее загибаются, что она как громадная чаша, в самую середину которой опускается парашютистка.

Потом... Наташа не заметила, не уследила, как это случилось, черная пустота перестала быть пустотой, ветра не стало, исчезла чаша земли, и вместо нее совсем рядом оказались вершины деревьев. Они шумели и хлестали по комбинезону невидимыми ветками. «Не наткнуться бы, — промелькнуло в голове. — Глаза бы не выбило...» А стропы уже цеплялись за что-то, и, должно быть, парашют повис на верхних сучьях. Он хлопал от ветра, хрустел раздираемый шелк... Рывок. Снова рывок. Полет кончился.

Так и не достигнув земли, Наташа повисла в неудобной позе! Боком как-то. Хорошо еще, что не вниз головой. Попробовала повернуться — не выходит; хотела на ощупь ухватиться за сучья — ломаются; тянула и дергала стропы — не поддаются. Перерезать бы их!.. Но и ножа не оказалось в кармане — выпал, что ли?..

Вот оно, самое страшное: полная беспомощность и полное одиночество в темном чужом лесу... Товарищи? А где они? Может быть, их парашюты на километры разнесло капризным весенним ветром? Их надо искать, переключаясь с ними голосом ночной птицы при помощи манка. Надо идти к ним навстречу. А она висит, словно кукла на елке, и даже до земли добраться не может... И где манок? Манка тоже нет — должно быть, выпал из кармана, когда ее начало мотать между деревьями... Крикнуть?! А кому кричать? Кого звать?!

Наташа замерла и прислушалась. Лесная тишина полна непонятных шорохов, и, наверное, хлопанье парашюта далеко раздается в этой тишине. И может быть, враг слышит, следит, разыскивает, подкрадывается.

Глаза Наташи, привыкшие к темноте, различают смутные очертания стволов и веток, а за ними небо, окрашенное заревом над зубцами сосновых вершин. Где-то (отсюда едва слышно) лает собака. Еще дальше — выстрел. И не один. Может быть, это Наташины товарищи столкнулись с врагами?..

Сколько времени она висела так — неизвестно, вероятно, не так долго, как ей показалось. Порой напряженному слуху начи-

нали мерещиться голоса, шаги, хруст ломаемых веток. Это и пугало, и радовало. Свои? Или чужие? Или просто лесной зверюга? Но никого не было.

И когда с двух сторон почти одновременно раздались долгожданные звуки охотничьего манка, явно не похожие на настоящие птичьи голоса, она не сразу поверила. Может, опять мерещится? А крики повторялись и приближались. Тогда и Наташа подала голос. Просто закричала:

— Сюда, товарищи, сюда!

Товарищи помогли Наташе спуститься. Лазали по деревьям, обрезали стропы, снимали застрявший вверх парашют. Посмеивались и ворчали:

— Как тебя угораздило!

Капитан сгоряча бросил даже:

— Чертова девчонка!

Наташа чувствовала себя виноватой. Конечно, зацепиться за деревья мог всякий, но потерять сразу и нож, и манок — это уж слишком. И она молчала. А случайно брошенное командиром «чертова девчонка» прилипло к маленькой радистке, к ее упрямству, к девчоночьей строптивости.

Потом разыскивали мешки с грузом, ворочали их — громадные, неуклюжие, замаскировали мхом и ветками, а сами ушли километра за три по незнакомому лесу, чтобы заночевать в холодных колючих кустах, на стволе поваленной сосны и на грудах валежника.

Все это было трудно и непривычно, особенно для Наташи — горожанки, впервые ночевавшей под открытым небом.

Капитан не позволил разводить костер; так и сидели или полулежали, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Сторожили по очереди, но почти все не спали, потому что беззвездная ночь была полна тревоги.

Хмурое промозглое утро. Ранней весной бывает такая отвратительная погода, когда и вставать не хочется и из дому выходить не хочется. А у десантников, ставших в эту ночь партизанами, не было еще ни шалаша, ни землянки, и рабочий день их начался, едва только забрезжил рассвет.

Наташа налаживала рацию. Чего бы, кажется, нервничать! Но когда надела наушники и зазвенели в ушах фокстроты, речь на чужих языках и татаканье неизвестных станций, подумалось, что она заблудилась в эфире. Да, эти ненужные ей звуки возникали и опять исчезали, путались и сталкивались, и когда она наконец услышала свои позывные, это показалось почти чудом.

Первый раз в настоящей боевой обстановке... Где-то недалеко фашисты. Они, конечно, слышали, что ночью здесь кружил самолет и, вероятно, уже разыскивают десантников. Это они и начали стрельбу спозаранку — далеко и со всех сторон. Если бы бабушка знала!..

Теперь партизанка Наташа не может не улыбнуться, вспоминая, как она была горда, передавая в Москву сухой текст: «Приземлились в указанном районе (капитан уже успел сориентироваться). Все благополучно, обстановку уточняю...»

А стрельба, рассыпаясь по лесу, приближалась, и вместе с выстрелами слышен был собачий лай.

— С ишейками, — сказал капитан, — настоящая облава. Придется принять бой.

Наташа даже повторила шепотом: «Принять бой».

И бой приняли. На краю болота, на мокрой лесной поляне, около замаскированного партизанского груза залегли в кустах.

— Пока не скомандую, не стрелять, — строго предупредил капитан, — и собак не жалеть.

Наташа любила животных, но когда эти собаки, потявкивая, выбежали на поляну, а за ними, придерживая их на поводках, фашисты, подумала враждебно: «Звери на четырех ногах и звери на двух ногах». Она стреляла и, кажется, к автомату начала привыкать не хуже, чем к рации.

Капитан похвалил. И вообще он — такой молчаливый и такой сердитый с виду — оказался простым и хорошим. А ребята! В этот первый и трудный день в первом бою узнала Наташа своих товарищей и завязалась крепкая дружба...

Переполненная воспоминаниями, Наташа снова вздыхает. Что бы ни случилось, она до конца дней с благодарностью будет вспоминать отряд, в котором началась ее партизанская жизнь, тогдашних своих товарищей и особенно капитана Мачулу — первого командира, первого учителя в боевой обстановке. Он теперь находится в Цуманских лесах под Луцком. Жив ли? Ведь в каждой операции его караулит смерть. Надо спросить у Жени Заговенковой. Радисты центральной базы знают все, что делается в отрядах...

А в наушниках продолжается татаканье другой станции, и минутная стрелка все еще далеко от 17.00.

II

Чтобы узнавать друг друга в эфире, оставаясь в то же время неопознанными врагом, военные радиостанции получают условные имена — позывные, с которых они и начинают работу.

Мирные имена, странно несоответствующие грозной боевой обстановке. Было такое имя и у Наташиной станции.

— Я — Роза. Я — Роза... — начинала выстукивать Наташа. — Как меня слышите? Перехожу на прием...

Под таким именем мы и узнали ее, когда в начале 1943 года отряд капитана Мачулы был включен в наше соединение. Ни «чертовой девчонки», ни Наташи из Марьиной Рощи для нас еще не было: Роза — и все, новый корреспондент, аккуратно в назначенные часы выстукивающий свои позывные, принимающий и передающий депеши.

В июле отряд вызвали на центральную базу, чтобы переформировать его и направить в другой район, — так нужно было в интересах общей нашей работы. И вот, ожидая мачулинцев со дня на день, с часу на час, мы с Каплуном, командиром второй бригады, снова объезжали знакомые партизанские трупобой — отыскивая подходящее место для временного лагеря.

Над лесной дорогой шелестели под ветром березы, на взгорках звенели сосны. Солнце стояло высоко: птицы в эту пору будто бы утихают, зато в кустах над болотами гудят полчища комаров. Знай отмахивайся от них да хлопай себя то по щеке, то по лбу. Но мы, партизаны, народ привычный, а летний полдень был так хорош, что и думать не хотелось о войне. И казалось, что сама земля пышной зеленью трав и листьев старательно прикрывает нанесенные ей раны.

Проезжали Жадень — деревню, от которой остались только бугры да ямы. Закопченные трубы, торчавшие здесь зимой, по кирпичику разобрали крестьяне, черные головешки затянул бурьян. Подумалось: через какой-нибудь год и не узнаешь, что на этой прогалине стояло большое селение. И на месте Перебродов — такой же вот зеленый пустырь. Тоже не узнаешь...

Но до Перебродов мы не доехали: на низменном берегу Львы — небольшого притока Припяти — навстречу нам попался отряд Мачулы.

Впереди шел высокий и жилистый мужчина в черной кубанке, с автоматом на груди и офицерским плащом, перекинутым через плечо. Лицо смуглое, сердитое, как мне показалось, а может быть, просто усталое: крупные черты, широкий рот. Я еще не встречал его, но понял, что это и есть капитан Мачула.

Следом за ним, тяжело передвигая ноги, брела радистка — ну просто девчонка, придавленная с трех сторон непомерным грузом: на спине вещевой мешок, справа — радиостанция, слева — питание для нее. И конечно, обычный костюм десантника: ватный пиджак, несмотря на жару, ушанка, неуклюжие сапоги, пистолет и гранаты у пояса. А по лицу — совсем еще детскому —

из-под сбившейся набок шапки ползли грязные струйки пота. Вся фигура ее выглядела по меньшей мере странно, особенно рядом с рослым командиром.

— Вы только поглядите, как они нагрузили радистку! — возмущился Каплун. — Я бы ему за такое безобразии!

— Подождите, Степан Павлович, — остановил я его, — поговорим и об этом.

И после того как я принял рапорт и бегло познакомился с отрядом, сказал:

— Вы бы, товарищ капитан, выделили человека в помощь радистке — пускай носит сумку с питанием.

— Не отдаст.

— То есть как «не отдаст»? Вы — командир. Можете приказать.

Мачула пожал плечами, а партизаны, окружавшие нас, заговорили:

— Разве она доверит! Наташа — она с характером! Одно слово — чертова девчонка...

Мне показалось, что они одобряют строптивый характер «чертовой девчонки», и я обратился к ней самой:

— Почему вы отказываетесь от помощи?

Она посмотрела на меня исподлобья, и я удивился, какие горячие, живые и озорные глаза на этом чумазом и усталом лице. Но заговорила она тихо, рассудительно — как учитель говорит с учеником:

— Что стоит радиостанция без питания? Надо работать, а я побегу разыскивать носильщика. Поэтому и не отдаю никому.

— Держите своего помощника около себя. Вот и все. — Считая, что вопрос исчерпан, я снова повернулся к Мачуле: — Выделите постоянного человека и поменьше слушайте ее капризы.

Поначалу я так и считал «чертову девчонку» просто капризной, думал, что ее избаловали в отряде, да, может быть, и не разобрался бы в ней как следует, если бы она осталась у Мачулы. Но рация ее была неисправна, починить не успели — не хватало каких-то деталей, — и с отрядом ушел другой радист.

Наташа хотела поменяться с ним, а он не согласился уступить свою исправную рацию. Пришлось «чертовой девчонке» работать на радиоузле центральной базы.

Вот тут-то я и познакомился с ней по-настоящему.

Приходя в штаб с расшифрованными радиogramмами или свежими сводками Совинформбюро, она первое время дичилась — должно быть, присматривалась. И к ней присматривались. И в конце концов оказалось, что нет у нее никаких особенных капризов. Бесирекословно и аккуратно выполняла она все,

что ей поручали, не отказывалась от работы, а, наоборот, напрягалась на нее. Когда приходилось, сама лазила по деревьям, развешивала антенну, и было в этом что-то залихватски мальчишеское. И хотя звали ее «дутой», по первому впечатлению, вовсе она не дулась — хорошо и просто подружилась с нашими людьми. Правда, иногда она становилась мрачноватой, неразговорчивой — лицо словно каменело; искала уединения и часами могла лежать или сидеть где-нибудь в траве за лагерем, неподвижно глядя в одну точку. Но ведь с кем в ее возрасте не бывает такого! Чаше я видел ее веселой, слышал ее песни, слышал ее споры с нашими мотористами — Гришей Бурхановым и Юрой Пархоменко. Горячие были споры, и, конечно, горячилась Наташа. Молодость и маленький рост были ее большим местом. Ребята знали это. И вот Гриша Бурханов с высоты своего почти саженого роста удивлялся:

— Кто тебя, такую маленькую, в армию взял?

А Наташу задор берет:

— Тебя не спросили. Мал золотник, да дорог.

И тут же с детской непосредственностью рассказывает, как трудно было добиться этого.

— И все-таки сумела!..

— Сумела! — подначивает Юрка. — Это что — по военкоматам ходить. А вот в партизанах — тут каждый день немец под боком — мы тут целую школу конспирации прошли.

— И я прошла. Я даже в плену побывала.

— Скажешь тоже! У кого в плену? У бабушки?

Ребятам смех, а Наташа серьезная.

— Вот и не у бабушки. Спроси хоть у Жени — она знает.

И снова рассказывает:

— Да, побывала в плену — тогда еще, когда училась в школе радистов. У своих в плену. Очень неприятная история...

Дело было так. Учеба подходила к концу, началась практика — самостоятельная работа в условиях, как говорят, приближенных к действительности.

Радистов отправили из города кого куда, чтобы в незнакомой обстановке, у незнакомых людей каждый из них сумел устроиться, сумел в укромном местечке развернуть свою рацию и выстукивать заранее заготовленные тексты. Дали позывные, установили время передач. Работай!

Наташа попала в далекую лесную деревушку под видом эвакуированной москвички, ожидающей возвращения родителей, которые будто бы уехали в Кировскую область. Таких было много во время войны, и Наташины документы не вызвали подозрений ни в сельсовете, ни в колхозе.

Поселили Наташу у пожилой одинокой женщины на самой окраине. Рядом — пустой сарай; до войны там была птицеферма. В этом-то сарае и спрятала Наташа свою радиостанцию.

Все шло как по писаному. Аккуратно, ночь за ночью, передавала она свои депеши, и вдруг однажды — только что она пришла, только начала выстукивать позывные — электрические фонарики вспыхнули в темноте, осветив радистку и ее рацию.

— Вы арестованы. Следуйте за нами.

Сразу же, вместе со станцией, отвезли в район.

Следователь — лейтенант госбезопасности — спрашивал:

— Давно вы работаете на фашистов?

Наташа молчала.

— Откуда вы приехали?

Наташа молчала.

— Кто вас послал?

Наташа молчала. Нельзя было выдавать такую важную тайну. А лейтенант понимал молчание по-своему и еще настойчивее проводил допрос.

И так продолжалось трое суток, пока наконец не приехал старший группы и не объяснил следователю, в чем дело.

— Что же она молчала! — возмутился следователь. — Только время тянула. Ну и фрукт! Где вы ее достали, такую упрямую? Оказалось, что Наташу выследила колхозная сторожиха.

— Что, думаю, девка по ночам в сарай ходит — и все в одно и то же время. Добро бы на свидание, а то одна. Сообщила, куда следует. Вот и арестовали.

Самым неприятным для Наташи был не ее арест и даже не то, что ее приняли за шпионку, нет, она боялась, что после этой истории ее не пошлют во вражеский тыл, скажут: не сумела, провалилась на практике. Но арест, очевидно, не посчитали провалом, а умение молчать оценили по достоинству.

И мы оценили Наташу. И в нашем отношении к ней не было пренебрежения — так относятся к младшей сестре, к дочери. Она это чувствовала. Мимолетные размолвки с ребятами забывались в смехе и шутках. На меня Наташа, кажется, и не обижалась. Охотно и подробно рассказывала она мне о квартирке в Марьиной Роще, о родителях и особенно о бабушке. Как-то даже вырвалось у нее:

«Бабушку бы сюда! Посмотрела бы она, да я бы ей рассказала..»

А потом и сама смеялась, представив бабушку в партизанской обстановке.

Помню, как-то я увидел, что она курит. Старается казаться заправской курильщицей, но сигарету держит неумело, и видно,

что горький дым не доставляет ей совершенно никакого удовольствия, только глаза щиплет.

— Брось! Курец какой нашелся!

Я рассердился и легонько ударил ее по руке.

Она недоуменно глянула на меня, поперхнулась дымом, а потом губы у нее задрожали — словно заплакать собирается. Но не заплакала. Бросила сигарету и тихим серьезным голосом сказала:

— Я больше не буду.

Помедлила немного.

— Вы на меня, дядя Петя, не сердитесь. Я больше не буду...

А я и сердился-то не на нее. Досада брала на тех командиров, которые не заботятся о воспитании своих подчиненных. В мирное время и они, наверное, не позволили бы девчонке так запросто курить. А теперь можно. Война, говорят такие, все ешит. Ох уж эта мне наплевательская формулировка!

Однажды, проходя мимо землянки, где находился радиоузел, я заметил, что за столом сидят майор Виктор Маланин и Наташа. Он называет кодовые цифры, а Наташа записывает их в тетрадь и переводит в слова. Чувствую, что Виктор Филиппович недоволен своей ученицей.

— Шо ты так долго возишься? Разучилась чи шо? Вот теперь будешь каждый день тренироваться.

Наташа, услышав мои шаги, подняла на секунду глаза и снова углубилась в работу.

— Не знаю, шо мне делать с этой девчонкой. Упряма, як сатана. Заниматься не хочет, — пожаловался майор.

— Чего впустую заниматься! Ориентируйте рацию и направляйте в отряд, — огрызнулась Наташа.

— Тренировка всегда нужна, — сказал я.

— Понимаю суворовскую истину: тяжело в учебе — легко в бою... А мне надоело, скучно...

— Прекрати разговоры! — оборвал ее Маланин.

Наташа надула губы и опять начала записывать цифры.

Маланин человек исключительной смелости — выдержанный, мягкий, готов помочь каждому. Он с особой любовью относится к Наташе, опекает ее. В деле он до крайности аккуратен и точен. Того же добивается от своих подчиненных.

Виктора Филипповича я знаю хорошо, привык к его подольскому «шо», мы с ним земляки, одногодки, в двадцатых годах вместе были на комсомольской работе; он заведовал орготделом окружкома, а я был секретарем райкома.

Когда меня призвали в Красную Армию, он привез на мое место нового секретаря.

Тогда мы расстались с Виктором и около пятнадцати лет не встречались. Я знал, что он участвовал в испанских событиях. И вот снова судьба свела нас. Маланин стал моим заместителем и секретарем партийного комитета партизанского соединения.

Да, «чертова девчонка» не была бы «чертовой девчонкой», если бы удовлетворилась сравнительно спокойной и сравнительно безопасной работой на центральной базе. Ее тянуло в отряд. Сколько раз она просилась! Сначала — к Мачуле, потом — с каждым отрядом, который мы отправляли. Но свободных радиостанций все еще не было, а Наташину ремонтировали. Да, по правде сказать, мне и не хотелось отпускать девушку с кем попало. Я как будто привык присматривать за ней.

Только к осени мы разбогатели рациями — прислали с Большой земли, и Наташа, зная это, ододела просьбами:

— Пошлите меня, дядя Петя! Пустите меня, дядя Петя!

В конце концов — это было в октябре — я назначил ее в отряд Сазонова, уехавший со специальным заданием.

«Чертова девчонка» и обрадовалась и загрустила. Тихо, словно по секрету, призналась:

— А все-таки жалко мне уходить от вас, дядя Петя. Вы мне вроде отца стали.

— Ну так оставайся.

— Нет, не могу. Не могу я на центральной базе!.. А вы — нет, в самом деле, — разрешите мне называть вас отцом?

— Добре. Мои дочки далеко, будь мне за дочку. Только не балуй, помни, что обещала. А будет связной идти на центральную базу — пиши.

Вот она и писала мне из сазоновского отряда с каждой связью трогательные, наивные и серьезные письма, начиная их: «Привет, отец!» или «Здравствуйте, батя!» И я отвечал ей: «Здравствуй, дочка!» — и совсем тоном заботливого отца напоминал каждый раз: «Держись — не балуй!..» И она держалась. «С тех пор, как я вам обещала не курить, больше не курю... С приветом, ваша дочь Наташа».

III

Вот и 1943 год подходит к концу. Нелегким он был для нас — с каждым месяцем все ожесточеннее шла борьба, с каждым месяцем все бесчеловечнее становилась изуверская ярость врагов. Но даже и это ожесточение, и эта ярость сами по себе являлись как бы отражением наших побед.

Советская Армия уже недалеко — на Днепре. А 6 ноября она освободила Киев и неудержимо движется к Житомиру, приближается к западным областям Украины, к нашим местам.

Немцы, теснимые Советской Армией, все пытаются закрепить-ся то на одном, то на другом рубеже. Перебрасывают свои войска с одного участка фронта на другой. Наша задача не только следить за этими передвижениями, но и сообщать о них в Центр. Мы должны усилить удары по врагу, мешать ему готовить оборону, сеять панику среди фашистов, разрушать коммуникации, пускать под откос поезда, участвовать в «рельсовой войне», совершать налеты на вражеские колонны, не давать гитлеровцам угонять в Германию население, вывозить награбленные на оккупированной территории ценности.

С этой целью мы послали отряды в разные места: от железнодорожного узла Лунинец до Шепетовки, от реки Уборти до Западного Буга.

Отряд Сазонова обслуживал район от города Туров до железнодорожного узла Лунинец. От Наташи шли каждый день радиogramмы. Она первой сообщила, что старосты сел получили приказ об эвакуации местного населения на запад. За отказ от эвакуации всем мужчинам и женщинам в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет фашисты грозят смертью. Партизаны принимают меры, чтобы сорвать эти мероприятия оккупантов.

В другой раз Наташа передала, что немцы из Мозыря перебросили в Лунинец крупный штаб. Разведчики уточняют, какой. Оказалось, что это интендантское управление второй немецкой армии.

Иногда получали от нее длинные радиogramмы. В одной со всеми подробностями говорилось о показаниях захваченного «языка». Он рассказал, что в связи со сложностью обстановки на фронте и трудностями снабжения гитлеровской армии из-за действий партизан настроение солдат скверное.

Интересным было показание пленного венгра о взаимоотношениях между немцами и мадьярами. Немцы никогда не считали своих союзников равноправными, а теперь и подавно. Начались споры, драки и даже схватки с применением оружия. Увеличились случаи дезертирства. Мадьярские части стали ненадежными, гитлеровцы снимают их с фронта и перебрасывают в тыл...

— «Чертова девчонка» работает отлично, — говорил майор Маланин. — Ее радиogramмы всегда сообщают что-то важное: то о частях противника, то о совершенных диверсиях, то о столкновении с противником.

А однажды передала: разведчики узнали, что гитлеровцы перебрасывают одну дивизию из Мозыря в направлении Столина.

Она будет двигаться шоссейными и грунтовыми дорогами через партизанские леса.

Мы тут же приказали отряду Сазонова преследовать врага шаг за шагом и громить днем и ночью, изматывать его партизанской войной.

Двести партизан против шести или восьми тысяч солдат, против артиллерии, против минометов. Силы, казалось бы, неравные. Но ведь партизаны появляются неожиданно и скрываются, прежде чем противник успеет опомниться! Они неуловимы в лесах и болотах. А солдат в чужой и враждебной стране не осмеливается отойти от дороги, и на этой дороге он как мишень для огня народных мстителей. Партизаны закладывают на его пути мины, да порой еще такие, которых не обнаружит миноискатель, и взрываются повозки и машины; и захватчику нечем ответить на партизанские гостинцы...

Дивизия со всеми своими обозами растягивается далеко и не быстро двигается — даже по хорошей дороге. А тут и дороги плохие, и машин не хватает, и партизаны мешают. Двигаться можно только днем, а дни зимой коротки, и никакие приказы не смогут ускорить движения.

Почти полмесяца продолжалась эта война на ходу и принесла фашистам большие потери. Добравшись до станции Горынь, фашисты погрузились в два эшелона, чтобы дальше двигаться по железной дороге к Ровно. Но едва эшелон проскочил станцию Удрицк, как попал на партизанскую мину и полетел под откос. Это была работа сазоновцев.

Второй эшелон гитлеровцы вынуждены были направить на Лунинец — Брест — Ровно.

Горячая была работа! И конечно, весь отряд Сазонова жил в это время в величайшем напряжении. Отдыхать было некогда, да едва ли кто и думал об отдыхе.

Наташа писала: «С приближением Красной Армии к нашим местам настроение у партизан становится отличным. Мы слышим гул канонады. Над нашими головами каждую ночь гудят советские самолеты. Они идут на Ковель, Ровно, Луцк, Брест, Варшаву...»

У Наташи тоже было горячее время. Она помногу работала на рации, провожала и встречала боевые группы, собирала сведения, зашифровывала очередную радиограмму, помогала ухаживать за ранеными. Она переживала все успехи и неудачи товарищей.

И только вот сейчас — в метельную декабрьскую ночь, когда так долго пришлось ожидать у рации своего времени, — вспомнила она Москву, и семью, и первые шаги в партизанской борьбе.

Стрелки на часах показали 17.00. И снова мелькнуло в голове: «Обязательно надо спросить про Мачулу у Жени».

Привычно отстучала Наташа свою депешу, а под конец, после фамилии командира, подписавшего донесение, вдогонку за ним, полетели в эфир две короткие фразы:

«Женя, что новенького? Сообщи, что слышно про Мачулу».

Расшифровывание радиogramм — работа чисто техническая: сиди и подставляй слова вместо цифровых групп. Сначала Наташе каждый раз приходилось заглядывать в шпаргалку, потом все реже и реже, теперь почти не приходится, привыкла. И тем не менее всегда интересны возникающие из цифр слова. А сегодня особенно.

Сегодня передали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении партизан. И наших не забыли. Знакомые фамилии. То-то обрадуются ребята, вернувшись с задания! А вот и Сазонов — его наградили орденом Красного Знамени. А вот... Сперва не поверилось, не ожидала, но никакой ошибки быть не может: и ее, даже ее, скромную радистку, «чертову девчонку» из Марьиной Роши, наградили орденом Отечественной войны II степени. Если бы знала бабушка!

Но радости у партизан идут бок о бок с бедами. После длинного списка награжденных, после поздравлений, переданный в этой же радиogramме, несколько фраз лично Наташе от Жени.

«Мачула ранен. Тяжело, в обе ноги. Лежит в нашем госпитале в Езерцах. Наверное, отправят на Большую землю».

И Наташе уже не хотелось запеть и заплакать от радости.

Шестнадцатилетняя девушка успела повидать и кровь и смерть. Приходилось перевязывать раны, подавать воду умирающим, видеть, как в суровом молчании товарищи опускают их в могилу. К этому нельзя привыкнуть, можно научиться спокойно переносить великие бедствия войны — и только. Наташа научилась. Но к известию о том, что Мачула ранен, не могла отнестись спокойно. Ведь рядом с ним, с «сердитым капитаном», начала Наташа воевать. Это роднит людей и никогда не забывается.

Долго не могла заснуть девушка этой ночью, а наутро глаза у нее немного припухли: видно, она совсем не по-партизански всплакнула.

Отряд Сазонова выполнил свою задачу и в январе вернулся на центральную базу. А «чертова девчонка», едва успев поздороваться с нами, вместо отдыха отправилась по тяжелой зимней

дороге в Езерцы — навестить Мачулу. Обратно пришла встревоженная и сразу же начала проситься:

— Дядя Петя, отпустите меня в госпиталь.

Я удивился.

— Зачем? Что с тобой?

— Буду за Мачулой ухаживать — плохо ему... И за другими тоже. — Помолчала и вдруг с несвойственной ей торопливостью затараторила: — Все-таки свой человек — первый командир. Надо. Я знаете, как с ним подружилась! Ведь с первых боев... Ну, дядя Петя, ну, разрешите! Вы мне — как отец. Каждый отец для своей дочки как получше хочет... Сейчас на радиоузле никакой срочности нет — спросите у товарища майора. А потом, как только надо будет... Вы знаете, что я никогда не отказывалась... А в госпитале не хватает санитарок, а я умею, ведь училась...

Я согласился. И не потому, что меня захватила врасплох или разжалобила Наташина просьба, нет, мне понравилась ее верность боевой дружбе, привязанность к первому своему командиру. И на радиоузле действительно могли пока обойтись без нее, а в госпитале и в самом деле недостает санитарок.

Партизанская война называется малой войной, но наши отряды вели ее в широких масштабах и на большой территории. Ежедневные диверсии, ежедневные схватки с врагом. Само собой разумеется, что это сопровождалось потерями — иногда значительными, ранениями — зачастую серьезными.

Госпиталь наш время от времени так переполнялся, что у медицинских работников буквально рук не хватало, хотя это продолжалось не так уж долго: при первой возможности тяжелораненых отправляли на Большую землю. В такую вот трудную пору я и отпустил Наташу в госпиталь.

В половине января госпиталь разгрузили, и Наташа, проводив своего «сердитого капитана», снова вернулась на центральную базу.

Недолго проработала она санитаркой, но многое, очень многое изменилось за это время. Фашисты отступали, и партизаны, чтобы продолжать действовать во вражеском тылу, тоже начали отходить перед надвигавшейся линией фронта. В январе — еще до возвращения Наташи — ушла на запад вторая бригада, а с ней и отряд Сазонова с другим радистом.

Самые западные наши отряды — Героя Советского Союза Н. П. Федорова, П. Х. Василенко, П. М. Логинова — вплотную придвинулись к советско-польской границе и уже делали вылазки на Буг: вели разведку, изучали обстановку, налаживали связь с польскими партизанами, проводили боевые операции вместе с ними.

Туда, за Буг, предстояло идти нашим товарищам. Поход дальний и трудный — труднее всех прежних походов, потому что там уже не советская земля. Польские буржуазные националисты, мечтавшие о возвращении буржуазного строя, кричали, что они не пустят большевиков на свою землю, что они сами будут освобождать Речь Посполиту. Громкие фразы! Они только мешали борьбе славянских народов против фашизма.

Разведка показала, что трудовой народ Польши видит в большевиках не врагов, а освободителей. Мы могли надеяться на сочувствие польских крестьян и рабочих, к тому же в отрядах, идущих за Буг, было много поляков. Но националисты — мы заранее знали это — все равно будут вредить им, будут бороться с ними всеми силами. Это и делало особенно трудным, особенно опасным дальний поход по чужой земле.

Раненых отправили на Большую землю. Наташа возвратилась из госпиталя. Узнав, что ее рация не отремонтирована, прибежала с жалобой ко мне.

— Не поддается ремонту твоя «Роза», мы решили отдать ее в подарок Гитлеру.

— Как Гитлеру? — с удивлением спросила она.

— Иди к майору Маланину, он тебе объяснит.

Несколько дней мы готовили «документы» для обмана противника. Наташа переписывала радиogramмы, шифровала их и раскодировала получаемые из Центра. Радиogramмы, идущие в Центр были точными: в них сообщалось о гарнизонах противника, его вооружении, о совершенных диверсиях и боях — о чем, конечно, немцы и сами знали. Зато документы, получаемые из Москвы, были сплошной «липой».

Когда все было готово, поручили командиру отряда Петру Василенко и Наташе подбросить «документы» немцам вместе с радиостанцией. На одном хуторе недалеко от Ковеля группа Василенко завязала бой с фашистами. Во время боя радиостанция оказалась в руках гитлеровцев. Они немедленно отправили ее в Ковель, а затем самолетом в Берлин. Об этом передали наши разведчики из Ковеля.

После операции с радиостанцией Наташа пришла ко мне серьезная, задумчивая:

— Отец, ответь мне на один вопрос. Только честно!

— Спрашивай.

— Как по-твоему, Василенко хороший командир?

— Конечно, хороший. Боевой, умный, вдумчивый, инициативный.

— А правда, что ты не хотел брать его в свое соединение?

— Ты что? Допрос мне устраиваешь?

— Не допрос, отец, мне надо все знать о своем будущем командире, я хочу идти с ним в Польшу.

Это было неожиданно. Мы намечали отправить Наташу в отряд Героя Советского Союза Николая Федорова, того самого Федорова, которому при помощи двух подпольщиц Марии Осиповой и Елены Мазаник удалось казнить ставленника Гитлера в Белоруссии Вильгельма Кубе.

Но Наташа не отставала с просьбой направить ее в отряд Василенко и рассказать, почему я не хотел взять его в наши отряды.

Пришлось сознаться, что по первой встрече летом 1942 года у меня сложилось неважное мнение о Василенко.

Не успел я закончить рассказ о Василенко, как он сам появился на пороге землянки, в армейском полушубке, в кубанке, лихо сдвинутой набок.

Наташа взглянула на него, закрыла рот рукой, а глаза блестя: вот-вот разразится смехом.

Василенко тоже улыбнулся и обратился ко мне:

— Дядя Петя, направьте «чертову девчонку» в наш отряд. Нам она подходит. Отчаянная. За Бугом такие нужны.

— Вот видите, и командир просит меня. Отпустите!

Я поглядел ей прямо в глаза и задал вопрос:

— Не страшно? Честно скажи — не от самолюбия, а от чистого сердца, как отцу.

— Нет, дядя Петя! — И по глазам было видно, что это правда.

Скрепя сердце я назначил Наташу в отряд Василенко.

— Возьмешь свою «Розу», с которой была у Сазонова, и — желаю успеха!

— Ждите вестей из-за Буга.

IV

Вести из-за Буга приходили, но встретиться с Наташей мне уже не довелось. Поход оказался еще труднее, чем мы предполагали. В июне 1944 года в Яновских лесах погиб командир отряда Василенко. Заместитель его — старший политрук Невойт — упрямо продолжал двигаться по указанному маршруту, не прекращая диверсий. Наташа аккуратно, день за днем, выстукивала:

«Я — Роза... Я — Роза... Как вы меня слышите?..» — передавала на центральную базу донесения о вражеских гарнизонах,

об укреплениях на Висле и Полице, о диверсиях, боях и окружениях.

Поздней осенью донесения прекратились. Наши радисты ловили и не могли поймать в эфире позывные Наташи.

В ноябре отряд Невойта погиб возле города Люблинец. Далеко от советской границы. Никому, как сообщили нам, не удалось выйти из окружения. Вот она, горькая правда партизанской войны. Нет Василенко, нет Невойта — старых испытанных товарищей, с которыми в самые трудные времена делили мы и беды и радости, взрывали фашистские эшелоны, уходили от облав звериными тропами, мечтали о грядущей победе. Нет и Наташи из Марьиной Рощи, а я привык уже считать ее родной, привык беспокоиться о ней. И некому даже рассказать о ее последних минутах...

Прошли годы и годы. И вот в октябре 1957 года мне снова удалось побывать на Воляни — в тех местах, где мы партизанили, где жили и живут десятки участников наших боев. В Лукове — на слете бывших партизан — многое вспомнилось, многое, о чем мы еще не знали, стало известным.

У дверей районного Дома культуры, где проходил слет, ко мне подошли двое.

— Дядя Петя, не узнаете?

Заговорил невысокий, подвижный и остроглазый человек в железнодорожном кителе. А другой — повыше, плечистый, по одежде — колхозник — молчал, и мне показалось, что на глазах у него слезы. Я узнал обоих, но не сразу.

— Да мы с Василенкой в Польшу пошли. С Невойтом. В срок четвертом году.

— А-а! Так неужели Степан Ковальчук?

— Ковальчук, Ковальчук! — Он радостно закивал головой. — А это Петро Зинчук. Помните?

— Ну как же. А ведь вас и живыми не считали.

Обнялись. Петро Зинчук, сильный молчаливый человек, и в самом деле плакал. А Ковальчук рассказывал. О походе, о боях, о диверсиях, о погибших товарищах — и, конечно, о Наташе. У нее в этом трудном походе были свои особые трудности, свои особые радости и печали...

Сначала все шло благополучно. Польские крестьяне указывали партизанам дорогу, старались помочь, чем могли, принимали как почетных гостей. Нашим ребятам даже неловко было от польской вежливости: «Проше, панове!»

Ребята ворчали:

— Мы не паны.

Но видели, что гостеприимство, доверие и сочувствие этих людей были неподдельными.

Особенно ласково встречали Наташу. Пожилые удивлялись

— О, яке дзецко!

И девушке нелегко было скрывать, что ее обижает такая снисходительная, словно к ребенку, ласковость.

Поляки не только сочувствовали и помогали нашим товарищам — некоторые из них и сами хотели вступить в отряд. Их проверяли на деле и выдержавших испытание принимали: включали в боевые группы, обучали работе подрывников. Приходили к партизанам и чехи, и даже мадьяры. Отряд рос и становился интернациональным. На первых порах нелегко было объясняться с бойцами, которые говорили на разных языках и вначале не понимали друг друга, а потом привыкли: находились переводчики, вырабатывалось какое-то смешанное наречие, в котором недостающие слова заменялись жестами. И разумеется, этому взаимопониманию способствовала общность цели, общая ненависть к фашистам.

Ковальчук, хорошо знавший польский язык, помогал Невойту переводить многочисленные донесения поляков-разведчиков, беседовал со связными и с крестьянами деревень, в которых оставались партизаны. А в свободное время ему волей-неволей приходилось быть посредником между новыми трудно понимавшими друг друга соратниками.

В его боевую группу попал Мацек, мечтавший стать учителем, а ставший бойцом революции и солдатом. И вот этот неуловимый человек, сильный, выносливый, прошедший, как говорят, и огонь, и воду, и медные трубы, и волчьи зубы, но сохранивший по-детски чистое сердце, — подружился с Наташей.

Началось с того, что во время облавы Наташа задержалась, снимая антенну. Отстала, осталась лицом к лицу с карателями — с пистолетом против их автоматов. А Мацек как раз и подоспел. Одной очередью срезал троих гитлеровцев и — объясняться было некогда — правой рукой подхватил рацию, левой рванул за руку Наташу.

— Прэндко! Прэндко!

Ушли благополучно.

Василенко после этого случая прикрепил Мацека к Наташе: пусть помогает на переходах, носит питание, натягивает и снимает антенну.

«Чертova девчонка» не понимала по-польски, да и по-украински-то говорила с грехом пополам, а поляк, исколесивший столько стран, свободно объяснявшийся с французами и немцами, не

знал русского языка. Когда Ковальчук был рядом, он помогал, а без него приходилось показывать пальцами, и, естественно, не обходилось без недоразумений.

— Свертывай! — кричала Наташа.

Она нервничала: надо было торопиться. А ее громоздкий помощник стоял с видом провинившегося школьника и недоуменно разводил руками.

— Ну как тебе объяснить!..

Только тогда, когда радистка сама полезла на дерево, Мацек понял, что от него требуется, отстранил девушку и быстро снял антенну, приговаривая при этом новое для него слово «свертывай».

В польском языке есть слова, сходные с русскими, но имеющие иное значение. Это еще более усложняло дело. Однажды Ковальчук застал Мацека и Наташу в ссоре.

— Какая я уроды? Что во мне уродливого? — наступала «чертова девчонка» на поляка со слезами в голосе.

Ковальчук сразу догадался и объяснил, что по-польски выражение «урода» надо понимать как «красота». Очевидно, Мацек хотел сделать Наташе комплимент насчет ее наружности, а получилось обидно.

В другой раз конфликт произошел из-за того, что «Роза» (Наташино радиоимя) произносится поляками как «ружа». Это также был неудачный комплимент. Но тут они поняли друг друга без Ковальчука.

Такие столкновения, однако, не поссорили новых друзей, а, наоборот, укрепили дружбу. Наташа с жаром принялась учить Мацека русскому языку, а он ее — польскому.

Так вот и шли они вместе. Билгорайские леса. Яновские леса. После той облавы, когда Мацек выручил Наташу, гитлеровцы продолжали преследовать отряд. Стоило нашим товарищам, обосновавшись на новом месте, начать диверсии, как уже где-то за краем леса передвигались карательные части, нащупывая партизан. Об этом сразу же узнавали от крестьян, и ясно было, что надо ожидать новых облав и новых боев.

Жили в постоянном напряжении, в постоянной настороженности, но работу не прекращали. Летели под откос эшелоны, взрывались мосты, горели заводы и склады.

Мацек оказался неплохим подрывником и, едва успев возвратиться из одной операции, напрашивался на другую, хотя бы даже и не со своей группой. «Пан-товажиш командир, я пуйдэ, я хце помсцит герману». И мстил...

В Билгорайских лесах — места там гористые — есть труднодоступная вершина Костелек. По-польски это значит «церковка».

Может быть, там и в самом деле стояла когда-нибудь церковь, а может быть, скалы видом своим напоминают храм — не знаю. Но знаю, что на этой вершине обосновались наши партизаны, здесь они отбивались от карателей, отсюда они совершили налет на станцию Юзефов.

Громкое было дело. Разогнали гарнизон, взорвали большой железнодорожный мост, сожгли склады. Мацек принес из этой экспедиции четырнадцать офицерских полевых сумок с оперативными документами и картами. Богатейший материал для разведчика! А Наташе Мацек принес сапоги. Другой бы не подумал, наверно. А этот заметил, что старые-то у нее давно уж каши просят, и, когда увидел где-то в товарном вагоне новенькие маленькие сапожки, вспомнил про свою приятельницу.

Чем активнее действует отряд, тем больше работы радисту: очередное донесение разрастается, надо успеть передать его на центральную базу в течение все того же часа, все тех же шестидесяти минут, которые отведены на передачу. Не всякий справится. Но Наташа не теряла ни секунды, она умела сосредоточить все свое внимание на передатчике, не слыша и не видя окружающего. Натренированная за два года рука точно, как рычаг хорошей машины, сгибается в кисти, нажимая на ключ: «точка—тире—точка... тире—тире—точка...» И уж тут к ней не подходи, не отвлекай, не заговаривай.

Радию пристроили на самом верху Костелека — в Соколином, или, как еще называли, в Наташином гнезде. Какой там был воздух! И какая отличная слышимость! Словно все помехи, весь радиомусор остался внизу, под горой.

Как-то в солнечный июльский день Степан Данилович Ковальчук забрался на самую вершину Костелека. В лесу стояла такая тишина, что хотелось полежать на травке, забыть о войне, о смерти, которая преследует на каждом шагу. И Ковальчук не сразу заметил Наташу, которая отстукивала очередную радиogramму. Недалеко от Наташи, прислонившись к дереву, стоял Мацек и не сводил глаз с радистки.

Ковальчук знал, что Мацек не перестает восхищаться Наташей, называет ее «моя кохана паненка», относится к ней с осторожностью и бережливостью. Мацек готов сделать для Наташи все.

Наташа закончила сеанс, собрала радиостанцию, Мацек снял антенну. Вместе они подошли к Ковальчуку.

— О чем замечтались, Степан Данилович? — спросила Наташа.

— Думаю, как было бы здорово после победы приехать в эти места на отдых.

— Я тоже часто думаю о конце войны. Как буду учиться в пединституте, а потом рассказывать детям о войне, о партизанах, о том, какие партизаны были храбрые и добрые. И о зверствах фашистов и...

— Моя кохана паненка, — прервал ее Мацек, — передай в Москву, что я расскажу тебе. Пусть весь мир узнает о лагерях смерти.

— Мацек много повидал в своей жизни, ему есть о чем поведать людям, — сказал Ковальчук. — Разве он тебе не рассказывал?

— Говорить-то говорил. Но я плохо разбираюсь в его речи.

— Я помогу.

Рассказ Мацека настолько взволновал Наташу, что она даже взяла блокнот и начала в него что-то записывать.

Только теперь она узнала, что Мацек тоже мечтал стать учителем, готовился к этой профессии, но в школе не работал: уехал в Испанию и сражался там с фашистами в Интернациональной дивизии. Когда в 1939 году немцы оккупировали Польшу, он вступил во французскую армию и продолжал сражаться против фашизма. Когда и Францию постигла участь Польши, Мацек перешел в английскую армию и воевал в Африке. В конце 1942 года раненым попал в плен.

Мацеку пришлось испытать ад гитлеровских лагерей.

В лагере Хелм, куда попал Мацек, работало несколько печей, в которых сжигали пленных. Сжигали трупы и прямо на кострах, так называемым «индейским способом». Действовало несколько душегубок. Для работы у печей и костров была создана специальная команда из пленных, физически наиболее крепких. В такую команду попал и Мацек. Работали в тяжелых кандалах.

Печи и костры горели круглые сутки, тучи черного едкого дыма поднимались высоко над лагерем. А новые эшелоны все прибывали и прибывали... Их по несколько дней не разгружали: и люди умирали от болезней, голода и жажды...

В команде возникла подпольная группа. Было решено начать подкоп из барака (группа жила в отдельном помещении) к яме за проволокой. Среди товарищей Мацека были инженеры, они сделали точный расчет, и работа закипела. Копали около месяца. Воля близка. Пленные сняли кандалы, решили очередность выхода. Бросили жребий. Мацеку выпал номер 21. Ночью начали спускаться в подкоп. Тридцать девять человек русских, поляков, англичан, французов ушли из лагеря, чтобы продолжать борьбу с фашизмом. Сороковой был убит охраной.

Вот о чем просил Наташу передать в Москву Мацек...

В июле отряд получил задание выйти в район Ченстохова. Это далеко, больше двухсот километров пути — горы, леса, реки, но и встречи, новые, еще неизведанные трудности.

Чего стоила хотя бы переправа через Вислу к северу от Сандомира!

Ночью подошли к Висле. Река широкая, темная, и другой берег рассмотреть невозможно. Походили по берегу. Поискали лодок. Но напрасно. К утру нашли глухое место в кустах. Остановились на отдых и вели наблюдение. По реке проходили немецкие катера, баржи с грузом, но они не подходили близко к берегу, чтобы можно было захватить их и переправиться на противоположный берег. И ни одной лодки поблизости.

Стало ясно, что без помощи проводников из местных жителей не обойтись. Ближайшая деревня находилась в двух километрах.

Невойт вызвал трех разведчиков во главе со Степаном Ковальчуком и приказал им отправиться в ближайшую деревню и — кровь из носу! — найти лодки и привести проводников.

К вечеру вернулись разведчики с двумя молодыми вооруженными поляками, на рукавах которых нашивки с буквами «А Л». Армия Людова.

Партизаны обрадовались. А Наташа называла их «наши коллег».

Поляки пообещали переправить ночью отряд через Вислу и дать проводников, которые проведут партизан к большому лесу, чтобы миновать населенные пункты, где находятся фашисты.

Партизаны узнали от поляков, что немцы усиленно укрепляют оборону по Висле, и, кроме прибывших инженерных частей, там работает мобилизованное местное население. Наташа развернула «Розу» и передала об этом в Центр.

Поздно ночью к условленному месту поляки пригнали четыре лодки. Они тихо отплыли от берега и скрылись в ночной темноте. Кругом тишина, только слышались удары весел. Миновали середину реки. И вдруг ночную темноту осветили желтые ракеты. И сразу затрещали автоматы, застучали пулеметы почти с того места, откуда только что отошли лодки.

Пули свистели над головами, плюхали в воду. Партизаны и проводники нажимали на весла, чтобы скорее добраться до берега, заросшего кустарником. Немцы открыли огонь из минометов. Мины рвались впереди на лугу и на реке правее лодок.

Вот наконец и берег. Партизаны сразу побежали к кустарнику. Теперь ракеты были не опасны, наоборот, они освещали местность, и стало видно, куда можно двигаться. Проводники были вместе с партизанами, они прекрасно знали каждую тропинку в этих зарослях и на болотном лугу.

К рассвету добрались к большому лесу на плацувку (стоянку) Армии Людовой.

Это была большая удача, что наши разведчики встретились с польскими партизанами, с Армией Людовой — настоящими патриотами, верными товарищами в борьбе, с ними легко было сговориться, потому что политика у них была прямая и ясная: бить гитлеровских захватчиков, освобождать родину. Поэтому они помогали советским партизанам, вместе проводили боевые операции, передавали важные сведения об укреплениях на Висле и Полице.

Но наряду с партизанами и под видом партизан орудовали в Польше и буржуазные националисты. Они так же, как и украинские буржуазные националисты, водили дружбу с фашистами, выполняли секретные указания гитлеровских властей. Прикидываясь борцами за дело народа, на самом деле боролись против народа.

Группу таких вот оборотней и встретили наши товарищи примерно на полдороге к Ченстохову. Оборотни, приветливые, как настоящие друзья, предложили советским партизанам помощь и гостеприимство в лесном лагере.

Они неумеренно восторгались воинственным видом и боевыми делами наших ребят и с плохо скрываемой завистью любовались советским оружием. На это оружие, как потом выяснилось, они и позарились: сговорились разоружить наших, а в случае сопротивления перебить. Невойт им доверился, и никто в отряде не подозревал о том, что готовится ловушка.

Спасла отряд простая польская женщина, жена лесника. Националисты не остерегались говорить при ней о чем угодно. Думали: своя, не выдаст. А она считала своими не националистов, а советских партизан. Узнав о злом умысле националистов, она не посмела сказать об этом открыто — жизнью могла поплатиться. А тайком в лагере, где каждый шаг на виду, не скажешь. Вот она и надумала. Подошла к Наташе.

— Пуйдем, девчинко, до лязни.

Радистка насторожилась.

— Куда?

А Ковальчук, слышавший это, рассмеялся.

— Иди, иди. Она тебя в баню зовет. Хорошо помыться после перехода.

А уж в бане... Кто их услышит, о чем они говорят там, в крохотной деревенской баньке? Во всем лагере не было больше женщин. Может быть, и не легко было им объясняться, но, вероятно, Наташа к тому времени успела научиться говорить немного по-польски. Да и про польских националистов она знала. Во всяком

случае, она поняла все, что хотела сказать ей лесничиха. И тут же после бани передала разговор Невойту.

Без лишних объяснений, без канители — по-военному, по-партизански — командир поднял отряд и увел его из лагеря предателей. Националистам было ясно, что намерения их разгаданы, но они не подали виду: простились так же приветливо, как и встретили, будто бы сожалели, что приходится расставаться.

А Мацек, узнав в чем дело, так и кипел негодованием: «Лайдаки! Панские сынки! Те же фашисты! Их самих надо было разоружить!»

В августе дошли до места и расположились в лесу, километрах в сорока северо-восточнее Ченстохова.

Наташа опять передавала на центральную базу донесения о партизанских операциях и сведения о передвижении воинских частей, о военных заводах и складах, находившихся поблизости. Эти сведения Невойт и Ковальчук едва успевали записывать со слов разведчиков, едва успевали переводить с бесчисленных бумажек — с мелких листочков, доставляемых друзьями Мацека.

Конечно, эти сведения играли большую роль в планах советского командования и в ходе боевых операций. Все понимали это (не зря же они стараются), но редко, очень редко партизанам удавалось видеть конкретные результаты своей разведывательной работы.

А под Ченстоховом увидали.

Был там большущий аэродром, и при нем, разумеется, склады горючего и боеприпасов. «Юнкеры» и «мессершмитты», поднимавшиеся оттуда, часто проносились над лесом. Многие тонны тола несли они на восток — в Россию, в Белоруссию, на Украину. Разведчики Невойта точно засекли расположение аэродрома, и Наташа сообщила о нем на центральную базу.

И вот в непроглядной тьме ночного сентябрьского неба проплыл теперь уж на запад с далекого и родного востока тяжелый и ровный гул самолетов. Каждый узнал: «Наши, советские!» Как бы в подтверждение этого над юго-западным краем горизонта заплескали искорки: разрывы зенитных снарядов.

Все, кто оставался в лагере, напряженно следили за этой пляской. И вдруг, затмевая ее, затмевая звезды, взметнулось такое зарево, что и здесь — за сорок километров — стало светло как днем. А потом донесся грохот взрыва, страшный даже на этом расстоянии.

Ковальчук торжественным тоном сказал по-украински:

— То выбухло пально!

Наташа поняла, но не могла не спросить:

— Степан Данилович, это в Ченстохове?

И, словно передавая ей свое торжественное настроение, Ковальчук объяснил:

— Аэродром! Накрыли его наши...

— Так ведь это мы! — крикнула «чертова девчонка». — Это мы давали сведения!

В октябре получили новое задание — идти еще дальше на запад к Вроцлаву, — задание много труднее всех предыдущих. Те места — исконно славянские, истари польские — входили в состав гитлеровского рейха, фашистские гарнизоны были расставлены там гуще, и лесов там было меньше. А по дороге, сразу же за Ченстоховом, пролежала немецкая граница. Она и теперь оставалась границей между собственно рейхом и так называемым Польским генерал-губернаторством и не только охранялась с неменьшей строгостью, а теперь и укреплялась немцами как новый оборонный рубеж. Возводились доты и дзоты, рылись противотанковые рвы. Вдоль нее кишмя кишели саперные подразделения и резервные гитлеровские части.

Невойт знал об этом еще до того как получил задание, понимал, что трудно будет, но если уж задание получено, надо его выполнять.

Для начала отправили разведку — она не вернулась. Тогда Мацек пошел в одиночку и принес печальное известие: все разведчики погибли. Одному ему удалось уточнить обстановку, завести кое-какие связи с поляками и разведать дороги.

Идти всем отрядом было невозможно. Пришлось разделить его на три части, чтобы, просочившись сквозь пограничную полосу, вновь соединиться в Люблинецком лесу, что юго-западнее Ченстохова.

Группа, в которую входили и сам Невойт, и Наташа, и Ковальчук, и Мацек, с большим трудом, но без потерь добралась до условленного места. Потом трое суток — холодные и голодные — дожидались товарищей в мокром осеннем лесу. За это время подошла вторая группа, а третья как в воду канула.

Двинулись дальше и, не теряя времени, принялись за свою партизанскую работу. И опять после первых же диверсий гитлеровцы начали преследовать отряд.

Но теперь карателей было больше, а места для партизанских маневров значительно меньше.

В начале ноября отряд попал в окружение. Отыскивать невидимые звериные тропки в чужом лесу не так-то просто, а на всех дорогах, на всех опушках партизан встречали минометы, артиллерия, танки.

Огненное кольцо сжималось. Несколько дней продолжался бой, и время от времени огонь прекращался, чтобы слышно было, как громкоговорители, расставленные на краю леса, по-русски и по-польски предлагают партизанам сдаваться. Партизаны пересохшими глотками выкрикивали в ответ злые ругательства, но сил не хватало, есть было нечего, да и людей оставалось немного, и боеприпасы подходили к концу.

Последний день. В последний раз солнце вставало над ними — и они это знали. С утра Невойт напомнил бойцам:

— Оставить по патрону для себя — живыми не дадимся. — И особо Наташе: — А ты еще рацию должна будешь вывести из строя.

Наташа, уже раненная, полулежала в кустах около своей «Розы», когда фашисты снова пошли в атаку. Надо было отходить и отстреливаться, экономно расходуя последние патроны. Наташа и не поднялась бы, если бы не товарищи. Двое вели, вернее, тащили и ее, и рацию. А пули искали жертв. Один из двоих упал. Другой — это был Мацек — поддержал девушку. Раненный, он все еще вел ее и старался подбодрить. А ее уж и ноги не держали — новая рана совсем обессилила Наташу. Она бормотала: — Пусти, уходи, оставь...

Мацек подхватил ее на руки, но и двух шагов не успел сделать: его тоже настигла пуля.

Наташа ничком упала на рацию — должно быть, потеряла сознание. Когда подняла голову, фашисты были близко — сквозь выстрелы слышались их голоса. И девушка подумала в первую очередь не о себе, а о своем долге — о радиостанции, которую надо вывести из строя, о шифрах, которые обязательно надо уничтожить.

Вспыхнула спичка, и шифр, желтоватый круг вроде мотка телеграфной ленты, занялся невидимым при дневном свете пламенем.

А немцы уже ломились сквозь кусты совсем рядом. Они не стреляли в радистку — офицер приказал взять ее живой. Наташа стреляла в фашистов. Руки плохо слушались, сознание мутилось, но она отсчитывала:

— Раз... два...

Один патрон надо было оставить для себя и один для рации.

— Три... четыре... пять..

Потом выстрел в упор в серо-зеленый ящик, который так долго носила на боку. В сердце «Розы», как в сердце друга. Может, одной пули мало? А себе гранату? Второй выстрел. И, совсем обессиленная, девушка приникла к простреленной рации, отцепляя от пояса гранату.

Гитлеровцы окружили ее, тянули к ней руки, а она повернулась немного набок, и раздался взрыв.

Так окончилась жизнь маленькой радистки, «чертовой девчонки», Наташи из Марьиной Рощи.

Остался невысокий холмик, насыпанный над ее могилой польскими крестьянами, да эти вот пожелтевшие от времени письма на моем столе. Но главное осталась добрая память в сердцах товарищей, память народа, который никогда не забудет мужества и героизма своих сыновей и дочерей, вышедших победителями в смертельной схватке с немецким фашизмом.

Подвиг Рая Майоровой будет вечным призывом для смелых и гордых, борющихся за мир и счастье на всей земле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДВИГА

Дорогие ребята! Вы только что прочитали светлую и честную книгу, рассказывающую о мужественной борьбе народных мстителей с фашистскими оккупантами. Ее автор писатель Герой Советского Союза Антон Петрович Бринский — человек необыкновенно интересной судьбы — был не просто очевидцем, а активным участником всех описанных в книге событий. Имя военного разведчика, популярного на Украине и в Белоруссии партизанского командира, сегодня стоит в одном ряду с именами легендарно известных разведчиков Н. Федорова, Н. Кузнецова, Р. Зорге.

Антон Петрович Бринский родился 10 июля 1906 года в деревне Андреевка Чемеровского района Хмельницкой области. Семья Бринских была бедной, с малых лет мальчик узнал нищету, тяжесть непосильного батрацкого труда.

Когда свершилась Великая Октябрьская революция, Антону было двенадцать лет. Радостно встретила андреевская беднота новую власть, которая первыми же своими декретами давала бедным людям то, что веками не могла дать власть князей, пánов и царей. Но гражданская война, военная интервенция иноземных захватчиков долго еще мешали строительству новой жизни на деревне. В эти годы андреевский подросток впервые сталкивается с тупой, не признающей гуманности и справедливости немецкой военщиной, вторгшейся на Советскую Украину.

Отгремела гражданская война, выбили «за кордон» интервентов, началась мирная жизнь.

Одним из первых в Андреевке вступил в комсомол семнадцатилетний батрак Антон Бринский. Борется вместе с чекистами и чоновцами с бандитами и контрабандистами, возглавляет местный комитет бедноты, работает председателем земельного суда. В августе 1925 года молодого активиста послали на учебу в Каменец-Подольскую совпартшколу. После окончания ее он был избран секретарем Старо-Ушицкого райкома комсомола и с головой ушел в интереснейшее дело — комсомольскую работу. В 1927 году вожака старо-ушицкой молодежи приняли в партию.

С армией Антон Петрович связал свою судьбу задолго до начала Великой Отечественной войны. Его воинская служба началась в 1928 году и не прекращалась до 1955 года, когда полковник Бринский уходит в отставку.

Есть на Украине деревенька Руды. Она надолго осталась в памяти Антона Петровича — именно здесь 22 июня 1941 года встретила фашистов отдельная разведывательная часть, в которой служил батальонный комиссар Бринский.

Линия фронта отодвигалась на восток. Комиссар Бринский с небольшим отрядом остается в глубоком тылу врага выполнять ответственное задание Родины — налаживать партизанское движение на оккупированной фашистами советской земле.

Спустя два с небольшим года одним из крупных партизанских соединений Украины была получена радиограмма из Москвы о присвоении ее командиру Антону Петровичу Бринскому высокого воинского звания Героя Советского Союза. Этот факт говорит о том, как плодотворна была деятельность Бринского — организатора партизанской борьбы, военного разведчика. В своей автобиографии он пишет: «Наши отряды совершили в тылу врага более 5000 диверсий. Взорвали 800 железнодорожных вагонов. Не один десяток тысяч фашистов нашел себе смерть от мин, гранат, пуль партизан». К этому надо добавить, что на Большую землю было передано много ценной разведывательной информации. Бойцы дяди Петя, так звали своего командира партизаны, выполняли важные правительственные задания — переправляли через линию фронта видных польских политических деятелей.

Прошли годы. Далеко позади война, но разве можно забыть то трудное, во героическое время. У Антона Петровича рождается замысел книги, в которой он расскажет о своих друзьях-партизанах, о том небывалом подъеме духа, который помог советским людям выстоять в схватке с скляным и безжалостным врагом. И книга была написана, называлась она «По ту сторону фронта. Записки партизана». В 1954 году Горьковское областное издательство выпустило ее в свет, вскоре она была переиздана центральным издательством Воениздат и получила широкую популярность в нашей стране. Выход этой книги был своеобразным рубежом, с которого Бринский-воин, Бринский — партизанский командир становится еще и Бринским-писателем.

Сегодня Антон Петрович — автор семи книг. Можно смело сказать, что его писательская работа — это продолжение подвига, совершенного им в годы всенародной борьбы с фашизмом. Нужно отметить, что большинство его книг написаны для детского читателя. Героической партизанской борьбе посвящены его детские книги «Мальчик в клетчатой кепке» (1960), «Партизанский курьер» (1961), «Безусая команда» (1973). В 1976 году вышла книга «Моя Андреевка», в которой писатель рассказал о своем детстве и юности, совпавшим с историческими событиями революции, гражданской войны и последующего мирного строительства.

Сборник рассказов для детей «Партизанский курьер» выходит уже второй раз. Автор значительно переработал и дополнил некоторые рассказы, включил в книгу новые записки.

Писатель Герой Советского Союза А. П. Бринский живет в Горьком. Его литературная и общественная деятельность продолжается.

СОДЕРЖАНИЕ

Как это случилось	5
Начальник бдительности	27
Пан Ромек	43
Кто же агент 12-33?	59
«Служанка»	75
Клитва Димы	87
Самолет не вернулся	112
На Стоходе	133
Партизанский курьер	154
Девчонка из Марьиной Рощи	193
Продолжение подвига	230

Для среднего и ствршего
школьного возраста

Антон Петрович Бринский

ПАРТИЗАНСКИЙ КУРЬЕР

Записки рвзведчика

Редактор *Е. А. Румянцев*

Художник *Б. Н. Разин*

Худож. редактор *В. З. Вешапуре*

Техн. редактор *М. И. Юнисова*

Корректор *В. В. Карякин*

ИБ № 389

Сдано в набор 11.01.78 г. Подписано к печати 15.05.78 г. МЦ 00623.
Формат 60×84^{1/16}. Бумага типографская № 3. Гарнитура литера-
турная. Печать высокая. Усл.-печ. л. 13,49. Уч.-изд. л. 14,12.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 5716. Цена 55 коп.

Волго-Вятское книжное издательство,
г. Горький, Кремль, 4-й корпус.

Типография издательства «Горьковская правда»,
г. Горький, ул. Фигнер, 32.

55 коп.

